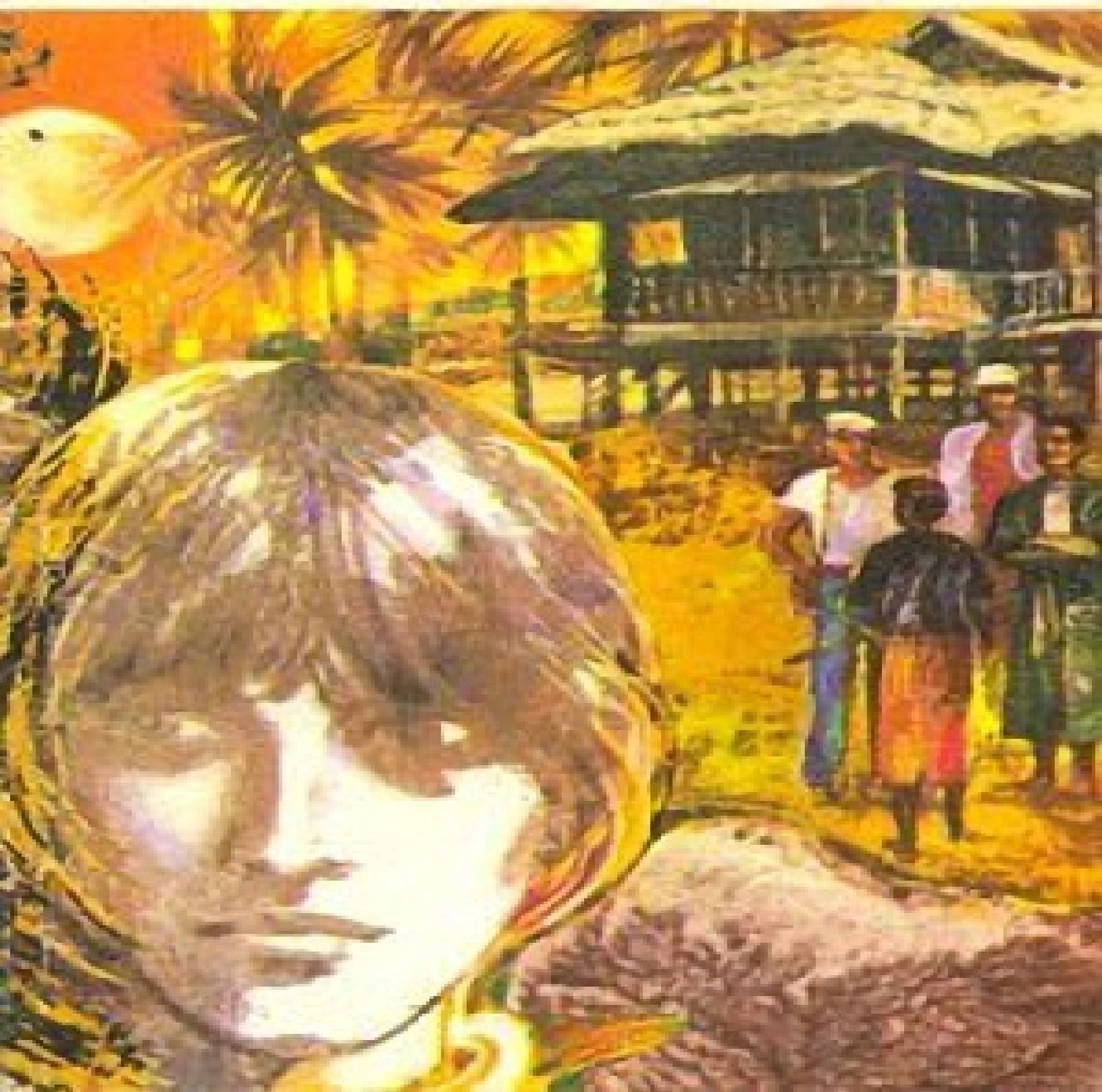


Валерий Алексеев

Паровоз из Гонконга



В центре повести находится четырнадцатилетний подросток Андрей Тюрин, который вместе с семьей (мама, папа и младшая сестренка Настя) выезжают за границу (куда-то в тихоокеанский регион), где «по благу» и по старому институтскому «знакомству» его мамы (а как же еще), его отцу дают столь вожделенную для почти каждого советского гражданина возможность поработать за границей как «инспецу», заработать валюты, и т. д. С самого начала Тюрины не вписываются в тусовку «наши там» (там такой серпентарий, что уму непостижимо, все друг на друга кляузничают, стучат, подсигивают, основная забота — чтобы «продлили» контракт еще на год).

Валерий Алексеев

ПАРОВОЗ ИЗ ГОНКОНГА

Повесть

Майским утром 198... года преподаватель математики Щербатовского политехнического института Тюрин Иван Петрович с женой и двумя детьми выезжал в длительную заграничную командировку.

Багажа набралось четыре центнера, загрузили два такси. В головном «универсале» среди сумок и чемоданов пристроились мужчины: сам Иван Петрович и его шуринок Сережа. Следом шла простая «Волга» с женщинами и детьми. На переднем сиденье в ней расположилась Сережина супруга Клава, позади — жена командированного Людмила и дети, четырнадцатилетний Андрей и пятилетняя Анастасия.

Утро выдалось холодное, пасмурное, за прощальным столом просидели всю ночь, поэтому вид у взрослых и детей был понурый. Только Людмила, маленькая и шустренькая, как воробей, время от времени приподнималась, вытягивала шею и глядела поверх водительского плеча: ее беспокоило, что «универсал» куда-то свернул, задавать же шоферу вопросы она не решалась. Людмила часто наезжала в Москву и не упускала случая показать, что знает первопрестольную насквозь. «А это что за мост? Никак Крымский? Ну вот, я так и думала». Однако в сторону международного аэропорта Шереметьево ездить ей не доводилось, и она боялась попасть впросак.

Смуглая от природы и синеглазая, была Людмила не то что красива, но миловидна, хотя французская стрижка «Николь», выполненная щербатовским мастером Васей, ей не очень-то подходила и делала ее лицо похожим на яичко с темной скорлупой. «Мама Люда» — так она любила себя называть. «Не жалеете вы свою маму Люду. А без мамы Люды вы пропадете».

Всякий раз, как мама Люда начинала ерзать, Андрей угрюмо на нее косился, и видно было, что только присутствие посторонних удерживает его от замечаний.

Мальчику можно было дать и шестнадцать. Клетчатый пиджак, купленный накануне в магазине «Лейпциг», был ему тесноват и оттопыривался на груди, как у нарядившегося для телесъемок молодого атлета. Лицо его, широкое и пятнисто-бледное, казалось простецким, но серые глаза под светлыми бровями смотрели незащищенно и даже затравленно, как будто его везли в колымскую ссылку, а не в безбрежный закордонный мир.

Что касается Анастасии, то эта тощая, как будто нарочно заморенная девочка с маленькими зубками и ангельскими чертами лица, была типичным последышем. Речистая и любознательная не по возрасту, она точно так же не по возрасту сикалась, когда придется, с недосыпу лопотала, как в беспомыслии, всякую чепуху, после безуспешно рыдала, и ее приходилось укачивать на руках. «Мама, а большой лопух нас не съест? — причитала она плачущим голосом, когда ее одевали. — Правда, не съест, мама Люда?» Сейчас фаза бреда уже прошла, на подходе было рыдание. Широко раскрытые светлые глаза ее были полны бессмысленных слез, она сидела, привалившись к матери, и держала в руках раздетую до трусов пластмассовую куклу: кукла была уже готова к прибытию «в одну из развивающихся стран».

Водитель простой «Волги», тертый, видимо, человек, не впервые ехавший по этой дороге, с благожелательным интересом поглядывал на своих молчаливых пассажиров и, не дождавшись, когда они заведут разговор, заговорил первый.

— Чемоданы-то новенькие, напрасно тратились. Опытные люди с картонными коробками едут. И весом легче, и выбросить не жаль.

Приготовления к отъезду заставили Тюриных влезть в тягостные долги. Одним из кредиторов была Клава, она грузно заворочалась на своем сиденье и что-то пробормотала, а Людмила только вздохнула.

— Хотя, конечно, — выдержав паузу, продолжал водитель, — вы эти чемоданчики там боднете — и обратно уже с картонками. Хорошие водочные коробки делает «Внешпосылторг».

— Ой, ну что вы говорите? — вскинулась Людмила. — Муж мой вузовский преподаватель, у меня у самой гуманитарно-техническое образование, как это мы будем за границей вещами торговать?

Мама Люда говорила, как артистка оперетты, придушенно-звонким, неестественным голосом, и Андрей снова на нее покосился. То, что чемоданы можно продать, в суете сборов вряд ли приходило ей в голову, но протестовала она так неискренне, что водитель снисходительно улыбнулся.

— А при чем тут образование? — возразил он. — Если вещь не казенная, почему не продать? Товар — деньги, и не надо громких слов. Мне один сказал: «На кирпичную дачу зарабатывать еду, это и есть мой интернациональный долг».

— Нам ни дачи, ни машины не надо, — тут же отозвалась Людмила. Как это часто бывает у взрослых людей, собеседники не заботились о логической связности разговора: каждый говорил то, что считал в данный момент уместным, и создавалось впечатление, что оба то ли глуховаты, то ли неспособны удержать простую мысль. — Дача у нас, можно сказать, вокруг дома, а на машине нам ездить некуда.

— А, вот так, — протянул водитель. — Откуда будете?

— Из города Щербатова, — с достоинством сказала Людмила и поджала губы.

— Это что, Рыбинск, что ли?

— Какой еще Рыбинск? — привычно обиделась Людмила. — Что такое, все путают! Просто удивительно: под боком у Москвы лежит индустриальный город республиканского значения, девяносто семь тысяч жителей, таких городов и за границей раз, два — и обчелся, а москвичи про нас знать не ведают.

— Ну, как это «не ведают»? — добродушно откликнулся таксист. — В одних очередях тыркаемся. А говорите — некуда ездить.

— Да, приезжаем иногда, — с вызовом ответила Людмила. — Почему бы не приехать, особенно если у кого в Москве родственники?

Водитель посмотрел на Клаву — та, отвернувшись к окну и выпятив толстые губы, молчала.

— Дело ясное, — сказал он. — Всюду жизнь.

В разговоре возникла пауза, и Людмила вновь завертелась, высматривая «универсал».

— Сквозь землю они провалились, что ли? — озабоченно проговорила она.

— Не волнуйтесь, гражданочка, никуда не денутся, — успокоил ее таксист. — На заправке, должно быть, отстали.

Он помолчал и с интересом спросил:

— Как же это у вас получилось, из города Щербатова? Тут москвичи годами бьются...

— Не все одной Москве, — перебила его Людмила Павловна. — Выезжаем значит, сочли достойными.

При этих словах Андрей мотнул головой, как будто его укусила овод, и покраснел. Собственно, «покраснел» — сильно сказано, в сумрачной кабине этого никто бы и не

заметил, но люди стыдливые мнительны: краснея, они воображают, что внутри у них загорается лампа. Стараясь притушить этот жгучий внутренний свет, мальчик съежился и втянул голову в плечи. Тут водитель, совершенно, кстати, удовлетворенный ответом мамы Люды, посмотрел по своим делам в зеркало заднего вида и, перехватив беспокойный взгляд Андрея, дружески ему подмигнул. Мальчик поспешно отвернулся к окну, щеки его — вот теперь уж действительно — сделались темно-багровыми, на лбу выступила испарина. Вид у него при этом был такой, словно он собирается распахнуть дверцу кабины и выброситься на шоссе по полотну. Лишь минут через десять, убедившись, что никто на него не глядит, он понемногу стал успокаиваться.

Наконец машина, копнувшись, встала у подножия громадного темного здания под козырьком, набрасывавшим какую-то медную тень. Выбрались из теплой кабины на сквозной ветерок, огляделись. «Универсала» еще не было. Холод стоял совсем не майский, люди вокруг дышали паром, как в январе, только что не приплясывали и не терли ладонями уши. Гул и визг невидимых отсюда самолетов сам казался порождением холода.

Стараясь не встречаться взглядом с водителем, Андрей стал помогать ему выгружать вещи, которых и в простой «Волге» было достаточно. Впрочем, трудно сказать, кто кому помогал: бывалый таксист лишь делал вид, что усердствует. От мамы Люды было больше суеты, чем пользы, а тетка Клава стояла в стороне, держа за руку Анастасию и всем своим видом выражая осуждение и гнев.

— Сколько ты ему дала? — ревниво спросила она Людмилу, когда водитель, откозыряв и пожелав мягкой посадки, уехал.

— Ай, оставь, — жалобно сказала Людмила оглядываясь. — Рубль накинула, дело какое...

— Давай-давай, деревня, — пробурчала Клава, отворачиваясь, — смехи Москву, сори деньгами. Сундук шевяков привезешь из своей загранички...

Людмила сделала вид, что не слышит. На ней было старомодное черное платье с полупрозрачной вставкой на груди, вполне приличное на вид и надеваемое лишь «по метненьким денечкам». А вот пальто, бордовое, ношеное, казалось совсем подростковым, и, чтобы хоть как-то скрыть его убожество, Людмила ходила по Москве нараспашку, что придавало ей задиристый вид.

— Заплутались они, что ли? — проговорила она, ни к кому не обращаясь. — А может, в аварию вбухались?

— Мама! — гулким басом сказал Андрей. — Ну что ты, как курица? Стой и молчи.

Людмила повернулась к сыну, скорбно посмотрела ему в лицо.

— Ты и там со мной будешь так разговаривать? — понизив голос, спросила она.

Андрей ничего не ответил и по-мужицки тяжело, набычась, сел на край чемодана. Завидев, что он отдыхает, Анастасия тотчас же выпростала свою руку из Клавиной и с словами «Я к Бате пойду» подбежала и, став рядом с братом, прижалась к его плечу. Одетая девочка была нарядно: на ней были клетчатые брючки, клетчатая кепка с помпоном и клетчатое же пальтишко из той же материи. Мама Люда хотела, чтобы при одном взгляде на ее детей все говорили: «Смотрите, какой ансамбль». Однако веселая кепочка лишь оттеняла бледность Настинного лица, а брючки были уже мокрые, и мама Люда знала об этом, но полагала, что ради гармонии можно и потерпеть.

«Батя» — так звала сестренка Андрея с тех еще времен, когда не умела выговаривать «братик». Мама Люда лелеяла эту традицию, вроде бы навязывая ее дочке («Иди к Бате,

поиграй со своим Батей!») и инстинктивно стараясь продлить ее младенчество. Точно так же тетка Клава настаивала, чтобы Настя называла ее «мама-кока», в смысле «мама-крестная»; можно было себе представить того маленького идиота, который первым вместо «крестная» произнес «кока» и вызвал чье-то старческое умиление. Андрей запрещал сестренке называть его Батей, и все же нет-нет, да и проскакивало: «Батя, а что это?.. Батя, а почему?..»

Но сегодня Настя ни о чем не спрашивала, просто стояла, прислонившись к брату бочком. В двух шагах от детей бесшумно раздвигались и сдвигались, пропуская пассажиров, автоматические стеклянные двери, технический изыск этот был в те времена новинкою даже в Москве, но дети смотрели на двери равнодушно и тупо — так во всяком случае могло показаться тому, кто неспособен был понять, какой тревогой наполнены их души.

Наконец подкатил долгожданный «универсал», захлопали дверцы, вылезли мужчины: высокий сутулый Иван Петрович и коренастый темнолицый дядя Сережа.

Людмила кинулась к мужу.

— Черти вас за килу тягали! — зашептала она, трепеща от ярости и озираясь. — Вся прямо испсиховалась!

Людмила работала в городской библиотеке и, как она сама говорила, книжной пылью пропиталась насквозь. Однако стоило ей взволноваться — в ней просыпалась простая сельская баба. Она и родом-то была не из города Щербатова, а из рыбацкой деревни Ченцы. Там до сих пор жили ее и Сережины родичи — мелкорослые чернявые люди, в городе их называли нанайцами.

Иван Петрович улыбнулся и, ничего не ответив, принялся открывать заднюю дверцу «универсала». Должно быть, со своим водителем мужчины не поладили, потому что он, отойдя в сторону, демонстративно скрестил на груди руки.

— У, кошкодав, — сказал на него дядя Сережа. — Всю нам дорогу изгадил.

Сережа тоже шоферил: возил на черной «Волге» важного человека, которого с гордой скромностью называл «мой пассажир». Возможно, дядюшка сам же и подпортил дорогу: таксистов он не любил и не делал из этого секрета.

Андрей кинулся на помощь отцу. Радуюсь, что все семейство в сборе, и желая, должно быть, показать, что его вклад в общее дело не такой уж пустячный, он принялся усердно ворочать самый тяжелый груз (это был обшитый холстиной ящик почти в человеческий рост), но отец его отстранил.

— Не надо, сынуля, — коротко сказал он без всякой интонации. Вдвоем с дядей Сережей они отнесли ящик к стене, причем дядюшка приседал от тяжести, по темному его лицу ручьями струился пот.

— Старайся, рвись, — промолвила тетя Клава, — кишки-то из ушей выползут. Урод и есть урод.

Андрей, выстраивая чемоданы в ряд, чтобы удобнее было пересчитывать, украдкой на нее оглянулся. Эта толстая, некрасивая женщина была преисполнена такого высокомерия, такой несокрушимой уверенности в своем превосходстве над всеми окружающими, что можно было только дивиться: откуда это у нее? Зачем ей столько? Для самозащиты довольно было бы и сотой части, такое стратегическое высокомерие само нуждалось в защите. Непостижимо, но дядя Сережа, далеко не урод, любовно о ней говорил: «У, с Клашкой мне повезло. А приодень ее — так вообще королева».

— Ос-споди, ну и гамуз, — бормотала Клава, оглядывая багаж, Свихнуться можно.

Люди оттуда везут, а эта лапотница туда тащит.

— Сколько разрешено, столько и везем, — благоразумно пропустив мимо ушей «лапотницу», возразила ей Людмила.

Багаж был творением ее рук: посуду, продукты, постельное белье, скатерки и занавески — все она закупала и стаскивала в кучу, как белка, с осени прошлого года. Знающие люди подсказывали: «Не в гости едешь, а в пустое жилье. Ничего там на месте не будет, ни ложки, ни поварешки, обзаводись здесь». Посоветовали захватить и небольшой холодильник: климат в стране назначения мало сказать что горячий, продуктами запастись надо, как в Щербатове, враз и надолго, холодильник там как найдешь. Именно холодильник «Смоленск» и помешался в ящике, обшитом серой холстиной, по которой размашисто, с завитушками синим фломастером было написано: «Из багажа И. П. Тюрина». «Из багажа» — чтоб не подумали, что в этом ящике и заключается весь багаж.

— Ох, запихали бы вас в самолет поскорее, — тоскливо и злобно сказала Клава. — Нам через весь город обратно тащиться, а уж квартиру загваздали — три дня убирать.

За неделю, проведенную Тюриными в Москве, эта женщина совершенно их допекла. Нет, она помогала в сборах и хлебосольничала усердно, но делала все это с надсадой, скрыть которую никак не могла. Даже крестницу свою Анастасию приваживала к себе с ненавистью, в пику всем остальным. «И детиночка ты болезная, малокровушка ты моя, у одной во всем семействе твоём сердечко у тебя ангельское, и куда ж тебя волокут родители твои ненасытные? Изболелася я вся по тебе, изжалилася! Оставайся ты лучше со мной, со своей мамой-кокой, и не ездь ты с ними никуда, ну их совсем!» Делая такую заявку, Клава ничем не рисковала: оставлять с нею болезненную и любимую свою дочку Людмила не собиралась. О чем однажды был разговор — так это насчет Андрея, чтобы закончить ему восьмилетку в Москве, но уж тут тетя Клава дала золовухе решительный отпор. «Да чтоб я хомутину такую на себя наложила — боже меня упаси!» Андрея тетка Клава не любила и, не стесняясь, говорила в его присутствии: «Ну, затаенный, чистый двойник! Он вам еще свой норы явит, обплачетесь!»

— Ладно, пойду узнавать, что и где, — сказал Иван Петрович и, судорожно дернувшись, схватился за нагрудный карман пиджака.

— Что?! Потерял?! — воскликнула Людмила.

Криво улыбаясь, Иван Петрович запустил руку за пазуху и вытащил оттуда пачку документов: загранпаспорта, медицинские сертификаты, авиабилеты, открепительные талоны и — самое ценное — аттестат на инвалютную зарплату: эту невзрачную сложенную вчетверо бумажку Тюрины очень боялись утратить.

— О господи! — с облегчением вздохнула Людмила, когда Иван Петрович, трясущимися руками пересчитав документы, вновь сунул их в карман! — Тюря ты луковая! Ну, ступай.

Андрей исподлобья смотрел на отца. Иван Петрович был в новом коричневом костюме, который подчеркивал недостатки его фигуры: узкие плечи, несоразмерно высокий рост и цыплячью грудь. Густая волнистая шевелюра Ивана Петровича странно контрастировала с его лицом: тонкие губы, тонкий нос, очки в тонкой оправе, детский подбородок, вполне академичное, преподавательское лицо — и пышный чуб деревенского гармониста. Но не эти противоречия вызывали неудовольствие Андрея, мальчик их просто не замечал. Он сердился потому, что отец позволял прилюдно называть себя «тюрей». Девичья фамилия матери была Минаева, и мама Люда бессознательно противопоставляла ее фамилии Тюриных, не

подозревая, что сына это может оскорблять: он-то был Тюрин, и только Тюрин, даже более Тюрин, чем отец, потому что ни с какими Минаевыми ничего общего не имел. Ни один из его школьных товарищей не посмел бы склонять фамилию Тюрин непочтительным образом, зная вес его кулаков.

— Ванюшка! — крикнула Людмила, когда стеклянные двери уже сомкнулись за сутулой спиной ее мужа и он никак не мог ее слышать. Такая у нее была манера: все время что-нибудь кричать вдогонку, в самый последний момент, только чтоб лишний раз напомнить о себе. — Ванюшка! Нам тележки нужны!

И проходившая мимо сухощавая дама в ярко-желтом брючном костюме, расписанном по груди сиреневыми ирисами, вздрогнула от этого пронзительного выкрика и недовольно оглянулась. За дамой следовала рослая девушка — тоже в желтом и тоже с ирисами по подолу юбки, лица у обеих, одинаково коротконосые, были словно сделаны под копирку, только профиль у дамы был слегка стершийся, как на древней монете, а у младшей блистал новизной. Девушка тоже обернулась и удивленно посмотрела на Андрея, как будто это он вскрикнул бабьим голосом. По тому, как ребячески были сложены ее румяные губы, Андрей угадал в ней ровесницу: в любой толчее подросток находит себе подобных, не ошибаясь в возрасте практически никогда.

Под взглядом прозрачно-карих глаз девушки Андрей передернул плечами, как будто из-за ворота его клетчатого пиджака высунулась картонная бирка.

— Ну, что ты кричишь? — прошипел он, подойдя к матери. — Сумасшедшая.

— Сам сумасшедший, — быстро ответила ему Людмила. — Беги к отцу, помогай.

Называя племянника двойником, тетка Клава имела в виду только то, что он груб и стыдлив одновременно: это сочетание представлялось ей ненормальным. Вообще под стеснительностью «мама-кока» понимала одну из форм хитрости, этакую с вывертом, с *подлецей*.

Предметом нынешнего стыда Андрея была невинная домашняя заготовка: «Сочли достойным — потому и едем». Всякий раз, когда мама Люда, уверенная в неотразимости этого довода, пускала его в ход, Андрей впадал в отчаяние: ему казалось, что все вокруг, и люди, и неодушевленные предметы, начинают перемигиваться и двусмысленно ухмыляться. Душа его была изъязвлена жгучим любопытством посторонних людей, не упускавших случая спросить: «Нет, а все-таки, как же это у вас получилось? Денег, небось, кучу ухлопали? Или первую зарплату кому-нибудь пообещали? А может, московская родня помогла?» Это спрашивали, глядя в лицо, а о чем шушукались за спиной — лучше было не думать. Город Щербатов не так уж велик, и об оформлении Тюриных за рубеж не судачили разве что глухонемые.

Как обстояло в действительности, мальчик не знал, родители в такие тонкости его не посвящали, а допытываться он не хотел — из инстинкта душевного самосохранения. С некоторых пор зазвучала в доме фамилия Розанов — именно так, с ударением на третьем слоге: «Розанов помнит, Розанов сделает, Розанов обещал». Андрею виделся статный круглолицый мужчина цветущего, хотя и несколько сомнительного здоровья, деликатно, но досадливо поправляющий: «С вашего позволения, не Розанов, а Розанов». Получалось, что во время одной из заготовительных поездок в Москву мама Люда встретила с этим самым Розановым, пожаловалась ему на щербатовское житье, и, сочувственно выслушав ее, Розанов сам предложил выездной вариант. Мамина студенческая любовь — такова выходила, как пишут в детективах, легенда. И, как всякую выдумку, достоверности ради ее приходилось

постоянно уснащать бессмысленными подробностями. «Вспоминал, как мы на каникулы в Москву с ним ездили, мягкое мороженое ели из высоких бокалов... в кафе „Север“ на улице Горького...» Неожиданно для себя Андрей обнаружил, что всякий раз, когда слышит фамилию Розанов, заливается краской стыда. От мамы Люды это не укрылось, и однажды она игриво сказала: «А сыночек меня ревну-ует!..» На какую реакцию она, интересно, рассчитывала? На то, что сыночек ей подмигнет и осклабится? Черные и зеленые пятна заплясали у Андрея перед глазами. «Да кому ты нужна! — закричал он, дрожа от злости и отвращения. — Кому ты нужна!..» Мама Люда опешила: ей никто не объяснил, что играть в такие игры с сыном-подростком не следует.

Отца упоминания о Розанове тревожили не больше, чем «луковая тюря». Впрочем, и к выездному варианту Иван Петрович поначалу отнесся не слишком серьезно.

Вызов в Москву на языковые курсы был для Ивана Петровича, словно гром среди ясного неба. Он прибежал из института в неурочный час, взлохмаченный, с перекошенным галстуком, с красным пятном на левой щеке, как будто его кто-то ударил. «Ох, как ты, Милочка, меня опозорила! бормотал он заплетающимся языком. Речь его часто коснела в минуты волнения, и не знающие отца люди могли даже вообразить, что он пьян. Не поеду, никуда не поеду! Люди в глаза мне смеются. Сдурел, говорят, учиться на старости лет». «А, смеются! — взвилась Людмила. — Пусть тогда уж смеются, что ты к лекциям за кухонной плитой готовишься, что единственный костюм у тебя на плечах, что жена твоя, как пугало воронье, одета... А ребята наши? Ваня, подумай о них!» — «Ты давай на детей не кивай! — вмешался Андрей. — У детей ты совета не спрашивала». Он всецело был на стороне отца и считал выездной вариант недостойной авантюрой. Но отец оттолкнул руку помощи. «Помолчи, пожалуйста! — жалобно сказал он Андрею. — И без тебя в ушах звенит». Иван Петрович редко одергивал сына, а тут еще была ситуация, когда сын рвался в бой на его стороне. «А зачем она мелет чушь? — со слезами на глазах вскричал Андрей. — Пусть она чушь не мелет!» — «Это кто это „она“? — грозно повернулась к нему мама Люда. — Ах ты, сын поганый! Кто такая „она“? Это ты про мать родную так говоришь?» По неясным причинам (может быть, даже философского порядка) мама Люда не выносила, когда ее называли «она». Лучшего способа вывести ее из себя просто не существовало.

Поведение отца представлялось Андрею загадочным. Если сказка о Розанове соответствовала действительности, то как отец мог допустить, чтобы дело дошло до вызова на курсы? Пусть даже Розанов и не был в маму Люду влюблен, пусть все ограничилось мягким мороженым, разве не унижительна для мужика *такая протекция*? Почему бы не сказать коротко и с достоинством: «Не хочу». Или же: «Не могу». Да, отец сопротивлялся искренне, но его возражения были слабы: они сводились к тому, что, во-первых, ему неловко перед коллегами (а чего неловкого, если *сочли достойным?*), а во-вторых, он, видите ли, с детства неспособен к иностранным языкам. Неужели нельзя было придумать что-нибудь посильнее? Или уж не сопротивляться совсем.

Проще всего было бы обратиться за разъяснениями к самому отцу, но отношения с ним у Андрея, как это ни странно звучит, были не настолько коротки. Большую часть времени отец либо отсутствовал (он подрабатывал уроками), либо сидел, обложившись бумагами, за кухонным столом (не за плитой, разумеется, тут мама Люда преувеличивала; в многосемейной квартире на втором этаже дома 24 по Красноармейской улице у одних только Тюриных была хоть и крохотная, но своя, отдельная кухня с печкой и газовой плитой), либо пребывал в состоянии мудрой задумчивости, словно отдыхающий от богослужения жрец. Резервы времени для общения с сыном он мог изыскать только за счет мудрой задумчивости, но это состояние было для Ивана Петровича удобством: озаботившись чем-то недостижимо сложным, можно было спокойно уединиться, никуда не прячась, и отдыхать, как за ситцевой занавеской. Там, где Андрей не видел никакой последовательности, логика как раз имелась: именно мягкость характера заставляла отца сопротивляться выездному варианту, чреватому множеством конфликтов, и та же мягкость в конце концов подвинула его на отъезд. Людмила так упрашивала, убеждала, корила, уговаривала его, так грозила грядущими — пожизненными! — попреками, что Иван

Петрович счел за благо поддаться. В полчаса собрал чемоданчик и, бормоча: «Ай, не знаю, не знаю, всему городу на потеху» — отправился в столицу. Фактически он бросил сына, своего единственного союзника, на произвол судьбы и даже не потрудился объясниться. Довольно было бы одного его слова (ну, скажем: «Сынуля, еду из любопытства, хочется все перепробовать»), чтобы мальчик с энтузиазмом подхватил эту мотивировку и стал ее ревностным приверженцем. Как и многие подростки, Андрей находился в состоянии ожесточенной войны с матерью (а точнее — против матери) и был к ней пристрастно несправедлив, к отцу же относился с состраданием, несколько, впрочем, переоценивая тяжесть отцовского бремени. Но делать нечего, и, пережив замешательство, Андрей был вынужден сам кое-как объяснить этот необратимый поступок. «С государством не шутят» — вот таким оказалось найденное им оправдание. Отец поехал на курсы, потому что не мог не поехать, слишком важные силы задействованы, слишком крупный движок пущен в ход, и останавливать его по прихоти отдельного гражданина никто не станет.

Десять месяцев Иван Петрович жил в столице по-студенчески, не ведая никаких забот, кроме зачетов и экзаменов. Даже письма его помолодели, в них замелькали легкомысленные словечки «шпора», «контрошка», «долбеж». Людмила читала эти письма вслух, с досадой выискивая между строк хоть малейшие упоминания о перспективах, — и ничего не находила. «Вот малахольный! — сердилась она. — Я с детьми одна мучаюсь, а он там резвится!» Андрей, защищая отца, разъяснял ей, что дела международной важности нельзя доверять почтовой бумаге, — и был очень близок к истине. Отец не писал о выездных перспективах потому, что не считал возможным писать. Позднее он рассказывал матери о самонадеянном слушателе, который развонил в письмах, что выезд у него уже в кармане, и провалился на экзамене, после чего со стыда сменил место жительства и бросил семью.

Молодеческие письма отца очень развлекали Андрея, который не предполагал в своем родителе таких ресурсов бодрости, и мысль о предстоящем выезде в полуденные края стала для него каждодневной и радостной. Он начал заглядывать в вузовские учебники английского языка. Мама Люда, обрадовавшись перемене в его настроениях, нашла ему репетитора — непутевого щербатовца, который выдворен был из института имени Мориса Тореза, однако слыл в городе человеком, в изобилии знающим иностранные языки.

Никому на свете Андрей не признался бы, что в мечтах своих он уже видит себя международным борцом, которого только и ждут в сумрачных манговых зарослях, пламенным агитатором, вождем герильи, перераспределителем общественных благ, таким Робин Гудом третьего мира, и даже кличку себе придумал *на всякий пожарный случай*: Эндрю Флэйм. В конце концов он был всего лишь ребенком, причем ребенком для своих лет весьма начитанным: все книжные сокровища города Щербатова были ему доступны, а это не так уж мало даже по глобальным меркам.

Имелась у Андрея одна тайная мысль (не чуждая любому подростку, эта мысль, бывает, тешит и убеленных сединами мужей), что все на свете, включая войны, революции и землетрясения, приведено в действие исключительно ради него, только одни события, имевшие место ранее, своей неотвратимой последовательностью готовили явление в мир Андрея Тюрина, другие же, вяло текущие ныне, нуждаются в его вмешательстве, для которого он, собственно, и родился. В самом деле: в дотюринский период история мчалась на всех парах, эпохи и формации так и мелькали. Там были свои эндрю флэймы, свои наполеоны и кромвели, все уникальный, штучный народ. Но вот родился Андрей Тюрин — и поезд резко сбавил ход, стал притормаживать, лязгать, теперь и вовсе еле ползет, грозя

остановиться у первого же столба и обречь человечество на пожизненное разглядывание какого-нибудь замызганного перелеска. И если *все правильно* (то есть если исходное предположение справедливо), то рано или поздно Андрею Тюрину придется пройти в головной вагон. Пока он едет как рядовой пассажир, в мире ничего происходить не будет. В этом смысле выездной вариант, при всей его кустарности, можно было рассматривать как нарочно подстроенный, как благосклонный кивок истории в сторону мальчика из Щербатова с толстыми, как копыта, ногтями и широким пятнисто-бледным лицом. Почему из Щербатова? А история вообще равнодушна к мальчикам из провинции. Может быть, весь на свете прогресс есть не что иное, как эстафета, передаваемая от одного Эндрю Флэйма к другому — с зияниями и пробелами там, где очередной вождь всемирной герильи оказался не на высоте своей роли. А быть может, и так: в мире есть лишь один Эндрю Флэйм, одно вечное переходящее «я», которое досталось сейчас мальчику из Щербатова. Но тогда как знать, возможно, это единственное в мире «я» способно не только замедлять и ускорять ход событий, но творить и перекраивать окружающий мир по своему усмотрению, поскольку никакого иного усмотрения нет... Как не имеется, строго говоря, и самого окружающего мира. Однако это уже допущение четвертого уровня, настолько простое и грозное, что лучше его не касаться, лучше не думать о нем вообще...

За неделю до возвращения отца тетя Клава, прислала маме Люде письмо, полное туманных намеков: «Что-то глаз к нам не кажет Иван, зазнался, а может, еще что такое, тебе, голубка, видней. Тут у нас одиночек много, смотри, как бы локти грызть не пришлось. Рубль длинный, а женская доля короткая». «Черт его знает, — сердито сказал Андрей. — Ничего не поймешь, китайская грамота». «Нет, не китайская, — проговорила мама Люда. — Нет, не китайская...» И на следующий день, бросив Анастасию на попечение соседок, умчалась в Москву.

Андрей высоко ценил стабильность и сдержанность родительских отношений: браниться и ласкаться на глазах у детей они себе не позволяли. Лишь однажды он случайно услышал, как отец тонким голосом кричал: «Ты пожираешь мою жизнь, пожираешь!» Запомнилось сконфуженное лицо отца и то, как он медленно закрыл рот при появлении Андрея, как будто только что пел...

Мама Люда вернулась вместе с отцом, утомленная, но очень довольная. Появилось в ночных родительских шепотках новое имя — Елена, мать произносила его язвительно и зловеще, получалось: «Х-хилена твоя возлюбленная», отец же ворочался и кряхтел. «И не стыжусь! И горжусь! громко шептала за родительской ширмой мама Люда. — Ишь, на готовенькое, разгрибилась! Сделала ей — и за дело!» — «Нет, не за дело, — бубнил, уткнувшись в подушку, отец, — нет, не за дело, Милочка, поскольку ничего не было». — «Постольку и не было, — торжествующе отвечала мама Люда. Не было, и теперь уж не будет!» — «Эй, философы! — кричал со своего раздвижного диванчика Андрей. — Долго вы там? Расшкворчались!» Он изображал, что такими скабрзностями не интересуется, и родители охотно принимали это на веру: наш пострел еще не поспел. Им так было проще, а каково ему — они, поглощенные своими семейными радостями, не задумывались.

Присматриваясь к отцу, Андрей пришел к выводу, что он вроде как бы помолодел. Возможно, это объяснялось тем, что в Москве отец бросил курить. Смущенно посмеиваясь, он говорил, что курение за границей — это перевод валюты на тот свет. Но было во второй молодости отца что-то другое, уклончивое. Андрей заметил, что отец нет-нет и бросает взгляды на молодых женщин, особенно рыжих, высоких и белолицых. Андрей представлял

себе ту, московскую, чуть ли не своей ровесницей, гимназисткой или, на худой конец, студенткой. Но умом он понимал, что, конечно же, это была всего-навсего рыжая сухопарая тетка. А у мамы Люды были темные волосы и личико цвета топленого молока... Нет, не надо нам таких экспериментов.

С курсов Иван Петрович привез лишь справку о том, что язык им сдан на отлично. Никто ему в Москве ничего не обещал и тем более не гарантировал. А между тем за время его отсутствия из совета факультета его вывели: «Зачем вам теперь? Вы у нас человек выездной, перелетный». Месяц, другой после курсов прошел. Москва молчала. «Да что же они с нами делают? — недоумевала мама Люда. — Как теперь людям в глаза смотреть?» «Раньше надо было думать! — грубо говорил Андрей. Ему было стыдно перед собой — за восстание в джунглях, за Эндрю Флэйма. — Миллионы честных тружеников живут себе на советские деньги, а ты стерлингов захотела? Посмешище ты, больше никто!»

Город в самом деле посмеивался над Тюриными. «А что ж? — балагурили щербатовцы. — Поучился — и будя. За одного ученого двух небитых дают».

Но тут, на четвертый месяц, белокаменная дала о себе знать — и настойчиво, даже сердито стала требовать, чтобы выездное дело семейства Тюриных было представлено в кратчайший срок. И завертелась карусель... Характеристику Ивана Петровича, которую он сам писал-вымучивал трое суток, не вылезая из-за печки и взявши ради этого отгул, семь раз перепечатывали: то, видите ли, формулировки слишком сдержанные, то, наоборот, чересчур восторженные, то абзацев мало, то не те поля. Факультетская машинистка вышла из себя и заявила, что ее рвет и тошнит при виде этой бумаги, а те две дамы, которые подрабатывали перепиской на машинке в городе, отказались браться за дело — из опасения, как бы не вышло какого-нибудь скандала. Пришлось маме Люде искать машинистку в Москве. Свое веское слово сказала и городская медицина: вначале Настю объявили малокровной, затем Ивана Петровича отказались признать «практически здоровым» — на том основании, что он гипертоник, о чем он даже и не подозревал...

И это были еще только цветочки. Коллеги с кафедры, побрюзжав и посетовав, что вот, мол, серьезный человек, нет чтоб форсировать свой научный рост, занимается вместо этого ерундой, опротестовывать характеристику не стали, но на факультетском уровне нашлось много пытливых людей. «Простите, а почему, собственно, Тюрин? А чем он знаменит, этот Тюрин? Он что, лауреат Нобелевской премии? И кто его продвигает? Почему коллектив не проинформировали, что существует вот такая интересная вакансия? Мы обсудили бы, выбрали бы достойнейшего — и не исключено, что им оказался бы именно Тюрин Иван Петрович, русский, беспартийный, старший преподаватель, не имеющий ученой степени. А может быть, такая вакансия не одна? Может быть, через месяц-другой нас вновь поставят перед фактом, что некий Сидоров оформляется за рубеж? И мы опять должны будем голосовать „за“? А почему бы не объявить открытый конкурс и не составить перспективный список, пять фамилий, одобренных всем коллективом института?»

Иван Петрович осунулся и пожелтел лицом, в глазах его появился нехороший матовый оттенок, левая щека все время румянилась, как припеченная, а молодцеватая шевелюра потускнела. От второй его молодости не осталось и следа. А Людмила Павловна, напротив, сияла, радость жизни играла в ней прозрачно и чисто, как в тонкостенном стакане играет минеральная вода. «Знаем мы эту гласность для горлопанов! Знаем мы эти пять фамилий: двое из парткома, двое из профкома да еще какого-нибудь страхагента пристегнут для толпы. Нет, голубчики, не для вас я это дело затеяла, и этот номер у вас не пройдет!» Чтобы

промыть кое-кому мозги, она совершила еще один наезд на столицу, к Розанову, — и всем недовольным было дано понять, что Тюриных *просто хочет МОСКВА*.

Сидя за своим ученическим столом и подзубривая английский, Андрей с тревогой прислушивался к родительским разговорам. У него-то с выездным делом все было в полном порядке. В характеристике, выданной Андрею Тюрину школой № 2 (бывшее реальное училище, непременно прибавил бы любой житель Щербатова), указывалось, что он «успешно занимается по предметам гуманитарного цикла, но в то же время серьезно интересуется предметами точных наук, с похвальными грамотами переходит из класса в класс, весьма начитан, регулярно посещает библиотеку, театр и краеведческий музей, прилежно выполняет общественные поручения, рисует и редактирует стенные газеты, пользуется уважением учителей и товарищей по школе, хорошо воспитан, морально устойчив, старательно относится к своим обязанностям в семье, любит Родину, принципиален». Во всем этом не было ни единого слова натяжки, и если этот текст с большими муками составлялся при участии директора, завучей, старшего пионервожатого, классного руководителя и вообще половины педагогического коллектива школы, то потому лишь, что никто из школьников города Щербатова еще ни разу за границу не выезжал. Матери Андрей запретил даже появляться возле школы: «Сунешь нос в мои дела — уеду в Новороссийск». В Новороссийске жила младшая сестра Ивана Петровича, незамужняя тетя Наташа. Андрея она любила без памяти и была симпатичная, добрая, но не складывалась у нее судьба. Мама Люда Андрея к ней ревновала и называла ее «тетя Монаша». Так что не внять угрозе сына она не могла. Самостоятельно, без ее помощи, Андрей провел свою характеристику через все инстанции, выхлопотал справку о досрочном окончании седьмого класса с одной только четверкой — по физкультуре (физрук, которого за небольшой рост и гнусный характер все звали Клоп, поставил условием, чтобы Андрей подтянулся на турнике пятнадцать раз, а получилось двенадцать) и выложил свои бумаги перед матерью со словами: «Ну вот, я готов. Не то что вы».

Раз в две недели, а то и чаще Людмила ездила в Москву и возвращалась оттуда, обвешанная, словно дед Мороз, покупками. «Как люди выедем, чтоб не стыдно, жаться не будем!» Несколько противоречили этим декларациям массивные закупки тушенки, которую тетя Клава доставала ей через свой торг. Но что тушенка! Вещь куда более предсказуемая, чем оконные шпингалеты, электрические провода или, скажем, возмутивший даже кроткого Ивана Петровича гвоздодер. Так за несколько месяцев сформировался багаж, загроздивший всю комнату и казавшийся Андрею безобразным. Чемоданы хоть и новые, но бесстыдно раздувшиеся, перевязанные веревками, ощерившиеся по углам. Андрей ни разу еще не видел, как собираются за границу, но убежден был, что *так* уезжают только дураки. Формированию багажа он сопротивлялся, как мог, бранился с матерью из-за каждого лишнего места, бесновался даже: «Ты оголтелая, о-гол-телая, вот ты кто! Совершенно утратившая чувство меры!» — «Сыночек, — отвечала ему мама Люда, сомнамбулически на него глядя и не реагируя на оскорбления, — все беру доброе, все нужное, *там* — как найдем!»

Щербатов с любопытством наблюдал, как суетятся Тюрины, как сидят на чемоданах посреди разоренного своего жилища с упакованным постельным бельем в ожидании виз... половина города у них перебивалась, просто так, поглядеть на невиданный выездной багаж да поохать, повздыхать вместе с хозяйкой. Все эти мытарства примирили город с Тюриными, земляки опять стали по-человечески им сострадать, и когда наконец Москва сообщила, что

визы получены, Щербатов распрощался с ними сердечно и тепло. Городская газета поместила сообщение об их отъезде с пожеланиями успехов в выполнении интернационального долга, среди провожавших на вокзале были такие большие люди, как директриса «реального училища», декан физмата и даже кто-то из горисполкома. Только от маминой библиотеки под арками щербатовского вокзала не появилась ни одна живая душа. «Ты там, Иван Петрович, скажи, скажи в министерстве, — внушал декан отцу, — пускай не волнуются, замену к нужному сроку мы тебе подошлем». Андрей никак не мог понять, о какой замене этот старик печется, да и сам отец слушал и мелко кивал, ничего, должно быть, не слыша и не понимая. Цветов принесли мало, какие в мае цветы, но оркестр от института был заказан. Правда, музыкантов где-то задержали, и «Прощание славянки» загремело на перроне, когда поезд уже набирал ход...

Иван Петрович вернулся с двумя багажными тележками, Андрею тоже удалось прихватить две, и вот так, обозом, Тюрины въехали в здание международного аэропорта: первую тележку катила мама Люда, вторую Андрей, третью — дядя Сережа, а последнюю, нагруженную выше головы, толкал, упираясь, Иван Петрович. Замыкала шествие «мама-кока», она вела за руку многожды оплаканную ею Анастасию. Запрокинув голову, Настя со страхом глядела на меднотрубчатый потолок. Зал наполнен был гулом, не имевшим отношения к летному полю: казалось, воздух сам подвывает, как в кино, когда зрителей готовят к приближению жуткого чуда.

— Ну, и где тут весы? — остановившись и тыльной стороной кисти руки утирая лоб, спросила Людмила.

Были в ее голосе особые обертоны: что бы она ни промолвила, всем вокруг казалось, что обращаются именно к ним. Для работы в детском абонементе это свойство было очень полезным, но уже для взрослого читательского зала оно не годилось.

И возникший рядом с нею пассажир, мелкорослый мужичок в нарядном золотистом костюме, притормозил свою легкую коляску (там лежали два клетчатых чемоданчика на «молнии» и дорожная дамская сумка), повернул к Людмиле голову и с любезной улыбкой осведомился:

— Простите?

Остроносый и розовокожий, с пышно взбитыми мелкокурчавыми белыми волосами, мужичок произнес это слово, интонируя его не вполне по-русски, да и склад его губ выдавал привычку к иностранному языку. А главное как бесшумно он подкрался, буквально материализовался из пустоты, причем с таким видом, как будто с юных лет следовал по пятам семейства Тюриных... именно так, неназойливо и в то же время настойчиво, обыкновенно действуют британские агенты.

«Начинается», — с удовольствием подумал Андрей. В то, что путь их следования до самой страны назначения будет обозначен цепочкой подсадных агентов и провокаторов, он, конечно, не верил, все это были стариковские страхи, но правила игры в Эндрю Флэйма предполагали кишение агентуры врага.

— До весов еще нужно дойти, — сказал британец, когда Людмила Павловна повторила свой вопрос. — На весы вы повезете только то, что соизволит оставить вам вот эта дама.

И он показал на барьер, за которым у стола с повернутым наискосок интроскопом стояла крупная чернобровая женщина в униформе.

— Как это «соизволит»? — спросила мама Люда. — Какое она имеет право?

— Имеет, сударыня, имеет, — со вздохом ответил ей агент.

Он окинул опытным взором сбившийся в кучу тюринский обоз и, поклонившись Ивану Петровичу, подкатил свою тележку к барьеру. Нарочито небрежно пихнул под интроскоп чемоданчики и, поставив на прилавок свою овальную сумку, приготовился ее расстегнуть. Однако чернобровая таможенница лишь скользнула безразличным взглядом по телеэкрану и, не удостоив сумку вниманием, сказала:

— Проходите.

Золотистые плечики агента едва заметно шевельнулись, и по этому движению облегчения Андрей понял, что агент волновался.

— Ванюшка, — громко зашептала, озираясь, Людмила, — поехали к другому столу.

— А почему? — с недоумением спросил Иван Петрович.

— Да тише ты... — Людмила замахала на него руками. — Дуда волынская! Там мужчина работает. Женщины на таможене очень лютуют.

Многие начитанные люди нетверды в ударениях и перед каким-нибудь «феноменом» пасуют: так или так? Слово «таможня» Людмила произнесла с усилием, чувствовалось, что она борется с мучительным желанием отбить ударение на первом слоге. Это сын ее отучил. «Таможня, да? Тутожня, да? — грозно говорил он. — Только попробуй нас опозорить!»

— В чем дело, граждане? — поторопила их таможенница. — Ставь, паренек, вот сюда.

Вздвогнув от неожиданности, Андрей вопросительно посмотрел на мать. Мама Люда и сама не знала, что делать.

— Ладно, — буркнул Андрей, подхватил первый чемодан, поставил его у подножия интроскопа и, обойдя таможенницу с другой стороны, вытянул шею и взглянул на экран. Там, как и следовало ожидать, появилась путаная рентгенограмма.

— Что здесь такое металлическое? — вглядываясь в мешанину контуров, таможенница нахмурила свои красивые черные брови.

— Н-не знаю... — жалобно проговорила мама Люда, пытаясь прикинуться школьницей. — Кастрюльки, может быть... уже и не помню.

«Врешь, помнишь, — с горестным злорадством подумал Андрей, — у тебя целый каталог. Начинается вранье, начинается мерзость...»

— Откройте, — скомандовала таможенница, и чемодан, вздрогнув, как будто его напугали, выехал из-за стола с телевизором. — Мальчик, не пыхти мне в плечо. Мешаешь работать.

«Вот оно, — весь дрожа, как от восторга, сказал себе Андрей и отступил от прилавка, — вот оно, я же предупреждал! Сочли достойными! Сочли достойными! Сочли достойными!»

Ему казалось, что он кричит эти слова на весь зал, дергаясь и приплясывая под медленно проворачивающимся органным потолком. Если бы он видел со стороны, насколько равнодушно его лицо, насколько замедленны и даже развязны движения, он не поверил бы своим глазам. Здоровый белобрысый парень в дешевом клетчатом пиджаке, презрительно дернув щекой, отошел на два шага и отвернулся... А тот, охваченный пламенем, беснующийся и кричащий от стыда, существовал только в его воображении. Но — существовал, и ему было больно.

Дядя Сережа и мама Люда принялись ставить на конвейер один чемодан за другим.

— Этот откройте, этот тоже откройте, этот тоже, — командовала таможенница и вдруг, раздосадовавшись, воскликнула:

— Нет, это просто безобразие! Открывайте все подряд.

Иван Петрович в растерянности стоял по ту сторону барьера, держа в руках невесть откуда взявшиеся ножницы, ножницы тоже растерянно раскрыли рот.

— Да, да, и веревочку режьте, и веревочку, — сказала таможенница. Не я же буду это делать.

Она вышла из-за своего пульта и направилась к Ивану Петровичу.

Людмила побежала следом.

— Что безобразие? Почему безобразие? — на ходу повторяла она.

— Безобразие вести с собой целый продовольственный склад, — строго ответила ей таможенница. — Вынимайте!

— Это возмутительно! — в отчаянии выкрикнула Людмила. — Это издевательство над пассажирами! Я буду жаловаться!

— Володя, — обратилась чернобровая таможенница к напарнику, невозмутимо стоявшему за соседним телевизором. — Позови начальника смены, гражданочка хочет жаловаться. Будем с рейса снимать.

— Мама! — грубым низким голосом крикнул Андрей. — Перестань! Должно быть, мама Люда и сама поняла, что занимает проигрышную позицию.

— Послушайте, женщина, — тихо сказала она таможеннице, пристиснутые кулачки к груди, — товарищ диспетчер, это ж питание, у нас двое детей, пожалейте!

В глазах у нее и в самом деле заколыхались слезы.

— Куда летите? — сухо спросила таможенница. — Ах, да... Это не я, это вы своих детей не жалеете. Для чего вы с ними? Зачем?

Андрей затравленно обернулся. Дама и девушка с ирисами, свободные от всего земного, стояли вдалеке, по ту сторону весов. Они смотрели на Тюриных и злорадно, торжествующе хохотали. А может быть, и не хохотали: выражения лиц на таком расстоянии невозможно было разглядеть.

Оттуда крикнули:

— Кто там остался на досмотре? Побыстрее нельзя?

— Ладно, ступайте, — помедлив, проговорила таможенница. — Но в следующий раз...

— Спасибочко вам! — воскликнула Людмила и тут же, понизив голос, спросила:

— Мы из Щербатова, может, слышали? Небольшой сувенирчик на память... о нашем городе...

— Уходите с моих глаз немедленно! — грозно сдвинув брови, сказала таможенница. — И чтоб я вас здесь больше не видела!

И мама Люда, всхлопнув локотками, побежала.

— Что, получила? — гневно отчитывал ее, едва поспевая за нею, Андрей. — Взяткодательница! Позорница ты! Сорока-воровка! Скажи спасибо, что пощадили твою глупую голову!

Анастасия, точно клетчатая кукла, покорно тряслась у Бати на руках, мама Люда в распахнутом бордовом пальто, шагая слишком крупно для своего роста, резкими, как робот, рывками катила тележку с растормошенными баулами, в стороне отец, словно маневровый паровоз, толкал впереди себя сразу три тележки...

Тюрины бежали наискосок по просторному залу с плавающими потолками, скрытыми источниками света и совершенно межпланетными указателями, которые, требуя к себе внимания, выразительно, как глухонемые, гримасничали и, казалось, на все лады призывно мычали. Медные трубы глядели на Тюриных сверху, то ли укоризненно выпятив губы, то ли округлив от деланного удивления глаза... Скорее, скорее, скорее, торопил себя Андрей. Чтобы эта попытка стыдом поскорее окончилась (не могла же она продолжаться бесконечно), нужно было совершить над собою усилие, а какое именно — он не знал.

И вдруг это случилось само собою: время и пространство схлопнулись вокруг него, как фотокамера с черной гармошкой, мама Люда и Настя, вспорхнув, исчезли, сгнули и постылые тележки с багажом, и Андрей увидел себя стоящим возле отца в узком шкафчике паспортного контроля. Было тесно и холодно, дул темный ветер с тревожным запахом эскалаторной резины. Оба, старый и малый, тряслись от волнения, словно преступники, намеревающиеся совершить угон. Если при этом применялись нательные датчики,

полиграф, несомненно, показал бы: виновны. И в самом деле, отец и сын охвачены были в эту минуту могучим чувством вины перед своим государством... вот только в чем заключалась эта вина они не могли бы высказать ради спасения души.

Но никаких детекторов лжи в том шкафу не имелось. Чистенький молодой пограничник, сидя за стеклом, поднял ярко освещенное лицо, внимательно и странно посмотрел сперва на сына, потом на отца и, выложив на полочку их общий паспорт, негромко сказал:

— Проходите, пожалуйста. Следующий.

Тюрины вышли в длинный односветный зал, окнами глядевший в пасмурную сторону неба, на фоне которого леденисто белели самолеты с высокими хвостами. В широких креслах, просторно расставленных по всему залу, расслабленно и покойно расположились люди. Кареглазку и ее мамашу видно было издалека. Обе ярко-желтые, расшитые, точно камергерши какого-то птичьего двора, они сидели напротив входа, одинаково сдвинув колени, хотя брючная мать могла бы этого и не делать, но она, должно быть, показывала пример дочери, юбка которой и на четверть не прикрывала ее мощные взрослые бедра. «Москва», — сказал бы любой мальчишка в Щербатове, где все большое и красивое называли именно так. «Гля, красноперку какую вытянул! Москва!» Впрочем, дама не снисходила до того, чтобы смотреть по сторонам: она читала журнал «Иностранная литература», держа его несколько на отдалении и как будто мысленно произнося текст нараспев и в нос. Кареглазка через голубую соломинку пила из бутылочки пепси-колу и бездумно глядела своими яркими глазами на сидящих, стоящих и прогуливающих по залу пассажиров. Британский агент куда-то исчез: выполнял, должно быть, разведывательно-диверсионную работу.

И тут Анастасия, терпевшая все утро, не выдержала.

— Мы уже приехали? — спросила она рыдающим голосом, обнимая своего Батю за шею. — Знаю, знаю, все я знаю!

Никто, и Батя в том числе, не понимал, что творится в бедной этой головке. «Большой лопух», явившийся из недопонятой телепередачи и широко раскрывший сочный рот где-то за дверью, был одновременно и плотоядным цветком, и желтой женщиной с ирисами, и приемным покоем: Настя, лежавшая прошлый год в январе с дифтеритом, терзалась подозрением, что все это громоздкое мероприятие затеяно с единственной целью — обманом завезти ее в инфекционную больницу.

— Мама, у нее начинается, — сказал Андрей, чувствуя, что сестренка все крепче прижимается к нему своим трясущимся тельцем. — Закачивай, пока не поздно!

Людмила схватила Настю на руки и принялась исступленно трясти, часто и резко наклоняясь вперед, точно кланяясь проносящимся перед нею вагонам. От прически «Николь» не осталось даже воспоминаний: теперь это была просто влажная спутанная грива неровно подстриженных темных волос. Многие сидевшие в зале заинтересовались этими телодвижениями. Кареглазка тоже долго и сосредоточенно глядела на Людмилу Павловну, покусывая свою голубую соломинку, потом досадливо шевельнула плечом и отвернулась. Так москвичи смотрели вчера, когда на раззолоченной станции метро появились в своем пестром тряпье цыгане...

— Ванюшка, — прошептала Людмила, не переставая кланяться, — а как же Сережа и Клава? Надо с ними попрощаться!

Иван Петрович всплеснул руками, заметался, побежал назад, к барьерам зоны

спецконтроля, и возвратился, растерянно улыбаясь:

— Поздно, Милочка. Оказывается, мы уже пересекли государственную границу.

Последние слова его покрылись черным ревом, по стеклам высоких окон до самого потолка пробежала мелкая дрожь — и словно льдина откололась, толсто повторяя очертания госграницы, и медленно сдвинулась с места, оставляя за полоской темной воды и «маму-коку», и дядю Сережу, и чернобровую таможенницу с ее интроскопом, и обросшие лопухами желтые заборы Щербатова, и большую, лиловую, продроглую Москву...

Вождь всемирной герильи еще ни разу в жизни не летал на самолете: некуда было, даже к «тете Монаше» в Новороссийск он ездил на поезде. Поэтому, оказавшись в длинной алюминиевой трубе, сплошь уставленной рядами зачехленных кресел, он оробел, ноги его стали подгибаться, как будто вылеплены были из теплого пластилина. Все вокруг, от ребристого потолка до глухо подрагивающего пола, неумело прикрывало угрозу, страшно пахнущую кислыми леденцами. Полукруглые спинки кресел незряче белели, словно лица погибших и давно позабытых людей. Ступни ног неприятно покалывало, как во сне, когда чудится, что падаешь с большой высоты. Мальчик остановился в проходе и, подталкиваемый сзади нетерпеливыми пассажирами, даже обрадовался, когда перехватил взгляд Кареглазки, которая, сидя у иллюминатора, спокойно за ним наблюдала. Кукольно-красивое личико ее было так восхитительно невозмутимо, она так уютно устроилась в кресле с высокой спинкой, что Андрей устыдился своего страха.

— А вот и Ба-атя наш идет! — услышал он воркующий голос мамы Люды. Скажи ему, доченька: «Иди к нам, Батя!»

Мать с сестренкой сидели через ряд позади Кареглазки и глядели на него снизу вверх, как из снежной ямы: мама черненько и умильно смеялась. Настя — запрокинув бледное, страдальчески улыбающееся лицо. Кепку с нее мама Люда уже сняла, сверху виден был жесткий пробор в ее туго натянутых белесых волосенках.

«Ну уж нет», — сказал себе Андрей и, насупившись, сел впереди, хотя рядом с Настей было свободное место. Он еще не забыл и не простил матери унижения, пережитого на таможне, а впереди был первый в его жизни полет, и ему не хотелось ни с кем разговаривать и ни о чем думать.

Мама Люда не стала настаивать. Поворочавшись, она притихла него за спиной, и мальчик облегченно перевел дух, вытянув ноги, насколько позволяло пространство, и огляделся.

Увы, облегчение было преждевременным: рядом с ним возле иллюминатора сидел британский агент с мелко взбитыми бело-розовыми волосами. Он покосился на Андрея и слегка отодвинулся. Но Андрея обмануть было нельзя: он знал, что такие щуплые дядьки хищно разговорчивы, они буквально впиваются в собеседника и обожают подначки, от них только и жди шутейного тычка под ребро: «Ну, так как же это все-таки у вас получилось?» Андрей заколебался: не пересест ли назад, к своим? Но по проходу в это время вперевалку прошел огромный, как слон, человек с лицом кофейного цвета и с толстыми губами, он без раздумий уселся рядом с Настей, Андрей и не оглядываясь это понял, когда его собственное кресло от тяжелых толчков сзади заходило ходуном.

А на свободное место слева от Андрея опустился отец. Иван Петрович был замордован посадкой: волосы его разлохматились, бледно-желтое лицо блестело, как намазанное кремом, стекла очков захватаны пальцами, глаза воспалились и были подернуты стариковской слезой. Мельком, как на чужого, взглянув на сына, отец стал усердно запикивать под кресло объемистый рюкзак: занятие совершенно бессмысленное, поскольку там, под ногами, нельзя было бы поместить даже кота.

— Отдал бы матери, — не выдержав, сварливо сказал Андрей. — Пускай сама и везет. Русским языком было сказано: ручная кладь — только зонт и портфель. А с рюкзаками за

границу не ездят.

— Да вот, понимаешь, — как бы не утруждая себя переводом его слов на свой кроткий язык, отозвался отец, — хотел оставить в тамбуре, но разве договоришься?

Отец хотел еще что-то добавить, но не успел. Услышав, что *мужички* разговаривают, мама Люда почти просунула между спинками кресел свое обострившееся, похудевшее от переживаний, но счастливое лицо.

— А мы тоже тут! — голосом шаловливой синеглазой девочки проговорила она. — А у нас все в порядке, мы смотрим в окошко и спать не хотим.

В минуты семейной радости все матери на свете страстно желают, чтобы их дети слились с ними в общем экстазе и залепетали слова благодарности и любви.

— У-тю-тю! — пробормотал Андрей, не терпевший, когда мама Люда начинала щебетать нарочито детским голоском.

А впереди Кареглазка оживленно разговаривала с расписной мамашей, и в прогале между креслами Андрей видел пушистый уголок рта своей сверстницы и прозрачно-карий глазок цвета вишневой смолы Похоже, она говорила по-английски, хотя о том, что эта девочка — наша, свидетельствовал каждый взмах ее русских ресниц. Этого зрелища должно было хватить на всю дорогу... если Кареглазка тоже летит, до конца. «Все правильно» — таков был тайный шифр, обозначающий допущение третьего уровня, о котором не должен знать ни один британский агент, да что там — мать с отцом, друзья-товарищи — ни одна живая душа не должна знать о том, что все на свете ровесницы с карими глазами возникают из небытия для него одного, для безвестного покамест Андрея Тюрина из Щербатова... что, стоит ему пожелать, на страницах чужих паспортов жирно проступят любые визы, гладкой тушью впишутся любые имена, и люди с радостью забудут прошлое и беспечно полетят туда, где и не помышляли оказаться и где их не ждали, а теперь будут с нетерпением ждать.

Взлет был ужасен. Казалось, самолет никогда не оторвется от полосы, цепляясь колесами за каждую щербинку, за каждый камешек. Стиснув зубы Андрей неотрывно глядел на световое табло, как будто там должны появиться слова: «Мы гибнем, граждане пассажиры!» Но вот всколыхнулось в животе — и деревья за круглым окошком сразу превратились в мелкорослый бурьян. Самолет накренился на крыло — внизу, словно кости в разверстой могиле, рассыпаны были белые длинные корпуса жилых домов, они торчали из черной, развороченной, подернутой зеленой ряской земли. Похолодев, Андрей бросил взгляд на отца. Отец дремал, свесив голову на грудь, с очками, сползшими, как у энтомолога, на кончик тонкого блестящего носа, с улыбкой страдальческой и в то же время стыдливой... Это не успокоило мальчика, а, напротив, повергло его в смятение. «Да, ему-то что, — в припадке младенческого ужаса думал он, — ему-то хоть бы что, это *мне* нельзя умирать!..»

Андрей не успел еще прийти в себя, когда услышал сзади захлебывающийся кашель и не без труда сообразил, что у Насти началась морская болезнь. Карий глазок между кресел мигнул на Андрея — и исчез, как погас.

Невыносимо долго самолет тянул вверх, жужжа и содрогаясь, как дрель, косо вгрызающаяся в дымное небо, внизу проворачивались поля и леса, на которые была выброшена прозрачно-зеленая весенняя марля. Потом в иллюминаторах побелело, машина вошла в толщу облаков и застыла на одном месте, продолжая безнадежно гундеть, словно муха, влипшая в молочный кисель.

Беловолосый сосед поднял бледную резидентскую руку (в манжеты у него были вставлены золотые запонки с янтарем), покрутил черную головку на потолке — и перед

лицом Андрея повисла невидимая ледяная кисея.

— Не беспокоит? — любезно, как парикмахер, спросил Андрея. Голубые глаза его, водянистые, но казавшиеся ясными на розовом лице, смотрели приветливо и неостро. Андрей покачал головой.

— Ну что, брат Тюрин? — с улыбкой произнес британец. — Натерпелись мы с тобой страху? Я тоже боюсь взлетать.

Андрей решил, что ослышался: так было проще. В смутной ситуации вообще нужно действовать так, как если бы ничего особенного не происходило. Но на лице его, видимо, все же промелькнула растерянность, потому что беловолосый сухонько, через «хе-хе» засмеялся.

«Нет, дорогой, — насупившись, подумал Андрей, — не втянешь ты нас в разговор. У тебя в запонках микрофоны».

— Да, перемещаться по воздуху верхом на канистре с бензином не пристало разумному человеку, — с удовольствием откинувшись к спинке кресла и положив обе руки на подлокотники, продолжал беловолосый. Когда-нибудь, лет через триста, люди будут нам удивляться: «Как они могли рисковать? И куда они, собственно, летали? Что им не сиделось на месте, не ходилось пешком?» И что самое удивительное, — тут британец придвинул к мальчику свое розовое лицо и доверительно понизил голос, — там, куда мы летим, нам решительно нечего делать. Баловство одно, кажимость, не более того.

«Почему он со мной говорит? — машинально отодвигаясь, с тревогой думал мальчик. — Может быть, он действительно к нам приставлен? Или просто тихопомешанный. Болтун Патолог».

Год назад по Щербатову, если верить слухам, шатался один патолог, все ходил по дворам, по песочницам, вертелся возле детских садиков, приставал к маленьким девочкам, звал их в какой-то шалаш. Мама Люда очень боялась за Настю, гулять ее отпускала только с Батей, все лето оказалось испорченным из-за этого больного козла. Местный свихнулся, должно быть, прищецы в Щербатове все на виду. Андрей возомнил, что поймает его, сажал Настасью вместо приманки на солнышко, а сам где-нибудь прятался и наблюдал. Настасья беззаботно играла: про патолога она слышала, но уверена была, что Батя ее защитит: Батя — самый сильный и самый грозный на свете. Вот она бы третий допуск приняла на веру безоговорочно.

Андрей прислушался — сзади доносилось умиротворяющее бормотание мамы Люды:

— Ну, вот так, ну, вот и ладно, дочка моя умная, разумная, а головочку теперь сюда положи...

Андрей обернулся, взглянул в щель между креслами: кофейного человека как ветром сдуло, вон он сидит позади, у прохода, надутый, руки все в кольцах, аристократ, вождь, наверное, племенной, а мама Люда укладывала Настасью на двух свободных местах, укрывая ее коротеньким аэрофлотовским пледом. Настасья мучилась, лицо ее с прилипшей ко лбу челочкой и с зажмуренными глазами было белее наволочки. «О-ох», — простонала она неожиданно взрослым женским голосом. И Андрей поспешно отвернулся.

Видя, что мальчик не склонен поддерживать разговор, подсадной агент угомонился. Отвалив назад спинку кресла, он достал журнал «Крокодил», надел очки (это были замечательные, наверняка дорогие очки в массивной оправе с затемненными коричневатыми стеклами) и принялся сосредоточенно и серьезно изучать карикатуры, время от времени брезгливо отстраняясь, как будто бы там изображалась интимная жизнь земноводных.

Между тем тугая щечка ровесницы снова выступила из-за высокой, спинки кресла, гладкая, как молодой месяц, и на поручне показался снисходительный голый локоток. Сердце у Андрея вздрогнуло, как поплавок от первой поклевки: простая пробка, проткнутая куриным пером, только что стояла неподвижно на зеленой воде — и вдруг стеклянно и тоненько тюкнула. Для кого — мелочь, а для него это был знак, что *все правильно*, что Кареглазка согласна лететь с ним до конца и что там ее уже ждут.

Это не помешало Андрею ревниво отметить, что Кареглазка говорит на чужом языке легко, будто воду пьет, такого легкого английского Андрей еще не слышал: скиталец из института Мориса Тереза, кичившийся своим американским произношением, выпячивал нижнюю челюсть и шамкал ртом, как будто ел горячую перловую кашу. Собственно, этот оболтус и не учил ничему, только сквернословил по-английски да пел дифирамбы «штатникам», и Андрей терпел его лишь из уважения к его бедности и бездомью, а языком занимался сам, идя первобытным путем и затверживая по десять слов в день.

То, что мальчик в клетчатом пиджаке завистливо прислушивается разговору, Кареглазке было, несомненно, известно, и она слегка манерничала: выпячивала губы больше, чем следует, и, произнося межзубные, дразнила ярким кончиком языка. Мать нехотя отвечала ей грудным меццо, потом вдруг зашевелилась, повернулась — и Андрей даже испугался, увидев так близко ее желто-пегие глаза. В каждой человеческой физиономии зашифрована морда животного, в этой, коротконосой, щекастой и зобастой, деформированной возрастом, явственно проглядывал недружелюбный мопс. Дама холодно оглядела Андрея, потом перевела взгляд на резидента. Британец, словно этого и дожидался, с непостижимой быстротой совершил несколько телодвижений: свернул в трубочку свой «Крокодил», запихнул его за прижимную сетку, сорвал с носа очки и, резко выгнув спину и подавшись вперед, ослабил в любезной улыбке ровные лошадиные зубы. При этом кожа головы у него дернулась вместе со всеми выросшими на ней волосами. Улыбка агента осталась, однако же, без ответа. Дама лишь скользнула по нему взглядом, и лицо ее исчезло. Минуту спустя исчез и локоток. Смутившись, Андрей покосился на отца. Иван Петрович спал, свесив голову уже набок, в проход, и стюардесса, как раз проходившая мимо, бесцеремонно потеснила его бедром. Андрей снял с отца очки, сунул их ему в нагрудный карман пиджака, потом обнял его за плечи и попробовал усадить подостойнее. В конце концов это ему удалось, потому что отец, как тряпичный, согласен был принять любую позу.

— Это ж надо так спать, — проворчал Андрей, приглаживая ему волосы и поправляя галстук.

— Притомился Иван Петрович? — раздался за его спиной скрипучий голос.

Это было уже чересчур. Покраснев от испуга (и отчасти от негодования), Андрей обернулся. Агент глядел на него в упор, губы его морщились в сатанинской улыбке, змеившейся пороками того мира, где, в отличие от нашего, все покупается и все продается.

— Не бойся, юноша, — сказал беловолосый, — мы с твоим батюшкой будем работать в одном университете. В министерстве нас познакомили, но сегодня он не соизволил меня признать.

И изящным жестом засунув два пальца в жилетный карман, беловолосый достал и протянул мальчику щегольскую визитную карточку с золотым обрезом, на которой золотыми же буквами по-английски (а на обороте по-русски) было написано, что Ростислав Ильич Дицкий является профессором, доктором наук, специалистом в области международного права, членом каких-то там коллегий, корпораций, ассоциаций, Союза

журналистов и прочая, прочая... Пристыженный Андрей смотрел на эту острую, как лезвие, картонку и не знал, что с нею делать.

— Оставь себе на память, — сказал Ростислав Ильич. — И не принимай на веру все, что там написано. Визитная карточка — это еще не документ. Не профессор, а преподаватель, не доктор, а кандидат, я бы мог объявить себя академиком, многие так и делают. Там, куда мы с тобою летим, все заказывают такие карточки, быстро и дешево, а главное — никто не допытывается, верно ли то, что ты хочешь изобразить. Просто повальная мода, и папа твой закажет, и ты, я полагаю, не устоишь. Будь я мальчишкой — не стал бы мелочиться, сделал бы себе визитную карточку императора южных морей или, скажем...

Он пощелкал пальцами, подыскивая подходящий титул.

— Великого Инквизитора Обозримой Вселенной, — подсказал Андрей. Он сделал это из сострадания, чтобы облегчить жизнь беззлобному человеку. Навыка разговаривать с подростками Ростислав Ильич не имел: он не то чтоб фальшивил и лебезил, но — неестественно форсировал оживление. Примерно так же вел себя выступавший в «реальном училище» детский писатель из Москвы, Андрей с трудом досидел до конца мероприятия: сил не было смотреть, как человек мучается.

— Ого! — сказал Ростислав Ильич с одобрением и, прищурясь, поглядел Андрею в лицо. — Вот это заявка. Откуда родом?

— Из города Щербатова, — ответил Андрей и напрягся, уловив в этом невинном вопросе хитрый подход к теме «Как же это у вас получилось?». «Вот-вот, сейчас», — думал он, чувствуя, как все поры его кожи выделяют тревожное вещество, вроде даже с острым запахом муравьиного спирта.

— Из города Щербатова! — многозначительно повторил Ростислав Ильич. Совершаем путешествие в землю Офирскую?

Намек Ростислава Ильича был понятен каждому грамотному щербатовцу: экскурсоводы краеведческого музея квалифицированно разъясняли всем желающим, что название их старинного города не имеет ни малейшего отношения к мракобесу, сенатору и тайному советнику князю Мих. Мих. Щербатову, типичному представителю реакционной аристократии XVIII века, автору трактата «О повреждении нравов России» и «Путешествии швецкого офицера в землю Офирскую», последовательному отрицателю равенства людей как такового. Впрочем, творения бранчливого князя были в музее представлены (титульные листы, во всяком случае), им отведен был специальный стенд. Красовался там и портрет безбородого аристократа в жидких кудельках со спесивым и вместе оскорбленным лицом, на груди его сияла звезда, вызывающая споры щербатовских мальчишек: то ли вышита, то ли приколотая. В доме Тюриных имелась скверно выполненная ксерокопия статьи князя Щербатова под названием «Примерное времяисчислительное положение, во сколько бы лет, при благополучнейших обстоятельствах, могла Россия сама собою, без самовластия Петра Великого, дойти до того состояния, в каковом она ныне есть в рассуждении просвещения и славы». Эта статья считалась крамольной, и говорили о ней вполголоса. Иван Петрович не лишен был вкуса к старинным речениям и в свободное время для души занимался щербатоведением, надеясь в будущем как-нибудь написать книжку о «времяисчислительном положении». В хорошем настроении отец не упускал случая щегольнуть словечками князя Михайлы Михайловича, как будто это был его закадычный друг.

Так что ошибка Ростислава Ильича была для иногороднего вполне простительна, а воодушевление, с которым он поспешил щегольнуть своей эрудицией перед подростком,

очень к нему располагало. Нет, подумал Андрей, это не подсадной провокатор: на подвох такой человек не способен.

Он стал разъяснять Ростиславу Ильичу его заблуждение, говоря путанно и многословно — из деликатности, разумеется, не каждому профессору понравится, когда его поправляют, но тут в разговор вмешалась Людмила Павловна, с материнской гордостью прислушивавшаяся, как ее старшенький на равных разговаривает со взрослым.

— А вы не по-английски случайно беседуете? — вновь высунувшись между спинками кресел, спросила она. — У Андрюши очень хорошо получается, заслушаться можно.

Ростислав Ильич обернулся и ответил в том смысле, что у них еще все впереди.

— А, так вы тоже с нами? — жгуче заинтересовавшись, проговорила Людмила Павловна. — Вы, извините, наверное, дипломат? Из посольства?

Андрей внутренне застонал: о господи, можно ли быть такой глупой? Знающие люди, чтоб им гореть, помимо прочих иллюзий, внушили маме Люде, что за рубежом нужно обязательно завести дружбу с каким-нибудь нашим дипломатом, он и поддержит, и растолкует, и отведет неприятности, через него можно выписать из третьей страны разные товары по низким ценам, поскольку дипломатические выписки пошлиной не облагаются. А дипломаты там, в стране назначения, только и ждут, когда прибудет Людмила Павловна Тюрина, в девичестве Минаева, им без нее так одиноко.

Ростислав Ильич отклонил лестное для себя предположение и сообщил, что университетский преподаватель, не более того.

Людмила Павловна так и вскинулась.

— Ой, да это просто замечательно! — вскрикнула она и замахала ручками. — Мы тоже, мы тоже университетские! Ванюшка, Ваня! Проснись! Надо же, какое невероятное совпадение! Мой муж — математик, и у меня самой гуманитарно-техническое образование!

Говоря так, она протянула руку и энергично потрясла отца за плечо. Однако Иван Петрович не проснулся, лишь промычал что-то невнятное. Вообще спал он тяжело и шало, свои ночные бреды Анастасия унаследовала от него.

— Ну, зачем так жестоко будить! — укоризненно проговорил беловолосый. — Две посадки впереди, из самолета не выпускают, успеем еще наговориться. И никакого совпадения нет, я неделю назад уже знал, что со мной вылетает замена Сивцова.

— Да, да, мы замена, математики мы! Представляете, летим совершенно вслепую, без группы, без старшего, как сироты, инструктажа с нами настоящего никто не проводил... Вы уж станьте, пожалуйста, нашим куратором! Андрюша! Мальчик мой, пересядь на мое место, золотко!

Андрюша заметил, что на лице Ростислава Ильича проступило неудовольствие, и хотел было воспротивиться, но в это время дама с ирисами негромко произнесла что-то похожее на «невыносимо», поднялась и, рывком подхватив сумку, зашагала по проходу так целеустремленно, как будто вознамерилась сойти на ходу. Следом зашевелилась и дочка.

— Сыночек, ты меня слышишь? — поторопила его мать.

Андрей и Кареглазка встали одновременно и оказались лицом к лицу так близко, что он почувствовал, как пахнет кожа ее шеи. Каре-глазка раскованно взглянула Андрею в глаза, и губы ее шевельнулись в усмешке, которую можно было толковать как угодно. Потом она выбралась из кресел и, придерживая локтем свою белую мягкую сумочку на длинном ремне, пошла вслед за матерью по проходу. Такая между ними, должно быть, велась семейная игра: дочку устраивало выгодное сравнение с увядшей мамашей, а та, в свою очередь, полагала,

что это сходство освежает ее самое.

«Переодеваться пошли, — решил Андрей и успокоился. — Надевают же латы в поездах дальнего следования».

Первый раз выезжаете? — спросил Ростислав Ильич, когда Людмила Павловна, дрожа от восторга и нетерпения, опустилась в кресло с ним рядом. — Ясно, первый. Ну, что я могу вам сказать? Будет плохо. То есть очень плохо.

— Климат? — с надеждой спросила Людмила.

Ее терзало подозрение, что в результате всяческих махинаций им, Тюриным, подсунули не ту, не настоящую границу. Суровые слова Ростислава Ильича вроде бы подтверждали это подозрение, но оставалась еще надежда на то, что он имеет в виду всего лишь погоды: к плохим погодам щербатовцы были готовы.

— Да нет, климат там приятственный, — ответил Ростислав Ильич, — я бы сказал — курортный.

— Вот видите! — с ревнивым укором сказала Людмила. — Что же тогда?

— Ну, не стану пугать заранее... — уклончиво проговорил Ростислав Ильич. — Увидите все на месте. Одна подробность: мясо завозят раз в месяц, и очередь надо занимать в три часа утра.

— Этим нас не удивишь, — храбро ответила Людмила. — Мы в Щербатове мясными продуктами не избалованы. Зато, когда озера облавливают, нам рыбка перепадает. Не через магазины, конечно, а так, вы меня понимаете. Вдруг начинают вялить в каждом доме, на каждой улице. Значит, беги по своим каналам. Ну, а там, наверно, просто рыбное изобилие? — Океан есть океан.

Лучше бы она не забегала вперед со своим океаном, но уж очень хотелось получить утвердительный ответ.

— Изобилие — сильно сказано, — с удовольствием проговорил Ростислав Ильич. — За два года вкус рыбы я там успел позабыть.

— А что, разве местные не ловят? — не удержавшись, спросил из-за спинки кресла Андрей. — Табу какое-нибудь?

Ростислав Ильич посмотрел на него через плечо.

— Будет лучше, юноша, — дружелюбно сказал он, — если ты станешь говорить не «табу», а «табу». Нет, никакого табу не имеется. Ловят местные жители, но не продают. Сами потребляют. Я как-то на пляже спросил одного рыбака, не продаст ли он мне свой улов. Так, десяток рыбешек в переднике. «Нафинг», — ответил он мне. Знаете, категорически, с пренебрежением: «Н-на-финг!» И прошел мимо.

Эту сцену Андрей отчетливо увидел: белый пляж, зеленые волны — и свирепый рыбак в мокром переднике с ослепительной улыбкой на темном лице.

— Ну, если за ценой не постоять... — с сомнением промолвила; Людмила.

— Все равно не получится, — ответил Ростислав Ильич. — Продавать им невыгодно. Не знаю, как проще объяснить...

— Да понятно! — вновь не утерпев, высунулся Андрей. — Развивающаяся страна. Инфляция. Долги. Стихийные бедствия.

Ростислав Ильич помолчал, то ли выжидая, что Андрей скажет еще, то ли давая ему время осознать дурость уже сказанного.

— Большой у вас мальчик, — проговорил он со странной интонацией насмешливого почтения. — И как только пустили?

Вот это была уже настоящая поклевка. Красно-белый поплавочек дернулся два раза, распуская несерьезные круги, и вдруг его так круто повело на дно, что Андрей даже не успел покраснеть, он просто сомлел, и лоб его покрылся каплями пота. «Все-таки спросил, гад ползучий, — тоскливо подумал он, отворачиваясь к иллюминатору. — Уж если и этот спросил, то все будут спрашивать, все, все. Не убережешься».

«Горькое разочарование...» Вкус этих слов Андрей почувствовал на языке. А он-то, чудак, надеялся, что его стыд, его тайная хворь останется там, в аэропорту, у выхода на летное поле... Не тут-то было, он везет этот свой невидимый горб с собою, в точности как улитка повсюду таскает на себе свою раковину. Но в раковине хоть убежище, а здесь наоборот, даже слова такого в человеческом языке не придумано... Неужели это навек?

Все стало пасмурным и неудобным вокруг, не на что было смотреть, не о чем думать. Надежд на возвращение Кареглазки больше не оставалось. «Ну и черт с нею, — вяло сказал он себе. — Другую придумаем».

Андрей осоловело поглядел в иллюминатор, там было все белым-бело, и веки его стали слипаться.

Сквозь дремоту он все же прислушивался к голосам взрослых. Чувствовалось, что Ростислав Ильич утомился от расспросов: голос его стал металлическим, интонации — раздражительными и даже агрессивными.

— А я вам говорю: в убыточное дело вы ввязались, и ничего, кроме потерь, оно вам не принесет. В профессиональном плане вы, Иван Петрович, отброшены на годы назад, по возвращении вам придется все начинать, как молодому, а заработать на всю жизнь вам все равно не удастся. Просидите вы свои три-четыре года, жить будете впроголодь, на всем экономя... Сколько вам лет, коллега?

— Сорок пять, — глухо ответил Иван Петрович.

— Вот такие дела, — заключил Ростислав. — В пятьдесят вы останетесь камер-юнкером. Порча жизни, одна только порча. И дети ваши тоже будут испорчены, всю свою дальнейшую жизнь они будут маяться, никакая внутрисоюзная работа, никакие совденьки их уже не порадуют. «Вкушая вкусих...»

— А вы-то как? — после долгой паузы осторожно спросила мама Люда.

— Ну, во-первых, детей у меня, хорошо ли, плохо ли, нет, — голос Ростислава Ильича приобрел мужественный и даже горделивый оттенок, супруга моя Катерина Михайловна не желает, как она выражается, плодить ублюдков...

— Молодая? — со странной полуутвердительно интонацией произнесла мама Люда.

— Да, в значительной степени, — неохотно признал Ростислав Ильич и резко переключился на другой разговор. — А кстати, друзья дорогие, знаете ли вы, чье неудовольствие вызвали? Я имею в виду хорошо одетую даму, сидевшую впереди нас.

— Это которая с дочкой? — без всякой необходимости уточнила мама Люда, и Андрей, прислушиваясь, подался вперед.

— Именно, с дочкой-красавицей, — подтвердил Ростислав Ильич, — с очаровательной Женечкой, на которую ваш юноша глаз положил. Наступила тишина, мама Люда то ли зашуршала чем-то таким, то ли предостерегающе зашипела. Ростислав Ильич обернулся и весело взглянул на Андрея. Мальчик поспешно откинулся к спинке кресла, но было уже поздно... Ему хотелось вцепиться ногтями в свои собственные щеки и содрать с себя подлую румяную кожу: как его мучила, как мешала ему жить эта мерзкая привычка краснеть! Предатель, подлый предатель, подкрался, застал врасплох, плеснул кислотой — и доволен,

смеется, морщит от смеха свой бледный конопатый нос... а он не в состоянии *просто посмотреть ему в глаза*... О, как хотел бы Андрей иметь смуглое, нет — матово-смуглое лицо, неподвижное, как маска, выдающее чувства лишь мертвенной бледностью, которая пугает окружающих, но уж никак! не смешит! Только бы отучиться краснеть, только бы отучиться краснеть Как можно управлять всем ходом событий, если не умеешь управлять своим собственным лицом?

— Так вот, — юмористически понизив голос, продолжал Ростислав Ильич, — это сама Надежда Федоровна, наша советница... в смысле — супруга советника Букреева Виктора Марковича. Бывшая стюардесса.

— Красивая женщина, — сказала мама Люда, подумав.

— Это верно, — согласился Ростислав Ильич. — Красивая, богатая, всеильная и свободная.

— А чем мы ей помешали? — спросила мама Люда.

— Шут ее знает, — отозвался Ростислав Ильич каким-то удаляющимся голосом. — Прошу прощения, я немного подремлю. И вам настоятельно рекомендую...

...Последний час пути был самый тяжкий. Казалось, самолет так и будет гудеть всю жизнь, вытянувшись длинной очкастой кишкой от горизонта до горизонта. В иллюминатор смотреть было невозможно: внизу тянулась ровная, белая, как заснеженная тундра, пелена облаков, а над нею в ярко-синем небе космически пылало жгучее солнце.

— Господи, — тоскливо проговорила Людмила. — И правду сказать, куда летим? Даль несусветная...

— Да, Таймыр будет ближе, — пошутил Иван Петрович. Он шутил редко, и всегда его шутки требовали комментариев.

— При чем тут Таймыр, тюря? — рассердилась Людмила.

— Туда тоже на заработки ездят, — серьезно объяснил он.

Вдруг все иноземные пассажиры оживились, стали радостно кричать, смеяться, полезли к иллюминаторам. Андрей очнулся от унылого оцепенения, взглянул в окошко. Самолет лениво и плавно двигался над мутно-голубой водой, сквозь которую виднелись разноцветные донные плитки. Так это ж не вода, сообразил Андрей, это воздух такой. И не плитки, конечно: огороды просвечивают и поля. Высокие кучевые облака сидели в воздушной мути грузно, как плавучие сугробы. Все яснее проступали серо-голубые и розовые участки земли, они перемежались ржавой зеленью. Целая страна, которой полчаса назад еще не было на свете, возникла из ничего, из полупрозрачного воздуха, словно бы выдумываемая на лету, вся в неясных еще пятнах и контурах: вот дорога бежит, длинная, узкая, красновато-лиловая, а куда бежит, что связывает — ей самой пока неизвестно.

И тут между низко стоящими и как бы подтаивающими облаками проплыл город — высокий, уступчатый, серокаменный и в то же время прозрачный, словно мираж: этакий Щербатов, украшенный флагами, вознесенный в небеса и колышущийся в мутном мареве. Проплыл — и исчез под крылом, а когда самолет накренился — ничего, кроме бледных полей, уже не было видно.

Андрей еще пытался сообразить, привиделось ему это или не привиделось, как вдруг между спинками кресел показалось лицо Ростислава Ильича — розовое, белобровое, улыбающееся.

— Видал? — спросил он Андрея, сам радуясь, как мальчишка. — Столица земли Офирской.

Нет, на него невозможно было долго сердиться.

— Где столица, где? — спохватилась Людмила Павловна, но тут как раз вспыхнуло световое табло, все послушно пристегнулись к сиденьям, и старый авиалайнер, громяхая, как пустой комод, из которого выдергивают ящики, пошел на снижение.

Со страхом и радостью спускались Тюрины по трапу, они жмурились от налитой солнцем небесной синевы и жадно вдыхали горячий, пахнувший больничными бинтами воздух. Горизонт на краю темного щербатого бетона колыбался, вместе с ним зыбились и низкорослые мохноногие пальмы с поседелыми на концах жесткими веерами листьев.

— Ух ты, — сказал Андрей. — Ну и теплынь.

Все поплыло у него в голове... А может быть, это вовсе не он ступает сейчас по горячей земле, это совсем другой парень, а тот, из Щербатова, ради которого все и было затеяно, так и остался в той рубчатой кишке, опоясавшей земной шар. А может быть, та кишка вспыхнула, как цирковой обруч, — и теперь, обожженные и слепые, они бредут по горелой земле. Красно глазам, горячо щекам, а все остальное им только мнится.

Иван Петрович, с рюкзаком за плечами и с хозяйственными сумками в обеих руках, потопал ногами по бетонной чужеземной плите и пробормотал:

— Прилетели, провалиться мне на этом месте!

Отец единственный из всех оставался при чиновном параде, в ужасающе теплом костюме. Андрей избавился наконец от тесного пиджака и был в розовой рубашке с закатанными рукавами. Настасью одели в горошковое зеленое платье с оборочками, и мама убрала подальше свое бордовое пальто, переделалась по-курортному и была сейчас в голубом крепдешиновом платье какого-то опереточного покроя, с легкомысленным подолом и лихим декольте.

За пальмами густо, темно и в то же время молочно синел океан. Оттуда тянуло прохладой, но прохладой не нашенской, а размазанной по поверхности жары, растекшейся, как по краюхе черствого хлеба тонким слоем растекается мед.

Господи, хорошо-то как... — прошептала Людмила и потянулась поцеловать мужа в щеку Он этого не заметил, повернулся неловко, и поцелуй пришелся в рюкзак.

— Все-таки в больницу меня привезли, — обхватив маму Люду за шею и сумрачно глядя на брата поверх маминого плеча, сонным голосом сказала Настя.

Вереница пассажиров тянулась к зданию аэропорта. Здание это, черно-серое, словно слепленное из горячего шлака, тоже как бы излучало невидимый, но ощущаемый на расстоянии жар. У его подножия шевелилась пестрая полоска встречающих.

Мадам Букреева с Кареглазкой стремительно прошли мимо Тюриных, не глядя по сторонам, двигаясь как по облицованному гладким мрамором туннелю. Они были облачены в белые марлевые хламиды, развевавшиеся на ветру, лица их были наполовину закрыты круглыми радужными противосолнечными очками, их сандалии звонко шелкали по одинаковым розовым пяткам. На сей раз Кареглазка даже бровью не повела в сторону мальчика из Щербатова, а ведь это он ее выдумал, дал ей имя и привез с собой в Офир, мог бы поматросить и бросить на полдороге. Ростислав Ильич тоже умчался вперед, привставая на цыпочки и преувеличенно радостно помахивая кому-то рукой.

Далеко же остался старый добрый Щербатов... Андрей любил свой родной город и никому не дал бы его в обиду, но про себя подумывал иногда, что родители могли бы подобрать себе место для обитания и получше, поближе к центру мировых событий. Не сейчас, разумеется, когда они утратили азарт, а в молодости, когда им открывались все на свете пути. Как-то не так они распорядились отпущенными им годами, поленились,

успокоились — и осели в Щербатове. Дядя Сережа, хоть и нанаец, а не усидел в своих Ченцах, и «тетю Монашу» поиски лучшей доли занесли в город Новороссийск. Мама Люда еще иногда тосковала по несостоявшейся жизни, если бы не эта тоска разве решилась бы она разыгрывать выездной вариант? А вот отец — он совсем не тяготился ни бедностью, ни неустроем: обсыпанный перхотью темно-синий пиджак с рукавами и лацканами, вечно седыми от мела, и серые брюки «из другой оперы» его вполне устраивали, и за кафельной плитой на кухне ему было уютно, и Щербатов ему был по плечу. У отца имелась собственная историко-географическая концепция, и он охотно своим гостям ее излагал. Когда в эпоху великого переселения народов человеческие орды шли из Азии на запад, самые несерьезные элементы, верхогляды, авантюристы и искатели легких побед, уходили все дальше вперед, не сиделось им на месте — и все тут. Вон куда умахали лангобарды, к Атлантике, и вестготы, и даже остготы не успокоились, пока не вышли к морским берегам. А наши кривичи не пожелали сделать еще три шага — да так и осели среди своих мелколесных болот. То ли руководство оказалось философски настроенное, то ли порешила так сама народная масса: «Да ну, да куда, да не все ли равно, где жить?» Могли бы и мы купать своих саврасок в Бискайском заливе. Но тогда бы это были не мы.

Внутри аэропорт оказался пустынный и как будто недостроенный, с неоштукатуренной кладкой стен, с голыми бетонными колоннами, сохранившими отпечатки опалубки, с обнаженными перекрытиями крыши. Под потолком, свешиваясь на длинных штангах, медленно крутились десятки огромных вентиляторов, похожих на самолетные пропеллеры, однако толку от них было мало. Воздух был густ и тяжел, как цементный раствор. его нужно было не вдыхать, а захлебывать.

Иван Петрович присел за каменный столик, поправил очки, потом снял их, протер, снова надел, вытер платком лоснящееся от пота лицо.

На столе были рассыпаны пустые бланки, нужно было их заполнять.

— Иди помоги папе, — сказала сыну Людмила, — а я буду караулить багаж.

Сквозь пролом в стене, прикрытый брезентовой попоной, в зал просовывался багажный транспортер, вдоль него, нетерпеливо приплясывая, выстроились женщины и дети — в то время как отцы семейств заполняли бумажки. Мадам советница и Кареглазка, обе с отчужденными и даже вроде бы оскорбленными лицами, стояли в стороне, к багажу и к анкетам они не проявляли интереса, всеми их делами занимался шустрый молодой человек в белой рубашечке с короткими рукавами при широком расписном галстуке. Вряд ли это был сам Букреев, слишком молод для такой взрослой дочки, да и поглядывал он на советницу подобострастно.

Андрей подошел к отцу, сел с ним рядом. От волнения Иван Петрович плохо понимал, что требуют бланки, и вид у этих бумажек был непривычный: черные жирные линии, белые и заштрихованные клеточки, каждую букву следовало писать в печатном виде в отдельной клетке, так во всяком случае делали окружающие.

— Черт его знает, — беспомощно сказал Иван Петрович, — какой-то кроссворд.

Вдвоем с Андреем он испортил несколько бланков, набрали новых. Это было позорно, мальчик украдкой оглядывался, не видит ли кто. Но все были заняты своими делами. Ростислав уже справился с этой работой и, изящно облокотясь о барьер, беседовал с солдатами, караулившими выход в город. Солдаты в оплетенных касках, увешанные оружием, фляжками и подсумками и потому имевшие устрашающий, совершенно мезозойский вид, дружелюбно скалили зубы, и аккуратные таможенники в кремового цвета

мундирчиках прислушивались к разговору и улыбались эклерными улыбками. Андрей с укором посмотрел на отца и отвернулся.

Дальнюю стену огромного зала украшала символическая карта мира. Контуры континентов, весьма приблизительные, сделаны были то ли из гнутых медных труб, то ли из толстой проволоки, прикрепленной кронштейнами к шершавой поверхности. Что-то в этой карте было пугающе *не такое*, смещенное, вызывавшее смутную мысль: «А туда ли мы прилетели?», но разобраться в этом как следует Андрею не удалось: зарокотал транспортер; мама Люда окликнула мальчика, надо было подхватывать чемоданы и оттаскивать их в сторону, иначе под попоной возникал затор.

Шалея от жаркого стука крови в ушах, чувствуя, как по спине и животу под рубахой текут струи пота, Андрей работал, как каторжник, мама Люда тоже надрывалась, таская чемоданы к колонне, возле которой, осоловело опустив голову в белой панамке, сидела на каменной скамеечке горошковая Анастасия.

— Что ж нас не встречает никто? — прохрипела мама Люда, поверну к сыну взмокшее, покрытое красными пятнами, как будто воспаленное лицо.

— Встретят, не волнуйся, — пробормотал Андрей. Обернувшись, он увидел, что отец судорожно листает карманный словарь, это было совсем уж плохо. Вообще способность отца читать лекции на иностранном языке представлялась Андрею не такой у бесспорной. Отец и по-русски говорил странно, путая противоположные по смыслу слова: «Что-то стало светлее, Милочка», — имея в виду что смеркается, или совсем уж несусветное: «Ну, наглотался кипятку?» в смысле «надышался холодного воздуха». Про себя Андрей определял этот дефект как «математический»: нужен ведь особый склад ум чтобы отрицательное число считать такой же реальностью, как и положительное. Этой же странной особенностью отличалась и Анастасия оповещавшая родителей с утра: «Я уже засыпаю!» — вместо «проснулась», с полем Брока у них у обоих явный был непорядок.

Наконец-то из-под попоны выползло все, кроме ящика с холодильником: наверно, он не проходил по габаритам.

— Ванюшка, ты скоро? — крикнула Людмила. — Мы остались одни.

— Та, черт! — Иван Петрович с ожесточением порвал еще один бланк и побежал за новым.

«Вот вам и пятерочка за язык, — угрюмо подумал Андрей. — Сочли достойным».

Мама Люда посмотрела на сына, и в ее глазах он уловил тот же страх: «Куда приехали?»

— Умрем мы здесь, Андрюшенька! — проговорила она жалобно. — Неужели всегда такая духота?

— Солнце в зените, середина дня, — ответил ей Андрей. — Да не трепещи ты, помогут, нечего трепетать!

И тут, словно вызванный заклинанием джинн, перед ними материализовался долговязый молодой парень в черных очках, оправленных в дешевую желтую пластмассу. На нем были мятые вельветовые брюки болотного цвета и клетчатая ковбойка.

— Из группы Звягина? — сурово спросил парень, глядя на них сквозь очки, делавшие его похожим то ли на жука-бомбардира, то ли на лесного разбойника. — Замена Сивцова?

— Да, товарищ, да! — радостно вскричала Людмила. — Заждались!

— Как это заждались? — удивился жук-бомбардир. — Это я вас жду на выходе, думаю — не прилетели, хотел уже уезжать. Эни траблз? Какие-нибудь проблемы? Паспорта позабыли, визы не проставлены?

— Да вот, — заторопилась Людмила, — анкеты не может заполнить, и холодильник куда-то пропал.

— «Морозко»? — деловито поинтересовался разбойник. — Зря привезли. «Морозко» — для Заполярья.

— Нет, почему же, — возразила Людмила. — У нас «Смоленск».

— «Смоленск»! — восхитился парень. — Н-не кисло! Который раз выезжаете?

— Первый, — застенчиво, как гимназистка, призналась Людмила и потупила синие глазки.

И Андрей, с неприязнью глядя на жука-бомбардира, ни с того, ни с сего друг вспомнил о Розанове и начал медленно заливаться краской.

— Тогда давайте знакомиться, — голосом деревенского ухажера сказал он. — Игорь, фамилия Горошук, можно просто Игорь Валентинович. Я не гордый. Значит, так. Холодильник я вам отыщу. А за это абонирую у вас место в морозилочке, все равно вам покамест нечего класть, а у меня печенка по чужим квартирам мотается. Аккорданс? Аккорданс. И анкету сейчас нарисуем, какой разговор. Уот конверсэйшен?

Он оглянулся, помахал рукой, подошел таможенник, и они заговорили по-английски так быстро, что уследить за их речью было невозможно. Андрей понял только то, что чиновник называл с неправильным ударением, получалось «Егор».

— С холодильничком прокол, — сказал, наконец, Игорь. — Не приехал сегодня ваш «Смоленск», просил передать, что днями будет.

— Как же мы?.. — закручинилась Людмила.

— Ничего, недельку перекантуетесь, я семь месяцев, как птеродактиль, без холодильника жил. Что попало в клюв — тут же глотаю и на лету перевариваю. Главное — картоночку не потеряйте, без шереметьевской картоночки здесь ничего не докажете. Внутри-то, небось, болезная? Или что скоропортящееся? Не завоняет на всю Москву?

— Колбаска там, копченая, — призналась Людмила.

— А, копченая — тогда ничего. Капитально подготовились, молодцы. Игорь Горошук обращался к Ивану Петровичу, но отвечала вместо него Людмила. Иван Петрович обескураженный неудачей с анкетами, виновато улыбался и молчал.

— Дальше действуем так, — командовал Игорь. — Стущенка при себе имеется? Баночку... нет, две баночки вот этому Ждону, — он показал на таможенника, — и тащите свои баулы на крыльцо. Ничего вскрывать не надо, это наш друг, — Игорь пожал чиновнику руку, — он знает, что мы контрабанды не возим. Тронулись!

— Спаситель вы наш! — умиленно сказала Людмила.

Широко застекленный автофургон шустро бежал по извилистому шоссе среди пашен, огородов и растрепанных роц. Ветер дул в раздвижные окна, горячий, как из печки, и, соответственно, пах сухой печной глиной. Пашни-огороды, разделенные кривыми межами, для пашен были слишком малы, для огородов — велики. Вдоль дороги стояли не дома, не сараи, даже не шалаши, а совершенно звериного вида жилища, кое-как собранные из обрезков ржавой жести, кусков картона, гнилых досок, дикого камня и сухого тростника. Темнолицые люди, одетые серые отрепья, стояли у обочины и глядели на проносившиеся мимо машины с таким жадным вниманием, как будто кого-то ждали. Они и не подозревали, что мимо них в высоком и узком, как карета, фургончике «Мазда» едет тот, ради кого они возникли из небытия... может быть, для того лишь возникли, чтобы тут же растаять в клубах рыжей пыли у него за спиной.

— Это город, Батя? — вертя головой, спрашивала Анастасия. — Мы здесь будем жить?

— Да сиди ты спокойно, — сам тревожась, отвечал он, — это так, бидонвили.

— Ишь ты, бидонвили, — хмыкнул, не оборачиваясь, сидевший рядом с водителем Игорь Горощук. — Грамотных пиплов стали делать.

За рулем был местный шофер, плутоватый парень по имени Филипп, на руке у него красовались советские часы, куртка на плечах, некогда красная, выгоревшая до белизны, была тоже нашего производства. Но от этого темнокожий Филипп казался еще чужеземнее. Игорь предупредил, что лицо этого парня надо хорошенько запомнить: он будет каждое утро возить Ивана Петровича в университетский кампус.

— Машины все одинаковые по городу бегают, упаси бог перепутать. Один наш заехал в запретную зону — и в двадцать четыре часа.

— А мы на курсах пятерочку получили, — сообщила Людмила и погладила мужа по плечу.

— Ох, мам-ма... — простонал Андрей, передернувшись, как от приступа зубной боли.

И Горощук, словно впервые заметив его присутствие, обернулся и поглядел на него сквозь свои очки жука-бомбардира.

— Что с тобой, любезный? — спросил он. — Живот?

Андрей ничего не ответил. В левом углу рта у Игоря зубы были какие-то синие, как будто он ел чернику... только вряд ли черника водится в этих краях. Сосредоточившись на этой подробности, Андрей сумел удержаться и не покраснеть. С такими весельчаками, как Игорь, нужно ухо держать востро. Внутреннего времени у них достаточно, сами с собой они живут очень дружно, вот от безделья и начинаете перебор вариантов: отчего же это малец покраснел? На что отреагировал?! Ах, на живот? А что, интересно, такое у него с животом? И давай на все лады пробовать, кстати и некстати вставляя «живот, животик, животинка», и лукаво приглядываться... Что самое противное: поняв ход примитивной мысли, и в самом деле начинаешь дергаться и корчиться, реагируя на эти экзерсисы, то-то радость добровольному исследователю он готов скакать и петь, как ребенок...

Впереди на зеленом откосе красными и желтыми цветами был выложен герб республики, неправдоподобно богатый среди лачуг. Машина нырнул в сырой туннель под гербом, выскочила с той стороны насыпи, и Игорь с гордостью иллюзиониста сказал:

— А вот и наш хуторок.

Косая дамба, оставшаяся позади, заслонила нищие пригороды, и перед шербаговцами открылся вид на каменистый полуостров, сплошь уставленный многоэтажными зданиями. Торцы и брандмауэры, ограждения балконов и лоджий были ярко раскрашены, меж домов пролегал прямые проспекты с зелеными разделительными полосами, обсаженные деревьями, которые буйно цвели красными и синими цветами. С трех сторон города глухо и грозно синел океан.

Игорь Горощук снисходительно слушал, как новоприбывшие ахают, хаот, допускают незрелые высказывания и оценки.

— Но вы не обольщайтесь, друзья, — промолвил он, наконец, — все это так-ск, декорэйшен. Ресторан «Бристоль», кафе «Лонг-Айленд» — там кормят одной фасолью. Ноу фиш, ноу мит — ни рыбы, ни мяса. Вообще, господа, если вам сейчас, к примеру, захочется пообедать, то самый короткий путь — на самолет и обратно в Москву.

Въехали в чащу высотных домов. Горощук, надо полагать, не впервые встречал новоприбывших, потому что у него были ухватки матерого экскурсовода.

— Кинотеатр «Метро»: кондиционированный воздух, прохладительные напитки «Амёбный» и «Нежные колики», вестерны, порнушки, бондиана, фильмы ужасов, в дальнейшем — высылка в двадцать четыре часа... Клуб «Маритимо»: катание на яхтах, ночные рыбалки в открытом океане, очаровательные девушки, в дальнейшем — высылка в двадцать четыре часа... Дамский салон «Бонни»: платья-балахоны в местном стиле, принимаются в оплату часы, фотоаппараты, продукты питания, в дальнейшем — высылка в двадцать четыре часа... Как видите, город предлагает вам широкий спектр удовольствий, и расплата за них — неотвратима. Как говорит т-щ Букреев...

Но того, что говорит по этому поводу товарищ Букреев, новоприбывшие так и не узнали, потому что фургончик остановился у подножия красивого белого здания, на стене которого сияли золотые буквы «Отель „Ройял“». Мама Люда, вытянув шею, зашевелила губами, и, чтобы предупредить недоразумение, Андрей быстро спросил:

— Нас сюда поселяют?

— Донт харри, — одернул его Игорь. — Не спеши. Всем сидеть на местах. Детей не выгуливать.

Он вылез из кабины, озабоченно ссутулился и, заложив за спину руки, вошел в глубокий, отделанный светлым мрамором подъезд. Там, внутри, расхаживали важные, как бронзовые жуки, служители в ливреях с фалдами и золотыми галунами.

— Ну, Ванюшка, — прошептала Людмила, — привез ты нас! Даже дух замирает!

Андрей хотел выйти из фургона, но она зашипела на него:

— Не слышал, что сказано?

Игорь появился минут через десять. Беззаботно посвистывая, сунув руки в карманы мятых мальчишечьих штанов (на ногах у него были разношенные, как старые лапти, сандалии), он вразвалочку подошел к машине, постоял, глядя на переднее колесо. Затем сел в кабину и коротко сказал Филиппу:

— Аут ов кэш. Не в кассу. Давай в «Эльдорадо».

— «Эльдорадо», — медленно повторил Андрей. — «Эльдорадо»!

Что поделаешь, — непонятно сказал Горощук. — В «Эльдорадо» тоже люди живут. Я-то, правда, начинал с «Дакоты», но тогда было проще, через три дня квартиру дали, в ней себя и держу...

Но ведь нам рано или поздно тоже дадут? — спросила Людмила.

— Да уж тут уж как уж, — уклончиво ответил Горощук.

— А здесь номеров нет? — робко спросил его Иван Петрович. Это был первый вопрос, который он задал коллеге: все переживал свой конфуз в аэропорту.

— Есть, да не про нашу честь, — весело ответил Игорь. — Это ж отель «четыре звезды», весь забит фирмачами с дикого Запада, на нас тут и смотреть не хотят. Голову надо иметь сюда ехать.

— Откуда ж мы знали? — возмутилась Людмила.

— Да я не про вас, — сказал Игорь. — Есть такие мастера быстрых решений. Квик-трикеры, чтоб им так жить.

Загадочная гостиница «Эльдорадо» понравилась Андрею даже больше, чем солидный «Ройял»: балконы и балкончики, веранды и верандочки уступами, жаль только, что штукатурка на углах повыщербилась и стены оплесневели.

— Хорошо, «Смоленска» с вами нет, — сказал Игорь, вылезая. Тут с этим строго. Сперва выходят багаж посмотреть, а потом уж решают. Номерочки у них тесные, с большим багажом могут и не взять.

— Ох, скорее бы, — вздохнула Людмила. — Нам уже все равно. На этот раз ждали до осатанения долго. Филипп поставил маши в тень, но солнце отсвечивало от асфальта и, попадая в глаза, выедал их, как соляная кислота. Краски вокруг стали блекнуть, сперва до побелели, как будто сделаны были из пиленого сахара, потом стали таять в горячем воздухе, струясь и распускаясь, словно в пустом кипятке, а после и вовсе исчезли, перестали быть видимы, все стало матово-белым, и на этом фоне вспыхивали и гасли угольно-красные и огненно-черные пятна, которые в нормальных условиях человек может увидеть, лишь надавливая на глазные яблоки пальцами.

Наконец Игорь вышел и с сердитым лицом направился к фургону, что-то бурча на ходу. Взгромоздился на высокое сиденье рядом с Филиппом и закончил свою тираду:

— ...на мою голову.

Все молчали. Филипп с вопросительной улыбкой смотрел на него.

— Что глядишь? — сказал ему Горощук и в сердцах хлопнул дверцей. — К Звягину, куда же еще? В пансион «Бриз».

— Звягин будет сердиться, — совершенно по-русски заметил Филипп.

— А пускай сердится, нам-то что? Кто начальник?

— Звягин начальник, — ответил Филипп.

— Вот и дуй, — сказал Горощук. — И без разговоров. И чтоб я еще когда-нибудь взялся...

У подъезда узкого, как пенал, многоэтажного дома с ярко-красным лоджиями Игорь долго стоял лицом к глухой стене и как будто чего-то ждал.

— Что это он там делает? — с нервным смешком спросила Людмил.

— Разговаривает через локутор, — объяснил Андрей.

— Через что? — не поняла Люда.

— Ну, через переговорное устройство. Видишь, руку держит на кнопке.

— И что же, ему даже дверь не хотят открывать? — повисив гол так, чтобы Игорь слышал, спросила мама Люда.

— Откуда я знаю? — ответил Андрей.

— Ну, уж теперь и мы пойдем, — решительно сказала Людмила. — Поглядим в глаза этому Звягину: что ж он так плохо принимает людей? И Настя давно не сикала.

— А кто с вещами? — спросил Иван Петрович.

Людмила покосилась на Филиппа.

— Андрюша посидит.

— Еще чего! — возмутился Андрей. — Я тоже живой человек. Совсем стушить меня хотите?

— Ну, ступайте втроем, — предложил отец, — а я останусь.

— А ты и рад! — вскинулась мама Люда. Видимо, она совсем изнемогла от жары и сдерживаться была уже не в силах. — Лишь бы ни с кем не поссориться! Кто из нас командированный? На чье имя аттестат? Кого обязаны жильем обеспечить? Привык за женину юбку прятаться! Иди, иди, тюря, я уж посижу.

Иван Петрович посмотрел на жену и, не сказав ни слова, стал выбираться из машины. Следом за ним вылез и Андрей, не без опаски ступил на тротуар, неровно вымощенный квадратными бетонными плитами. Ноги были как будто чужие, глаза и губы щипало от пота, голова кружилась, что-то жужжало в ней и мерцало, как в детском волчке.

Взяв Настасью за руки, мужчины подошли к Игорю, тот все еще нажимал ладонью на кнопку.

— Ну, вот они тут скопились, в затылок мне дышат, — сказал он, приблизив губы к решеточке микрофона, едва видневшегося в стене. — Как хотите, Григорий Николаевич, айм аут, нет больше сил.

— Ладно, пусть поднимаются, — прохрипел из стены русский голос, и хромированный запор на стеклянной двери, щелкнув, разомкнулся.

В подъезде пахло кошками и мандаринами. Громадный цельнометаллический лифт с бегущими под потолком разноцветными огоньками помчал их наверх.

— Ну и машина, — сказал Иван Петрович. — Наверно, здесь во всех домах такие?

— Как же, как же, — с ухмылкой ответил Горошук. — Единственный приличный лифт во всем городе. Я уже полгода на тринадцатый этаж пешком хожу. А когда воду вырубают — вообще полный кайф. С ведрами на колонку сбегашь — и в гору до коморы.

Лифт остановился так резко, что перехватило дух. Двойные двери, чавкнув, расплзлись, на этаже зажегся свет. Было здесь всего две двери: тяжелая, темная, с бронзовой вертушкой звонка и поодаль другая, беленая, видимо, для прислуги.

— Наш барон тут весь этаж занимает, — понизив голос, сказал Горошук. — Уплотняйте его.

Иван Петрович вопросительно посмотрел на Игоря, но так и осталось неясным, шутит он или говорит серьезно.

Темная парадная дверь запахнулась, на пороге в обтрепанных джинсах, резиновых пляжных шлепанцах и пестрой рубахе нараспашку стоял хозяин.

Ну, детей-то можно было и внизу оставить, — недовольно проговорил он. — Прямо как погорельцы тамбовские.

Пропустил всех внутрь, заложил дверь на стальную щеколду.

— Приветствую вас, — буркнул он без особой любезности и протянул Ивану Петровичу руку.

— Гриша, пусть разуются! — прозвучал откуда-то издалека женский голос.

— Правильно, снимайте бахилы, — сказал Звягин, — ни к чему на бациллы.

Конфузясь, Андрей присел на корточки, снял с сестренки сандали и стал разуваться сам. Носки у него были целые, однако ноги в тяжелых отечественных полуботинках успели-

таки пропотеть.

Прихожая была громадная, двусветная, за одним широким во всю стену окном, наполовину задернутым тяжелой шторой, празднично синел океан, за другим открывалась панорама пестро, по-театральному раскрашенному многоэтажья. Мягкая обитая черной кожей мебель, низенькие серванты под черное дерево, полупустой стеллаж с несколькими книгами и деревянными резными фигурками... главной роскошью здесь был прохладный сквознячок.

— Располагайтесь, — пригласил Звягин.

У него было широкое лицо с ровными бровями, курносый нос, червячно красные губы.

— Садитесь же, — с некоторым раздражением повторил он, видя, щербатовцы переминаются и смотрят по сторонам.

— Извините, — пробормотал Иван Петрович, наклонив к плечу голову и кромки ушей у него покраснели. — Извините, где тут у вас можно сходить по-маленькому?

Любой взрослый мужчина в подобной ситуации постарался бы обратить дело в забавную шутку, но Иван Петрович этого не умел и Андрей был убежден, что так и должно быть, что это — солидно и что балагурят и развлекают окружающих только никчемные люди.

— Пускай идут в черный туалет! — вновь прокричала невидимая женщина, и Андрей вздрогнул и обернулся: впечатление было такое, что женщина пряталась где-то за дверью.

— Ну, давайте, раз приспичило, — с напускным добродушием произнес Звягин. — Вот в ту дверь, по коридору до конца и направо.

И, взглянув на Андрея, прибавил:

— И чего таких больших за границу возить? Только портить.

Андрей взял Настю за руку и повел через просторный холл. При этом он как бы видел себя со спины: нескладный, ушастый, в промокшей от пота розовой рубашке с нелепо закатанными рукавами (один задрался выше локтя, другой разболтался до самой манжеты)... счастливы люди, которые никогда не видят себя чужими глазами, они, должно быть, и в зеркало на себя смотрят как-то не так.

Стены умывальной и примыкающей к ней небольшой ванной были отделаны синим кафелем невероятной красоты, раковины и прочие рабочие емкости были вроде как бы из голубого мрамора.

— Батя, — шепотом сказала Настя, — а скоро мы домой вернемся в Щербатов?

Здрате, — отозвался Андрей, — мы же только что приехали. Разве тебе не нравится?

Нравится, — проговорила Настасья, озабоченно пристраиваясь сикать: брата она еще не стеснялась. — Только нам здесь никто не рад.

— Ну, конечно, — сказал Андрей, про себя удивившись мудрости замечания, — все скакать должны от восторга: мокрохвостая Настя сюда приехала. Радуйся сама, если умеешь.

— Я радуюсь, — отвечала Настя, облегченно журча.

Когда они вернулись в холл, хозяин по-начальственному и в то же время добродушно отчитывал отца:

— Не надо качать права, уважаемый, не надо качать права. Кто с этого начинает — тот не досиживает до конца контрактного срока. А у нас с тобой задача какая? Уехать в нужный день и час, ни минутой раньше и ни минутой позже. Как говорит советник, хорошо приехать — это еще полдела. Хорошо уехать — вот наша цель.

— Я только хотел... — привстав, проговорил отец, он был похож сейчас на

оправдывающегося школьника, который что ни скажет — все едино соврет.

— Подожди! — Звягин выставил вперед ладонь. — Подожди, не перебивай, я еще не все сказал. Ты выразил неудовольствие, что тебя не так встретили, это — сигнал, и я не могу оставить его без ответа. Так вот, Иван... Иван Петрович: высоких слов я говорить не люблю, устали мы от высоких слов, да и возраст у нас не тот, чтобы красно баять себе на потеху. И скажу я тебе напрямик: твоя зарплата здесь будет хорошая, за один месяц ты отложишь в своем горбу столько, сколько в Союзе не сэкономишь за целый год. При таком окладе, прости меня, дурмана ядовитого можно и потерпеть. Ну, а временно, пока не прояснится с гостиницей, я тебя, не сомневайся, пристрою. Вопрос только — куда.

— Гриша, к Аникановым их, в «Диди»! — выкрикнула невидимая женщина. Самое место.

Звягин покосился на стену, задумчиво потрогал себя под мышками, понюхал пальцы и вздохнул.

— А чего? — поддакнул Игорь. — Правильно Галина Сергеевна указывает. Уплотнить Аникашу — и дело с концом.

— Ишь ты, с концом, — передразнил его Звягин. — Что за народ! Пока он был старшим — ты песни ему на гитаре играл. А знаешь ли ты, что говорил поэт? «Кумир поверженный — все бог». Гуманитарного начала в тебе не хватает, хоть ты и поэт.

И, удовлетворившись сказанным, Григорий Николаевич пододвинул к себе старомодный телефонный аппарат с большой трубкой, как будто смонтированной из патефонных деталей.

— Алло! — Звягин произносил не «алё», а «аллоу», это получалось у него внушительно. — Алло! Матвеев? Владимир Андреич! У меня к тебе небольшой сюрприз. А ты еще приятных сюрпризов ждешь? В твои-то годы? Ну-ну. Шутки в сторону, слушай и принимай как руководство действию. Сегодняшним самолетом прибыла семья Тюриных, четверо человек. Замена Сивцова, совершенно верно. Двое детей? С чего ты взял, что двое детей? Один прилетел с тремя женами. А чего тогда задаешь лишние вопросы? Представь себе, из города Щербатова...

Сидя в глубоком кресле и держа на коленях сестренку, Андрей замер: вот, вот, сейчас... сейчас будет сказано... Поплавок косо ушел в мутно-зеленую глубину, и, как это бывает во сне после долгой рыбалки когда только закроешь глаза — начинается клев, сам Андрей тоже ушел вместе с ним под воду с широко раскрытыми глазами, все померкло и похолодело вокруг... Вот, вот, сейчас!

Подсечка оказалась резкой и такой болезненной, что у Андрея дернулась верхняя губа... Мельком взглянув на Ивана Петровича, Звягинцев усмехнулся и сказал:

— А черт их... Сумел как-то. И парня взрослого с собой протащил что тебе дипломаты. Тех ленинградцев, понятно, в кювет. Ну, ясно. Да ясно же. Речь не об этом.

Под затылком у Андрея гулко бабахнуло — так, что зазвенело в ушах, и после короткой паузы вспыхнули, каждая по отдельности, огненные грозди фейерверка: в глазах, в губах, в носу, и горячий красный свет стал медленно, бахромою опускаться на плечи, оплывать к самому сердцу... Как хорошо, что Настасья сидела у него на коленях! Андрей уткнулся в ее жиденькие волосики своим разругавшимся лицом но уши ведь не спрячешь! Уши полыхали, развесистые и сочные, как пионы. Да, теперь все понятно. Именно поэтому их так странно встречают, именно поэтому Звягин разговаривает с отцом так пренебрежительно и недружелюбно: явились блатнички, сбросили в кювет тех ленинградцев и качают права.

Но самое скверное было то, что Горошук, приспустив очки, очень заинтересованно глядел на его уши. Глаза у Горошука были воловьи с крупными, как вареные яйца, белками, правый косо придавлен набрякшим веком... Ну, теперь все. Этот своего не упустит. Будет глумиться, будет разоблачать. Ростислав по сравнению с этим — ангел небесный... Как теперь жить? Как теперь жить?

— В гостиницу пристроить их покамест не удалось, — продолжал между тем говорить в телефонную трубку Звягин. — Ты понял, к чему я клоню? Что значит «через труп»? Ты теперь у нас холостяк. Прими людей, выдели комнату с мебелью и санузлом, у тебя в квартире роту солдат можно поселить. Подай пример всем прочим: ты же моя правая рука. Ах, все-таки через труп... Ну что ж, мы можем и через труп. Ты на пятый год продлеваться раздумал? Вот так. Да, вот так. Мне приемы все дозволены... Что? Разборчивей говори. Ну вот, так бы и сразу. Потерпишь две-три недели... Пусть месяц, черт побери! Не надо печалиться, вся жизнь впереди. Все. Бай-бай. Готовься к встрече.

Звягин положил трубку и весело посмотрел на Ивана Петровича.

— Ну вот, а ты говоришь — плохо встречают, плохо встречают... — Иван Петрович умоляюще прижал руку к сердцу. — Ладно, я пошутил. Будешь жить покамест в пансионе «Саншайн» у Матвеева Владимира Андреевича, это мой заместитель, надежный парень, оступиться не даст. Значит, какая на сегодня программа твоих действий? Там с тобой побеседует советник Букреев Виктор Маркович. Спешу предупредить: не вздумай с ним, как со мной ты затеял, с порога пререкаться, претензии свои излагать. Плохое будет начало.

— В офис — значит в посольство? — спросил Иван Петрович.

Звягин нахмурился, покусал и без того красные губы.

— В офис — это значит в офис, — сказал он наконец. — Посольство за рекой в другой части города, там тебе делать нечего, разве что клязузу на меня отнести. Нами занимается не посол, а советник, вот с его аппаратом ты и будешь иметь дело. Сдашь свои документы, получишь подъемные, посетишь доктора Славу, а вечером ждут твою семью на товарищеский ужин супруги Аникановы, тебе пока незнакомые. Проживают они в пансионе «Диди», в двух шагах от медпункта. Вопросы есть?

Вопросов быть не должно.

И Звягин поднялся, давая понять, что аудиенция окончена.

...Матвеев ждал их на пороге. Это был человек средних лет, лысовато-кучерявый, босой и голый по пояс. На нем были шорты, а точнее обрезанные выше колен брюки с бахромой по краям, и это делало его похожим на безбородого робинзона. Он взглянул на груды чемоданов в кабине лифта, усмехнулся, покачал головой.

— Ну-ну, — проговорил он, отошел в глубь прихожей и встал поодаль, скрестив жилистые руки на груди.

У него было лицо язвительного экзаменатора, такие, должно быть, являются студентам в их вещих снах: блекло-серые глаза под безбровым выпуклым, как колено, лбом, приплюснутый нос и маленький голубоватый ротик.

— Несите сразу туда, — бросил он, мотнув головой, — по коридору, дверь в самом конце, нечего мне холл поганить.

Холл меблирован был так же, как и у Звягина, только обивка дивана и кресел была не кожаная, а матерчатая, горчичного цвета.

Выделенная комната сказалась довольно просторная, с двумя полутораспальными кроватями, застеленными покрывалами того же горчичного цвета. Окна были затянуты

зеленой металлической сеткой, сквозь которую едва сочилась предвечерняя прохлада.

Когда разгрузка закончилась, Матвеев закрыл за Горощуком дверь и набросил мощный гаражный крюк.

— Зачем консервы Филиппу дали? — брюзгливо сказал он. — Нечего баловать. Никого вы этим не убедите.

Тут он заметил, что Настасья забралась в горчичное кресло с ногами, и потемнел лицом. Видя, что на нее смотрят, Настя состроила умильную мордочку, которая, насколько ей было известно, не оставляла равнодушным никого из взрослых людей. Однако с Матвеевым этот номер не прошел.

Людмила поспешно вытащила дочку из кресла, подшепнула ее — правда, чисто символически, но Матвеев остался удовлетворен.

— Значит, так. Посуда у вас своя есть? Очень хорошо. Из серванта не берите, это казенная. Хотя ладно, я ее спрячу. Газовая плита не работает, бойлер тоже. Потому что газ стоит денег. Душ принимать придется холодный, это полезно. Электрическая плитка имеется? Ставьте там у себя, нечего нам тереться друг о друга на кухне. Воду дают с семи до двенадцати утра и с семи до двенадцати вечера. Надо делать запасы в маленькой ванной. Окна не открывать, сетку не повреждать, напользут тараканы, а ночью налетят комары. Эту кнопку не вздумайте нажать вызов домовой услуги, прибегут — не отвяжетесь. Вот вам ключ от входной двери, прошу не утратить. Вашу дверь запирайте нет необходимости — я у вас ничего не возьму. И рекомендую: добивайтесь, настаивайте, ускоряйте переезд в гостиницу. Это в наших общих интересах. Вопросы есть?

— Скажите, — невпопад заговорил отец, — а как пройти к Аникановым?

Матвеев поморщился: видно, с Аникановыми у него были связаны неприятные воспоминания.

— От офиса направо, через три квартала десятиэтажный до сухо и четко объяснил он. — Называется «Пансион „Диди“». Это все?

— Сразу видно преподавателя географии! — льстиво сказала Людмила, но Матвееву ее комплимент не понравился.

— Экономической географии, — поправил он. — Экономической.

— Тут мы с вами хотим посоветоваться, — не почуяв его неудовольствия, бодро продолжала Людмила, — и как раз по экономическому вопросу...

— Я советов не даю, — оборвал ее Матвеев. — Я даю указания, которые для вас обязательны. Вот вы свет зажгли в коридоре — ладно, но если за время вашего пребывания на моей территории перегорит хоть одна лампочка — доставайте, где хотите, можете вывинтить в кабинете у советника: лампочку здесь не купишь ни за какие деньги.

— Мы привезли десяток, — сказала Людмила, — на шестьдесят и на сорок. Можем с вами поделиться.

— Пару шгук, — подумав, ответил Матвеев. — Но больше никому не давайте. Ну, так какой совет вы хотите от меня получить?

— Холодильник у нас, «Смоленск», — быстро заговорила Людмила, затерялся в дороге. Сказали, через неделю прибудет. Как до аэропорта добраться, где транспорт взять, не подскажете?

Людмиле вовсе не нужен был сейчас этот совет, она хотела подластиться, отметить свою зависимость — но вновь просчиталась.

— Холодильник? — высоким голосом переспросил Матвеев, и нос его еще больше

приплюснулся, губы затряслись от гнева. — Где же вы его оставить собираетесь, в номере гостиницы?

— Отдадим на хранение кому-нибудь, — схитрила Людмила, — на временное пользование, до получения квартиры, да хоть вам...

— У меня имеется казенный холодильник, — решительно отверг ее предложение Матвеев, — другого мне не надо. А совет мой будет таким: бросьте вы это дело, запишите в графу чистых убытков.

— Почему? — Лицо Людмилы вытянулось.

— Да потому, — с нажимом сказал Матвеев, и голос его зазвенел, потому, что вам придется заплатить такую пошину, что никаких подъемных не хватит. В размере стоимости десяти холодильников. Вот так. Еще вопросы есть?

Андрей многозначительно посмотрел на мать: «Получила? Сорока».

Матвеев показался ему солидным, достойным мужиком, такие выступают только по делу, подначивать и глумиться им некогда. В общем, устраивайтесь на временных началах, — сказал Матвеев.

— Я ложусь отдыхать и прошу тишины. Но опять-таки напоминаю: добивайтесь, настаивайте, ускоряйте переезд. Это ваше право, а обязанность местной стороны — вас устроить. Я как заместитель старшего группы обещаю всемерную поддержку, но добиваться должны именно вы.

Тюрины молчали.

— И еще одно. У Аникановых в гостях вы, конечно, напьетесь. Прошу дать мне возможность закончить мою мысль. Так вот, пожалуйста, без звонких песен по возвращении, без плясок в коридоре, иначе я буду вынужден написать докладную.

— А как добиваться гостиницы? — спросил Иван Петрович.

— Язык учили? — вопросом на вопрос ответил Матвеев. — Вот на языке и добивайтесь.

Офис помещался в веселеньком трехэтажном особнячке, окруженном пышно цветущим садом. У ограды в тени акаций стояли рядом сверкающие иностранные автомашины, среди них наша «Волга» вишневого цвета выглядела какой-то заспанной. Если бы не эта «Волга» и не бронзовая табличка с гербом на воротах, можно было бы пройти мимо: таких особнячков с черепичными крышами в боковых переулках было множество.

— Екипажи возблистали златом, — дребезжащим старческим голосом проговорил Иван Петрович. — Токмо руссаго дела карета в презрении стоит меж французских с точеными стеклами.

Князя Щербатова Иван Петрович цитировал вслух лишь тогда, когда пребывал в приподнятом настроении. И, слыша этот особенный, *княжий* голос, дети радовались за отца, ибо благодушествовал он не часто. В данном случае его, похоже, умилил пряничный вид офиса: в таком уютном, ласковом домике могли твориться только добрые дела.

Вдоль ограды неторопливо прохаживались двое темнокожих солдат в лихо примятых кепках с автоматами за спиной. Рядом с гербовой табличкой в бетонную стойку ворот было тоже вмонтировано переговорное устройство. Поколебавшись, Иван Петрович нажал черную кнопку. В репродукторе громко хрустнуло и послышался женский голос, холодный и как будто пахнувший одеколоном, как у продавщицы галантерейного магазина.

— К кому таким табором?

Должно быть, из окна, едва видневшегося среди водопада цветов, за ними давно наблюдали.

— Свои, — ответил Иван Петрович. — Из группы Звягина.

— К кому идете? — повторило вопрос устройство. — Русского языка не понимаете?

— К этому, как его, к товарищу Букрееву, — сказал Иван Петрович, несколько смешавшись.

— «Как его», — передразнило устройство, — Виктор Маркович вам всем назначил?

— Мы прямо от Звягина. Прилетевшие мы, новоприбывшие. После паузы калитка, неохотно лязгнув, открылась.

Тюрины с трепетом ступили на посыпанную красными камешками дорожку с желтой окантовкой, более похожую на торжественный ковер. Даже границы между красным и желтым были обозначены полосками темно-серого гравия. По обе стороны дорожки были разбиты круглые клумбы оранжевых цветов, часто утыканные жесткими остроконечными вроде бы проржавелыми листьями и оттого похожие на средневековые оружейные склады. Справа от входа стоял решетчатый павильон, на фронте которого красивой славянской вязью было написано: «Письма, газеты, журналы». В глубине участка покрытый толстой шубой зелени высился белый особняк, он со всех сторон был обсажен высокими кустами, которые пышно цвели марганцево-красными и лиловыми колокольчиками. Эти крупные цветы при всей своей яркости плохо сочетались друг с другом, были какие-то раздражающе ненастоящие, похожие на бумажные, которые носят у нас на майские праздники, и окраска их казалась химической, анилиновой. Слева от особняка под желтым пластиковым на весом стояло несколько «рафиков», «газиков» и большой львовский автобус. Справа же, за флигелем, открывалась бетонированная площадка, уставленная рядами садовых скамеек.

Дежурная по офису, молодая женщина с высокой манерной прической и длинным

лицом, вышла на крыльцо. Тут она увидела Настю и всплеснула руками.

— Господи, такую кроху притащили! Она же еле ноги волочит.

— Не с кем оставить, — привычно жалобным голосом сказала мила.

— Сама контрактная, что ли?

Смысл вопроса, прозвучавшего очень пытливо, был Андрею неясен, но мама Люда отреагировала так, как будто всю жизнь на эту тему; и разговаривала.

— Нет, только муж, — ответила она.

Смирный тон ее, видимо, смягчил сердце дежурной.

— Ну, так вот, мам-ма-ша, здесь офис, здесь резиденция советника, а не площадка молодняка. Я вас впустила — и мне же будет втык. Прогуливать детей будете в городе.

— Извините, мы не знали, — сказал Иван Петрович. От его приподнятого настроения не осталось и следа.

— Да ладно, не знали они. Проходите на киноплощадку, не мельтешите перед окнами. И не шуметь! Надежда Федоровна отдыхает с дороги.

«Ага, — подумал Андрей. — Наверно, советник живет на верхних этажах. Значит, там сейчас и Кареглазка».

И от мысли, что Женечка Букреева глядит на него сейчас из окна, ему стало прохладнее, по спине пробежали мурашки.

Тюрины обогнули угол дома и сели на скамеечку под навесом.

— Неприветливые все какие-то, — проговорила мама Люда.

Это офис, — укоризненно сказал ей Андрей. — Знаешь, что такое офис? Официальное учреждение, а мы путаемся под ногами.

— Ну хорошо, тут советник. А этот, хозяин наш? — Мама Люда сердито мотнула головой, имея в виду Матвеева.

— Хозяин плохого тебе ничего не сделал, — ответил Андрей. — Выделил комнату, дал указания.

Мама Люда промолчала, терпеливо вздохнув.

Андрей огляделся. Киноплощадка под открытым небом, как в Летнем саду, рассчитана была человек на пятьсот, скамейки выкрашены в приятный сиреневый цвет, а экран, широкий и слегка вогнутый, вмурован в бетонный забор. С обеих сторон площадка ограждена была добротными фотостендами: «Будни нашей Родины», «Страна пребывания хорошеет и строится», «Визит высоких гостей», «Лучшие среди нас». За стендами здесь заботливо следили, фотографии были свеженькие, качественные, не выцветшие на солнце. Он обернулся: к стене флигеля, чуть ниже глазка кинобудки, приделана была табличка «Места для работников аппарата». Эта надпись, несомненно, относилась к трем рядам скамеек, которые уместились под пластиковым навесом.

— Ну, дорогие родители! — возмущенно сказал Андрей и вскочил. — За вами глаз да глаз! Где вы сели? Посмотреть, что ли, трудно?

Семейство перебралось на солнышко. Впрочем, дело шло к вечеру, и становилось свежее, воздух перестал струиться от жары, тени под кустами стали красными.

— Мама, я пить хочу, — сказала Настя.

— Потерпи. Нас сейчас вызовут.

— Ну, мамочка, ну сил больше нету!

— О, господи, нетерпайка!

Мать взяла дочку за руку и повела ее к дальним стендам. Там за кустами видны были

какие-то подсобные помещения, оттуда доносились голоса наших женщин.

— Сырую воду не пейте! — крикнул им вдогонку Иван Петрович. Манеру говорить вслед он усвоил от мамы Люды. Вообще, если присмотреться, он с годами все больше походил на старую долговязую женщину, а мама Люда — на мелкорослого мужичка.

И в это время из динамика под навесом, как на вокзале, послышался протяжный голос дежурной:

— Тюрины Иван Петрович и Людмила Павловна, вас вызывает товарищ Букреев.

— Ох, Настасья! — пробормотал Андрей. — Вечно она, животина проклятая!

— Ну что ж, — странным, меняющимся, как бы плывущим голосом сказал отец, — как говорил мой друг Михаила Михайлович, пойдём в крестовую, сиречь в аудиенц-камеру.

Он поднялся, застегнул пуговицы пиджака, подтянул галстук.

Видно было, что отец наливается волнением, полно, выпукло, до самых краев. Руки его затряслись, глаза заслезились, лицо подернулось серой рябью.

Пойдем ты со мной, — глухим голосом сказал он Андрею.

— Нет, папа, нельзя, — ответил Андрей, глядя на него с состраданием. — Меня не вызывали. Иди уж один.

Иван Петрович потоптался на месте, пощупал карман с документам повернулся и, нетвердо шагая, пошел...

Когда отец завернул за угол, Андрей направился к решетчатому павильону «Письма, газеты и журналы». Идя по хрустящей дорожке среди ошетилившихся клумб, он все время чувствовал на своей спине точно на хребтине, костлявый взгляд дежурной из широкого зеркального окна.

В павильоне было сумрачно и прохладно. Сквозь решетчатые стены дул сквознячок, задняя же стенка была, как в улье, от пола до потолка разделена на ячейки. Правда, Андрей ни разу не заглядывал в улей но предполагал, что внутри улей должен выглядеть именно так. Над каждой ячейкой была наклеена бумажка с фамилией. Андрей отыскал ячей Сивцова, пошарил рукой — в ней было, естественно, пусто.

«Надо будет фамилию заклеить, — деловито подумал он. — Какой еще Сивцов? Нет больше никакого Сивцова».

Как и Настасье с мамой Людой, ему тоже казалось, что их встреча не так. Но, в отличие от женщин, он знал, чем это вызвано, и старался все увязать в систему. Звягин? Да, Звягин строг, но справедлив. Одерну, чтобы не заносились с первого дня, но ведь пристроил же, причем не к кому попало, а к своему начальнику штаба. А то явились блатники, сразу жилплощадь им подавай. Матвеев тоже строг и тоже справедлив. Местная сторона доверила ему жильё — и он старается содержать его в порядке. Может быть, Звягин и рассчитывает на его пристальное наблюдение, чтобы глаз не спускал с новоприбывших и неопытных людей. Да, суров, неприветлив, но ведь за рубежом расслабляться нельзя.

— Ну, что такое, на самом деле! — с досадой произнес женским голосом динамик, висящий в углу. — Ходят и ходят, как дикие!

В павильон, волоча за руку Настю, вбежала мама Люда.

— Господи, прямо запретная зона! — зашептала она. — Мы уж и так чуть ли не ползком... Папа там?

Она показала глазами вверх, куда-то на крышу особняка, где серебрился цилиндрический бак.

— Там, — ответил Андрей. — Ну, попили?

— Ай, — махнула рукой мама Люда, — попили водички простой, много ли нам нужно? Она присела возле журнального столика, взяла на колени Настасью.

— Андрюшенька, какие ж там склады! — со светлой печалью в голосе проговорила она. — Какие ж там склады, чего только нет! Икра, ветчина баночная, печень трески, колбасный фарш, напитки различные...

— Ну вот, — с упреком сказал Андрей, — а ты с собой волокла.

— Да это ж все не для нас! — смеясь и всхлипывая, возразила мама Люда. — Представительские склады, для аппарата. И тащат оттуда ящиками, и тащат... При мне переводчики два раза приходили.

— И нечего было там топтаться, — сказал Андрей. — Представительские значит, для представителей, а мы специалисты.

Но мама Люда его не слушала.

— Тащат коробки в обхватку и морды в сторону воротят, — говорила она. — И замечать не хотят.

Она приумолкла и вдруг оживилась.

— А работает там кто? Жены специалистов. Ящики ворочают, бумажки заполняют... Одна врач по образованию, другая даже кандидат. А что? Я бы тоже могла.

— Мало тебе? — спросил Андрей. — Все мало?! Не наворочалась? Никак остановиться не можешь? Во, ненасытная, правильно говорит тетя Клава.

На этот раз мама Люда рассердилась.

— Ты про тетю Клаву молчи! — громко сказала она. — Понял? Я тебе про нее такое могу рассказать...

— Не надо.

— Вот и я говорю: не надо. А на склад я еще устроюсь, погодите. Все они у меня вот здесь будут...

И мама Люда крепко сжала, поднявши кверху, свои маленький кулачок.

Отца ждали долго: небо густо покраснело, в павильоне стало темно и совсем прохладно. Наконец отец вышел на крыльцо, взглянул по сторонам, посмотрел за угол, на киноплощадку и решительно направился к павильону.

— Вот вы где прячетесь! — сказал он входя.

Лицо у него было хоть и измученное, но приветливое, как у человека, которому удалили больной зуб. И, глядя на отца, Андрей тоже почувствовал облегчение и благодарность — неизвестно к кому и за что. Скорее всего к советнику — за то, что он не обидел отца.

— Где ж ты был так долго? — жалобно спросила мама Люда.

— Что значит «где»? — удивился отец. — У советника, потом в бухгалтерии...

Отец молча вытащил из-за пазухи пухлую пачку денег и, улыбаясь, протянул маме Люде.

— Во! Чертова уйма! Полторы тысячи!

— Чего? Рублей? — Мама Люда ахнула и даже отступила на шаг.

— Ох, мама, — сказал Андрей. — Мозги зачерствели?

— Понимаю, все понимаю, — поспешно проговорила мама Люда. — А куда теперь?

— К доктору Славе, — ответил Иван Петрович. — Доктор Слава через полчаса закрывается. Ну, и выйти надо поскорее из этой конторы. А то начнете деньгами интересоваться: «Дай посмотреть» да «Дай посмотреть». И будет некрасиво.

— Дай посмотреть! — машинально сказал Андрей, и родители рассмеялись.

Они вышли из павильона и под прицелом дежурной гуськом направились к калитке. Кнопку нажимать не пришлось: щеколда перед ними сама брякнула, и они, не оглядываясь, вышли в темный переулок.

Отец шагал быстро, большими шагами, он нес Настасью на руках, мама Люда еле за ним попевала.

— Ну, Ванюшка, рассказывай! — задыхаясь, проговорила она. Как тебе советник, что он за человек? О чем говорили? И, не дожидаясь ответа, ревниво прибавила:

— Или, может быть, это служебная тайна?

Андрей отметил, что у мамы Люды проклеывается пунктик: ну как же она, как лягушка-путешественница, сама все придумала, а высочайшие милости достаются отцу, жена-иждивенка как будто бы тут ни при чем.

— Сие великая тайна есть, — княжим голосом ответил отец. — Господин советник, именующийся здесь яги-яг, протянул ко мне длань с пук зелени и зачал беседовать на санскритском языке.

— В печенку ты мне влез, — сердито сказала Людмила, — со свои Михайлой Михайловичем. Вот вернемся — все в печке сожгу. Надоело! Дельное он что-нибудь сказал? Что ты так со мной, как будто я тебе место пустое? И куда ты так несешься, как чумовой?

— Опоздаем, Милочка, времени нету. Ты уж извини меня, пробежкой придется бежать. О работе, об университете он ни слова не сказал: «Это все со Звягиным: с Григорием Николаевичем». Ну и правильно, наверное: вмешиваться в наши академические дела не хочет. А в остальном — очень был любезен, предупредителен. Про Андриюшины школьные успехи спросил, твоей персоной поинтересовался.

— Ну да! — У Людмилы от счастья перехватило дыхание. — И что ж ты ему ответил?

— Милочка, странный вопрос. Что нужно — то и ответил. А еще про тебя советник вот что сказал: «Вон, говорит, я в окошко вижу женщина с ребенком возле складов вертится, это не ваша жена? Мне известно, говорит, что вы с собой продуктов много привезли и не помышляйте ничего просить на складе».

— Это советница ему доложила, — пробормотала Людмила. — У жаба. Вернс Ростислав говорил. Ну, ну, дальше!

— А дальше, говорит, появляются на местном черном рынке наш. консервы. Замечу, говорит, — вышлю в двадцать четыре часа.

— Вот, мамочка, — гневно сказал, забегая вперед, Андрей, — а ты Филиппу банки совала, я видел.

— То — совсем другое дело, — возразила мама Люда, но мысль свою досказать не успела, потому что отец сказал:

— Все, пришли.

Доктор Слава жил в небольшой одноэтажной вилле, тоже окруженной просторным садом, только не декоративным, а фруктово-овощным, с самыми настоящими грядками. Доктор Слава был низенький пухленький толстячок с обширной плечью, длинными светлыми волосенками на затылке и мокрым улыбчивым ртом. Он принял Тюриных в своем кабинете, словно перенесенном сюда, за тридевять земель, из щербатовской поликлиники. Все было тут как в Союзе: и застекленные шкафчики с медицинской утварью, и штативы с пробирками, и спиртовка, и таблицы для проверки зрения. Из раздвижной ширмы высовывалось кресло, которое Андрей принял за зубоучебное, Настасья — тоже, потому что она, все еще сидя у отца на руках, вдруг стукнула его кулачком по голове и с яростью

зашептала:

— Зубы мне лечить будете? Привезли, да? Я знала, я знала!

— Дурочка, — засмеялась мама Люда, — это совсем другое кресло.

— Ну да, другое! — не поверила Настя! — А какое, а для чего?

— Вырастешь — узнаешь.

Доктор Слава остался почему-то недоволен вниманием к этому инвентарю.

— Зубки-то надо было в Союзе лечить, — сурово сказал он Насте. Но тут же сменил гнев на милость.

— А вообще протезисты здесь неплохие... и неплохо на нас зарабатывают Только пластмасса у них скверная, отчего-то темнеет.

«А так вот оно что», — сказал себе Андрей. У самого доктора Славы с обеих сторон рты зубы тоже отливали синевой, а передние были белые, как у зайца.

— Ну-с, — заученно произнес доктор Слава, отложив медицинские сертификаты Тюриных в сторону, — поздравляю вас, дорогие друзья! Это было первое поздравление, которое Тюрины здесь, в Офире, слышали. Много ли нужно людям? Все семейство облегченно заулыбалось и дружно, включая Настасью, забормотало:

— Спасибо, спасибо...

Доктор Слава благосклонно выслушал это и продолжал:

— Вы по доброй воле прибыли в страну, представляющую из себя повышенную опасность для жизни. Так вам сердце велело, подсказали друзья. Они желали вам благо, но не предупредили вас, что внешний климатический комфорт здесь обманчив. Затяжная засуха сменилась периодом обильных дождей, реки вышли из берегов и образовали обширные болотистые зоны...

Чем-то это стало похоже на сводку погоды. Доктор Слава прибавил скорости, теперь он говорил так бодро, как будто его речь записана на магнитофон, а он только разевает рот под фонограмму.

— ...вследствие чего произошел резкий всплеск заболеваемости малярией. Обострилась опасность поражения в результате воздействия змеиного укуса. Поэтому необходима осторожность и еще раз осторожность. Вы не на Крымском побережье, как некоторым кажется, а потом удивляемся, начинаем охи да ахи, и в результате — доктор Слава виноват. А доктор Слава предупреждает. Спать при открытых дверях и окнах возбраняется, все прорехи в оконных сетках нужно немедленно заклеивать лейкопластырем, здесь он хорошо держит. Если сеток нет, нужно пользоваться противомоскитным пологом. А лучше и то, и другое одновременно. Регулярно пить ризохин, вам в Союзе объясняли. По высокой траве не ходить, вообще при прогулках, особенно вечерних, стараться держаться освещенной середины тротуара. Далее. Босоножки и сандали на босу ногу, тем более ходьба босиком здесь решительно недопустимы. Это уже не из-за змей, а из-за дорожного клеща, он впивается между пальцами и вызывает тяжелые поражения ног. Многие тут, у которых отдельная вилла... вы преподаватели? Ну, тогда это вам не грозит, но все равно скажу. Живут, понимаете, на виллах, как на даче, занимаются огородничеством, копаются в земле, разводят папайю... Знаете, что такое папайя? Я самолично вырастил несколько штук.

Доктор Слава с гордостью показал на окно, за которым на фоне огненно-красного неба чернели стройные деревца, высоко под кудрявыми кронами увешанные грудастыми плодами... Андрей вспомнил о незаконно ввезенной им в Офир Кареглазке и смутился.

— Но я-то соблюдал меры гигиены, — язвительно продолжал доктор Слава, — а

некоторые полагают, что работают в подмосковном садовом товариществе... а потом мы их отправляем в Союз вырезать подкожных червей. Я понимаю, вы только что приехали. Родиной вас не запугаешь. Доктор привычно посмеялся, ожидая хотя бы ответных улыбок, но Тюрины смотрели на него очень серьезно, и он огорчился. — Однако за здоровьем придется следить. Меня не минуете. Будут у вас заболевания ординарные так сказать, текущие, вроде насморка и поноса, будут и привезенные из Союза, возможны и экзотические, например лихорадка «дэнди», свое название она получила из-за неправильной походки. — Доктор Слава встал и, вихляя бедрами, прошелся по кабинету. — Такой, знаете ли, судорожной, стилижьей, которую приобретает пораженный ею больной.

— Лихорадка Дэнге, — пробормотал Андрей.

— Что такое? — спросил доктор Слава, строго поглядев на мальчика, и вдруг ласково улыбнулся, выказывая синюшные зубы. — Так, так, так... Мягкую паранойку с собой привезли, вяленькую такую, кверулянтную. И куда только смотрит Москва.

Какое-то время продолжая улыбаться, он молча рассматривал Андрея, потом просто спросил:

— Поллюции были? А? Нет? Не знаешь?

Больше книг на сайте - Knigolub.net

Андрей оторопело молчал: он не понял вопроса, терминология эта, до которой столь охочи современные родители, ему была неизвестна.

— Ладно, об этом потом, — моргнув, проговорил доктор Слава. Устройтесь — заеду, поговорим. Вообще-то, товарищ родитель, — он вернулся к Ивану Петровичу, — таких больших с собой не возят, это вам поблажку огромную сделали, ведь возможны мутации... Вы меня понимаете?

— Д-да, понимаю, — шевельнув кадыком, ответил отец.

— Ну ладно. — Доктор Слава вновь обратился к Андрею: — Плавки-ласты с собой привез? А? Нет? Не слышу.

Этот мокрогубый человек смотрел так неприятно, так откровенно и бессовестно, что Андрей вдруг все понял насчет поллюций — и кровь, шипя и бурля, кинулась ему в голову. Это было хуже кессонной болезни. Уши, нос, щеки, даже лоб — все лицо его побагровело и безобразно распухло... так по крайней мере казалось ему, а что было на самом деле — он видеть не мог. В голове все смешалось, и, как языки пламени в ней заплясали слова: «Паранойя! Папайя! Паранойя! Папайя!..»

А доктор Слава, подавшись в своем кресле к нему и слегка скосоротясь, ждал ответа.

— Привез... — еле слышно проговорил Андрей.

— Позабудь. — Доктор Слава откинулся к спинке кресла и, смилостивившись, уже благодушно повторил: — Позабудь. Купание в черте города ка-те-го-рически запрещено, замеченных высылаем. Причина сточные воды. А пляж далеко, вас туда время от времени будут вывозить в централизованном порядке, всей группой, но это уж вы с товарищем Звягиным. Однако имейте в виду, что там акулы, даже в школьных атласах это помечено.

Людмила — в чисто воспитательных целях — взглянула на сына.

— Да, был такой случай. — Доктор Слава оживился: — Тогда еще платили не чеками, а сертификатами, может, слышали. И сертификаты эти, по данной стране желтополосые, выдавали на руки, можете себе представить, а не перечисляли в Москву. Каждый месяц получай, сколько заказал, и храни, как хочешь, до конца контрактного срока. Так вот, один деятель надумал: запаял их в полиэтилен, вшил в плавки и носил эти плавки, не снимая. Ну,

стирал, конечно, время от времени, но стирка сертификатам не вредила, желтой полосы она с них во всяком случае не смывала. — Доктор снова посмеялся неизвестно чему, потом продолжал: — Ну, и ровно за неделю до отъезда отправился товарищ на Санди-Бич искупаться напоследок. Тут акулы его и сожрали — на глазах у семьи, вместе с сертификатами, собранными за три года. Вот такая история.

— А зачем же он их... в плавки? — спросила Людмила, потрясенная трагической мощью этой притчи.

— Как зачем? — искренне удивился доктор Слава. — Чтобы не украли. Я к чему вам все это говорю? К тому, чтобы поосторожнее были с купанием. Вон оно к чему приводит. Так, теперь насчет питания. Фрукты на базаре будете покупать — мойте карболовым мылом. Карболовое мыло есть? Нет? У меня тоже нет. Но и фруктов нигде нет, так что проблема ложная.

Людмила посмотрела на Ивана Петровича со значением. «Пой, птичка, пой! Экономят на здоровье, поэтому и нет для них ничего. У наших детей будет». Таков был фирменный знак семейства Тюриных: сама решимость пожертвовать заработками во имя здоровья детей являлась предметом их родительской гордости. — А лекарства где брать? — спросила мама Люда.

— Как, вы с собой не привезли? — возмутился доктор Слава. — У каждого здесь должна быть своя домашняя аптечка. Я на всех напасть не могу. А вообще лекарства лекарствами, но пусть глава семьи на всякий случай оформит у консула завещание. Все так делают. Доктор помолчал, побарабанил по столу пальцами.

— Да, еще! — оживился он. — К романе не привыкайте.

Тюрины молча смотрели.

— Как, не знаете еще? — изумленно спросил доктор Слава. — Медицинский спирт, протирающее средство, стоит гроши. Тюбик марганцовки для очистки совести в него засыпают, сперва краснеет, йотом белеет — и вся дрянь уходит на дно. Хлопьями, сами понимаете. Народные умельцы, хо-хо. Соком разбавил — и понеслось. Не знаете? Ну и славно.

Доктор поднялся.

У меня пока все. Желаю доброго здоровья и делового поведения. А также многократных продлений контрактного срока.

Когда Тюрины вышли от доктора, уже стемнело. Стало холодновато, на главной улице засияли витрины, вспыхнули бегающие и мигающие огни реклам. Впрочем, приглядевшись, можно было заметить, что многие буквы рекламы не горят, другие заменены не по цвету. Однако, на щербатовский взгляд, вечернее оформление города было великолепным.

— Заграница! — с чувством воскликнула Людмила.

Шли параллельно главной улице по длинному переулку, замусоренному опавшими цветами и крупными фикусовыми листьями, в сопровождении летучих мышей, которые, выныривая из темных садов к лампионам, вершили свои ломаные полеты, то становясь ярко-белыми на свету, то пропадая во тьме.

— А неплохой дядька, этот доктор, добрый, веселый, — сказал Андрей единственно для того, чтобы проверить, помнят ли родители те загадочные слова о кверулянтной паранойе.

— Жулик он веселый, — ответила мама Люда и простодушием своим убедила мальчика в том, что ничего такого угрожающего доктор Слава не сказал. Как это лекарств у него нет? Куда он их деваает?

— Все у тебя жулики, — миролюбиво проворчал Андрей.

— А у тебя все хорошие, — возразила мама Люда, — кроме матери с отцом.

Но спорить никому не хотелось, и Людмила, помолчав, прижалась к локтю мужа и проговорила:

— Ой, Ванюшка! Хорошо, что ты нас сюда вывез.

И поскольку Иван Петрович расслабленно молчал, она повторила шепотом:

— Хорошо.

Однако инстинкт, наверно, подсказывал ей, что долго предаваться радости опасно, что именно в такие моменты блаженства и подстерегает человека настоящая беда, поэтому нужно все время держать ухо востро и при каждом удобном случае высчитывать варианты, откуда беда может прийти.

— Интриг тут, конечно, много, — задумчиво проговорила она. — Как бы нас с тобой не втянули... Плохо, если с самых первых дней окажешься игрушкой в чужих руках. Вот зачем нас послали к этим самым Аникановым? Свергнутое начальство, со Звягиным наверняка на ножах. Может, провокация, а, Ванюша? Как ты думаешь? Может, Звягин нас проверяет?

— Думаю, тягло это, повинность, — непонятно отозвался Иван Петрович. — Смысла нет ему нас пока провоцировать.

— Может быть, ты и прав, — сказала Людмила. — Но осторожность никогда не помешает.

Пансион «Диди», могучий, десятиэтажный, высился среди мелких особняков точно на указанном Матвеевым месте, в трех кварталах от офиса. Единственный подъезд со стеклянной дверью оформлен был, как титульный лист книги прошлого века, с рамочкой и виньетками по углам, даже с названием «Диди», начертанным прописными позолоченными буквами. Лифт в «Диди» не работал, кнопка вырвана с корнем, ручки двери замотаны медной проволокой. Впрочем, подниматься было невысоко, на второй, а точнее, с учетом цоколя, на третий этаж.

Дверь аникановской квартиры была гостеприимно открыта, на пороге стояла круглолицая белокурая женщина, одетая в длинное платье-балахон, ярко-лиловое, с

желтыми бабочками на животе и груди, и тщательно, как-то по-немецки завывая. В одном щербатовском доме Андрей видел шикарную картину, которую с почтением называли трофеей, на ней фиалковыми красками была изображена точно такая же блондинка, с неотвязной нежностью глядящая на своего старообразного мальчика. От этой, как и от той, исходило сияние. Мама Люда в своем голубом крепдешинном платье, изрядно помявшемся и пропотевшем насквозь, с лоснящимся, взмыленным лицом на последних ступеньках замедлила шаг и стала торопливо обираться. Андрей, равнодушный к красивым взрослым женщинам, стал зачем-то раскатывать рукава своей рубахи. Иван Петрович, если судить по выражению его лица, испытывал желание подтянуть галстук, но руки его были заняты дочкой, и он лишь подвигал подбородком и повертел головой.

— Здра-авствуйте, гости дорогие! — пропела блондинка. — Мы вас с балкона высмотрели. Видим, идут! С прибытием вас, проходите в наши *апартаменты*!

Аниканова была в меру фальшива и в меру возбуждена, только глаза у нее, большие, остановившиеся, с расширенными зрачками, неестественно блестели. У нее был странный круглый нос с круглыми ноздрями, очень глупый нос, в девичестве он многим, наверно, казался очаровательным.

Апартаментами щербатовцев уже нельзя было удивить, но приглашение, сделанное столь торжественно, обязывало к соответствующей реакции, и Людмила, остановившись в центре прихожей, прикинулась, что потрясена.

— Дворец! — замирающим голосом проговорила она. — Ну просто дворец!

Холл в этой квартире обставлен был деревянной дачной мебелью с плетеными сиденьями и спинками, на стенах висели резные зубастые маски, у одной за клык зацепился обрывок выцветшего новогоднего серпантина. Какою-то скорбью повеяло от этой блекло-розовой бумажной полоски...

Лицедейство мамы Люды, которое не обмануло бы даже корову, совершенно удовлетворило хозяйку: именно такой реакции Аниканова и ждала.

— Да, вот так! — с бездумной гордостью сказала она. — В Союзе такой квартиры у нас с вами нет и не будет.

Тут из внутренних комнат шало, как собачонка, мотая головой, выбежала кудлатая девочка Настинных лет, такая же круглолицая и беленькая, как мать, и принялась скакать вокруг гостей:

— А мне что принесли, а мне?

Мама Люда вручила ей коробку конфет, девчонка села на пол, тут же распотрошила коробку и набила рот шоколадом.

— Василий Семеныч! — крикнула в глубь квартиры хозяйка. — Убери свою наглую дочь!

— Иди ты в баню, — жуя, сказала малышка. Аниканова взглянула на гостей и звонко засмеялась.

— Ребенок, — сказала она, как будто это что-нибудь объясняло. Иришка ее зовут. А меня зовите просто Валентина.

Из бокового коридорчика вышел долговязый и странно пузатый человек с лысой яйцевидной головой и длинным мокрым носом, он был в женском переднике с оборками и на ходу вытирал об этот передник руки.

— Я ж при исполнении, коша, — пробасил он. — У меня масло горит!

Тюрины церемонно представились.

— Это я ужинаю, — повернув к Насте перепачканное шоколадом лицо, деловито объяснила Иришка. — Сейчас сядут пьянствовать, а мы с тобой будем играть. Все люди — предатели.

Василий Семенович и Валентина дружно захохотали, как будто дочка сказала что-то необычайно остроумное. Тюрины-старшие им растерянно вторили.

— Ну, пойдете за мной, — сказала, наконец, хозяйка. — Покажу вам квартиру, а то еще заблудитесь.

В чем Валентине нельзя было отказать, так это в словоохотливости.

Идя по коридорам и коридорчикам, из комнаты в комнату, она упоенно, безудержно хвасталась, даже не утруждая себя обернуться и поглядеть, слушают ее или нет.

— Три туалета у нас, две ваннные комнаты. Спальных — две, у мужа отдельный кабинет, у меня — музыкальная комната с видом на море, пианино мы напрокат сразу, как приехали, взяли, многие на нас за это косились, но ведь я пианистка, мне руки надо в форме держать. Меня вся колония знает, я даже в посольстве давала концерт. А эта комната у нас называется «Буйная», видите — совсем пустая, как в сумасшедшем доме, хоть сдавай ее таким вот, как вы. Сюда мы Иришку запираем, когда она начинает безумствовать. Вон, все стенки изрисованы. Это она мне назло, не любит, когда мы устраиваем музыкальные вечера.

— Ну, теперь у нее будет подружка, — проговорила Людмила, несколько, впрочем, обескураженная открывшейся перед нею картиной. Однако Аниканова ее не слушала.

— Ох, мы такие концерты давали в офисе, и с кем на пару — не поверите! С Гришкой Звягиным. Да, с Гришкой Звягиным, вот здесь, за этим самым столом он сиживал, такой весь приветливый, как Пиночет. И я змею у нас в «Диди» пригрела на своей груди!.. Нет, он талантлив, даже одарен, у него память феноменальная, что говорить? Он целые куски из Достоевского наизусть мог читать. Не говоря уже о Чехове и Толстом. Гришка Звягин читает, а я ему аккомпанирую. В нужных, конечно, местах. Бал Наташи Ростовской, лермонтовский «Маскарад»... Советник от нашего дуэта прямо балдел. Один раз даже Надежда Федоровна присутствовала. В общем, была культурная жизнь! Все переменялось, увы! — с тех пор, как Гришка стал Злыднем. Я его теперь только так называю. У, это страшный человек! Как он возник, как он возник! Весь в черном дыму, словно джинн из бутылки, неузнаваем стал на другой же день. Свою подрывную работу он целый год проводил, он и с посольством, и с советником поладил, и даже Володичку Матвеева переманил. Володичка — вы не представляете, это такая нежная, робкая, чувствительная душа, а голос какой щемящий, лирический тенор, как у Пищяева, знаете? «В сиянье ночи лунной я плачу и пою...» О, как он пел, как он пел! И что же? Куда все это девалось? Теперь он у Злыдня идеолог, отчетные доклады сочиняет. Чинуша, сухарь, едва здороваётся... Нет, измена искусству даром не проходит... А это наша столовая. Ну как, ничего я вам стол собрала? Хай класс, по высшему разряду вас принимаем. За этим столом, между прочим, сам товарищ Букреев сидел.

— Спасибо вам, — растроганно сказала Людмила и моргнула Ивану Петровичу, чтобы он шел к хозяину на кухню, откуда раздавалось адское шипение масла и тянуло горелыми пирожками.

Скрестив на своей пышной желто-лиловой груди руки и милостиво улыбаясь, Аниканова отступила в сторону. Стол овальной формы, загромождавший почти всю комнату, был покрыт вместо скатерти простыней и поражал главным образом своими размерами, потому что сервирован он был более чем убого: разносортные чайные блюда

вместо тарелок, гнутые алюминиевые вилки, ножей всего три — один кухонный, другой перочинный, третий истинно столовый, даже мельхиоровый; взамен рюмок и бокалов тонкостенные и граненые стаканы, из одного совсем недавно были вынуты зубные щетки. Да и снедь оказалась скромна: большую часть ее составляли отечественные консервы. Украшением стола была миска с чем-то, напоминающим мясной гуляш. Город Щербатов при невысоком качестве жизни славился хлебосольством и пристрастием к хорошей посуде, ни одна щербатовская хозяйка не посадила бы гостей за такой стол.

Но Валентина, похоже, никакого убожества не замечала. Она с гордостью оглядывала праздничное великолепие и, едва дослушав слова изумления и благодарности, которые нашла в себе силы пролепетать мама Люда, сказала:

— Вот так. Живем по-людски. Даже мясо на столе держим. Хотела я студень затеять с солеными лимончиками, да лимончиков на базаре что-то не стало. Пойдемте, Людочка, я вам покажу свои припасы. И картошечка есть, и лучок, и бутылочки из дипшопа имеем. Жалко, муж не сумел себя отстоять. Вам, наверно, напели уже про нас, наплели... Люди такие изменники!

И, не слушая протестов мамы Люды, тетя Валя повела ее в кладовку.

Андрею было скучно ходить по этому безумному дому, и он вернулся в прихожую. Девочки и в самом деле играли, ползая по полу. Игрушек у Иришки никаких не имелось, точнее, ее игрушками были пробочки, жестяные баночки из-под напитков и разнообразные сигаретные коробки. Играла Иришка азартно и очень агрессивно.

— Ну что ты за идиотка такая? — кипятилась она. — Я же тебе русским языком говорю: «Данхилл» — твой, а «Ротманс» — мой. Ну, который «Интернэйшенел», синенький с золотом, ты что с ветки свалилась? Ох, и тундру присылают, прямо мочи нет!

Настя молчала: ей было неинтересно играть в коробочки и хотелось спать. Бесцельно переставляя Иришкины игрушки, она вопросительно поглядывала на брата: почему я должна все это терпеть? Почему ты не забереешь меня куда-нибудь?

Андрей и сам устал: при одной мысли о том, что еще сегодня на рассвете они были в Москве, затылок сводило судорогой. Он сидел в плетеном кресле, вытянув во всю длину ноги, и старался ни о чем не думать.

Взрослые в столовой гремели стульями, рассаживались, про детей никто не вспоминал: видимо, так было заведено в этом доме. Собственно, Андрей и не любил смотреть, как родители бражничают: хотя, надо отдать им должное, это случалось чрезвычайно редко, но все же случалось. Отец, подвыпив, становился зычноголосым и настойчиво требовал, чтобы его слушали, а мама Люда начинала кручиниться, и доходило до слез. Ужинать Андрею совсем не хотелось, а голос у Валентины Аникановой был такой пронзительный и звонкий, что в холле и так было слышно каждое ее слово.

— Горошук? О, это страшный человек! В Союзе, я слышала, в шесть кулаков его бьют: жена, тесть и теща. Ни дня без строчки. Пьют вместе, а как напьются — начинают бить Горошука. Ха-ха-ха! Тесть у него — генерал, он и командировку им сделал, и квартиру, и дачу... Нет, у меня в руках Игорек был послушным мальчиком. Я шлифовала его душу, его поэтический талант, но с тех пор как Злыдень прокрался к власти, вся моя работа пошла насмарку. О, это страшный человек, он, как анчар, все отравляет вокруг себя своим смертоносным дыханием...

«В школе пение преподает», — вяло подумал Андрей.

— Ростислав Ильич? О, это страшный человек! Я его зову «Ростик-Детский», ха-ха-ха!

Строит из себя независимого, а почему? Потому что его Катенька была у Букреева переводчица, переводила рога на копыта, об этом вся колония знает. Как говорится, жена спит — у мужа служба идет.

— Что-то ты, коша, разыгралась, — добродушно остановил жену Василий Семенович. — Хватит с нас твоих бабьих сплетен, надо о делах потолковать. Я, бывало, усажу новоприбывшего вот сюда, за этот стол, и гляжу ему в глаза, ни о чем не спрашивая, в душу ему заглянуть пытаюсь, что за человек, каким идеалом живет. Я человеку замыкаться на себе не давал. Как не вижу кого три дня — прямо сердце не на месте: чувствую, что там зреет проступок, набухает гнойник. Вызываю к себе человека — и часа полтора с ним беседую. Многих этим от высылки спас. Был один любитель *лифтоф*, в смысле — передвижения на попутных. Мы, значит, на собрание по жару — ножками, а он подъезжает на «мерседесе» с кондиционером! И кто там, в этом «мерседесе», за рулем — одному богу известно. Ну, я с ним четыре часа беседовал. После в ноги мне падал. «Душу ты мне спас, Василий Семенович, не анкету, а душу!»

Видимо, хмель уже взял свое, потому что беседа в столовой расплелась надвое. Мужчины толковали о своем, а Валентина настойчиво внушала маме Люде, что она довольна жизнью.

— Да брось ты мне это все! — забыв о своей музыкальности, кричала она. — Отлично я живу! С Нового года, как мы в отставку ушли. Сажу себе дома, музицирую для себя. И с ужасом — да, с ужасом, не спорь ты со мной! — с ужасом вспоминаю то время, когда мы руководили группой. Что ни день — то хрипоты. Нет, конечно, я не ханжа, отрицать не стану, что были и преимущества. На представительском складе бери, что душа пожелает. Тушенку, сайру, московские сигареты, даже крупу гречневую — о чем разговор?

Мама Люда заговорила, но Аниканова ее оборвала.

— Образование! — вскричала она запальчиво. — Ну кого интересуется твой диплом? Это же аппарат, пойми! Ап-па-рат! Там все построено на человеческом доверии!

Тут тете Вале пришлось замолчать, потому что мужчины заспорили: отец уже перебрал.

Не верю и никогда не поверю! — шумел он, стуча по столу кулаком. Что ты мне, как доктор Слава, какие-то сказки рассказываешь? «За это высылают, за то могут выслать...» Глупости! Меня работать сюда направили, по работе и будут судить! Деньги какие на одну дорогу затрачены! Кто это вам позволит выслать меня по своей прихоти да за государственный счет?

— Ну, ну, — гудел Аниканов, — не горячись, тебя пока никто не высылает. Не за что еще, погоди.

— О чем шумите? — спросила его Валентина.

— Да вот, — сказал Василий Семенович, — сомневается Ваня, что советник может любого из нас в двадцать четыре часа...

— Ой, что вы... — понизив голос, страшным шепотом произнесла Аниканова. — Ой, что вы, сколько раз уже было! Семейные ссоры, ненужные встречи... да мало ли что!

Слушать эту пьяную чушь было невыносимо, и, чтобы отвлечься, Андрей предложил девочкам почитать вслух какую-нибудь книжку. Иришка с готовностью притащила три книжки-раскладушки: «Теремок», «Колобок» и «Курочку Рябу».

— И это все? — удивился Андрей.

Ничего не ответив, Иришка убежала и вернулась с целым ворохом растрепанных каталогов. Но там были одни лишь фотографии женщин, которые, широко расставив ноги и

целомудренно улыбаясь, демонстрировали всяческую одежду, от лифчиков до манто. Сердце у Андрея встрепенулось, когда он увидел двух манекенщиц, немолодую и юную, в желтом с ирисами. Все странички, и эта в том числе, были зверски исчирканы, особенно досталось тем частям тел, которые располагаются ниже талии.

— Это у них понос, — объяснила Иришка.

А из столовой донеслись бравурные аккорды фортепьяно, и гости переместились в музыкальный отсек.

— «В бананово-лимонном Сингапуре, где на базаре нету ни черта, — пела Валентина своим резким, оглушительным голосом, — и где не купишь ты для хачапури собачьего хвоста...»

Дальше шла какая-то самодельная несуразица, и после непродолжительного совещания хор взрослых подхватил припев:

— «Да-да! Да-да-да! Мы не зря приехали сюда, сюда!»

Пение продолжалось целую вечность... Наконец взрослые утомились и вышли в прихожую, Андрей с облегчением подумал, что все позади, но не тут-то было: Валентина вынесла и разложила на спинках кресел разноцветные балахоны, расписанные мотыльками, попугаями и цветами. Начались охи, ахи, восторги.

— Ой, Валюшечка, миленькая! — умиляясь и кручинясь, по-разному складывая ручки — то прижимая их к груди, то ломая пальцы, говорила мама Люда, и конца этому театру не было видно. — Ты мне покажешь, где они продаются? Валечка, золотко, покажешь? Ой, хочу! Ой, хочу!

Разумеется, это была одна комедия, поскольку даже представить себе было трудно, на что эти гигантские балахоны могут понадобиться малорослой маме Люде.

— О, коль желание быть приятной действует над чувствами жен! — звучно произнес Иван Петрович, и хозяйева с недоумением на него посмотрели: это, конечно же, был князь Михаила Михайлович, но слишком многое нужно было тут объяснять.

Наконец распрощались. Иришка, запертая в «буйной комнате», рыдала и сквернословила, Анастасия мирно, как в люльке, спала у отца на руках. Тетя Валя что-то громко кричала им сверху, с балкона, но нельзя было ничего разобрать: поулыбались в ответ, помахали руками — и побрели под синеперыми деревьями, опасливо ступая на опавшей листве. Мама Люда споткнулась на тротуарной выбоине, пришлось Андрею взять ее под руку. От мамы Люды пахло распутством, она шаловливо, как девочка, взглянула снизу вверх на высокорослого сына и прижала локтем его руку к своему мякотьному бочку.

— Ну-ну, без маразма, — сказал Андрей. — И если вы и дальше собираетесь так жить, то отправляйте нас с Настасьей к тете Наташе. Это не жизнь, а скотство, доложу я вам.

— Сынулечка, никогда! — залепетала мама. — Мы больше не будем!

— Мы только приехали, — виновато проговорил отец. — Надо ж было с кем-то подружиться.

Андрей не стал возражать.

— Ладно, давайте ключ, — буркнул он. — И чтоб ни звука, когда войдете в прихожую! Ясно?

В квартиру вошли на цыпочках. Хозяин затаился где-то в глубинах своих многочисленных комнат, свет был всюду погашен, но чувствовалось, что Матвеев не спит. Андрей представил себе, как он лежит на кровати с открытыми глазами и, блестя приплюснутым носом и выпуклым лбом, беззвучно поет: «В сиянье ночи лу-унной...»

Утром Андрей проснулся от чужеземной переключки автомобильных гудков и не сразу сообразил, где находится. Сквозь густую металлическую сетку окошка вязко и желто протекала теплынь. Он лежал поверх скомканных простыней непокрытый, было жарко, как летом в деревне, только мух не хватало. На соседней кровати, тоже в одних трусах, подомашнему уютно сидела Анастасия, она перебирала свои детские книжки.

Несколько смутившись, Андрей прикрыл глаза и попытался вспомнить, не снилась ли ему сегодня ночью *красная палатка*, это был тяжкий, постыдный сон, который вот уже много месяцев его донимал. Но ничего как будто не снилось: сплошная черная яма, косматый разрыв между вчера и сегодня. Видимо, вчера он был измочален, а на такие сновидения требуются физические силы.

Красную палатку Андрей видел наяву прошлым летом, и не сказать, чтоб воспоминание о ней было мучительным, скорее наоборот, но вот сновидения на этой основе возникали безрадостные и неуправляемые. Очень противно было то, что он видел *палатку* не один. Даже так: долговязый приятель его, которого все звали в городе «Керя», подмигивая и мелко смеясь, поманил Андрея пальцем: «Гля, че делают! Во автотуристы че вытворяют! Москва...» Сам Андрей, если б увидел первый, ни за что бы не позвал. Этот самый Керя не давал проходу ни одной девке от тринадцати до тридцати, все-то ему нужно было схватить, сграбастать, притиснуть, и они этому не слишком противились. Керя так и звал с собой: «Айда девок ловить». У него было узкое лошадиное лицо с впалыми щеками и длинной челкой, косо падавшей на дикий, словно бы бельмастый глаз, товарищ он был незаменимый, потому что ему вкусно было жить, и он хотел, чтобы все вокруг тоже всхрапывали от удовольствия...

Дело было ранним утром, на лугу у Ченцов, куда они с Керей пришли проверять поставушки. Поставушками в пригородах Щербатова называли нехитрую снасть: бечевка или прочная леска, привязанная к ракитовому кусту, на конце — большой крючок, лучше тройник, а на этот крючок нацеплен за губу лягушонок. Забрасывается поставушка (лягушат обыкновенно ловят у самой реки, по дороге), а уж на рассвете надо успеть ее вытащить, потому что, сколько ни маскируй, если попадетя голавль он так пригнет куст, так его будет трепать, что слепой, и тот не пройдет мимо. Ченцовские чужих поставушек не трогали, как будто заклятье на них было (или не позволяла рыбацкая честь), а вот свой брат, щербатовский, прибывший на автобусе, мог и пользоваться, снять чужую добычу с чужого крючка, да и сам крючок унести, и ничего не докажешь.

Откажись он идти вслед за Керей и заглядывать в эту чужую красную пещеру, жил бы просто, как жил. А теперь смотрел на встречных молодых женщин и не мог себя заставить не думать: «И эта так же, и эта будет так, а эта — уже... может, даже вчера». Приходилось прятать глаза: они каким-то образом чувствовали и глядели в ответ вызывающе или лукаво. Не конфузилась ни одна, а краснел и стеснялся именно он, ни в чем не повинный...

Между тем Настасья, даже не глядя в его сторону, почувствовала, что Батя проснулся, и, как бы продолжая прерванный разговор, сказала:

— А у меня зато книжек полный портфель и с игрушками большая сумка. А мы больше к ним не пойдем, правда, Батя?

Видно, безумная Иришка произвела на нее неизгладимое впечатление.

— Конечно, не пойдём, — отозвался Андрей.

Он вскочил, подбежал к балконной двери и настежь её распахнул.

— Ух ты! — завистливо произнес он.

Для декорации, сколоченной наспех, к прибытию Эндрю Флейма город был выстроен уж слишком добротнo. Небоскребы тесно громоздились вокруг, вознося в ярко-синее небо свои пестро раскрашенные балконы, галереи, террасы и лоджии. Прозрачно-зеленые зонтики акаций, усыпанные крупными сиренево-голубыми цветами, пошевеливались от жаркого ветра у самых его ног.

За спиной его гулко хлопнула дверь, он обернулся. Из ванной вышла мама Люда, она была в красном купальнике.

— Жарко, Андрюшенька! — как бы оправдываясь, сказала она. — Воду кипячу для питья.

— А где отец?

— Полчаса как на службу уехал. Все хорошо, сыночек. Только вот... на базар бы сходить, а я, безъязычная, боюсь. На тебя вся надежда. Мальчик насупился от важности.

— Какой разговор?

Он себе нравился сегодня с утра: бодрый, веселый, уверенный, лишних вопросов не задает, только по делу, истинный Эндрю Флейм в голубых отечественных джинсах с бордовой прострочкой... Только бы отучиться краснеть.

Матвеев, босой и полуголый, в коротких штанах с бахромой, стоял на кухне возле мраморного разделочного столика и ел из кастрюли холодную гречневую кашу, запивая ее кока-колой. Лицо у него было умиротворенное и даже симпатичное. Черт его знает, подумал Андрей, может, и в самом деле чуткий человек.

— А, квартиранты! — проговорил Матвеев жуя. — Молодцы, вчера тихо вернулись. На вылазку? В добрый час.

— Вы не подскажете, как на рынок пройти? — спросила Людмила.

— Подскажу, отчего же. Вон, видите в конце проспекта ржавый купол? Это и есть рынок. Только не купите вы там ничего: поздно встали...

Вдруг Матвеев насторожился, потянул носом воздух.

Балкон открывали? А кто разрешил? — гневно спросил он. — Тараканов напустить захотели? Выселю к чертовой матери!

И, круто повернувшись, ушел к себе.

...Здание рынка оказалось похожим на подвергшийся бомбардировке вокзал: внушительный, с колоннами вестибюль, за ним — металлический остов высокого купола крыши. Крыша эта некогда была, конечно, застеклена, а теперь стекла побились, ячейки кое-где были забраны фанерой и целлофаном, провисшим от застоялой дождевой воды. Под этой символической защитой от солнца и дождя стояли ряды облицованных мрамором прилавков с выдолбленными в них лоточками и желобками: для мелочи, догадался Андрей, и для стока крови и сока. Но стекать было нечему, прилавки были пусты и сухи, сонмы синих мух реяли над головой совершенно бесцельно, да еще тараканы с фырчанием перепархивали с одного стола на другой. Кое-где среди голого мрамора сидели унылые торговки в цветастых цыганочьих платьях. Какие-то корзины под ногами у них стояли, но, перехватив любопытствующий взгляд покупателя, торговки начинали озабоченно расправлять свои широкие подолы, прикрывая ими товар. На прилавках для видимости лежали жухлые капустные листья и пучки свекольной ботвы.

Мама Люда была расстроена:

— Одно видильё, — пробормотала она, озираясь, — одно видильё!

Несколько оживленнее было в рыбных рядах, точнее — в тех, от которых пахло рыбой. Там на мраморных столах лежали горы ракушек, по виду наших речных, издыхающих, с высунутой требухой, и других, плотно замкнутых, очень мелких и, должно быть, несокрушимо твердых, торговки заботливо поливали их водой. Возле одного прилавка даже собралась небольшая очередь местных: там ровным слоем рассыпаны были мокрые полые сучки, внутри них шевелились толстые светлые гусеницы, точно как наши ручейники. Андрей не удержался от искушения, показал их сестренке, Настя заволновалась:

— Ой, что это? Батя, зачем их торгуют?

— Чтобы кушать, — безжалостно объяснил Андрей.

— А как их кушают?

— Очень просто. Высасывают, как из косточек мозг.

— Живых? — с ужасом прошептала Настя и захлопнула ладошками рот.

— Будешь ты мне девку дразнить? — рассердилась мама Люда хотела стукнуть Андрея по загорбку, но удержалась, потому что вспомнила, где находится и зачем пришла.

Она присмотрела торговку поприветливее, искательно улыбнулась ей, та замахала руками: нет, мол, нет у меня ничего, проходите мимо. Однако маму Люду это не смутило.

— Ну, Андрюша, будут у нас сейчас витаминчики. Смотри, как дела за границей делаются.

Она взяла Настасью за плечо, выдвинула ее вперед и сказала торговке:

— Вот ребенок маленький, фруктов хочет, фрукты ему нужны. То есть ей, девочка она, Анастасия зовут.

— Мама, — покраснев, гневно сказал Андрей, — ты соображаешь? Она ни слова не понимает!

— Понимает, молчи, — бросила ему через плечо мама Люда. — А это старший мой, такой грубиян, не слушается ничего, дерзит бесконечно. Но тоже фрукты любит. Может, есть у вас для нас что-нибудь? Поищите, пожалуйста.

Торговка выслушала очень внимательно и серьезно, потом выставила вперед розовую ладонь и, проговорив «Уэйт э литл», полезла под прилавок.

— Она говорит: «Подождите немного», — прервал Андрей.

— А то я без тебя не знаю, — ответила мама Люда.

Торговка поднялась и молча протянула ей пучок белой редиски.

— Шейс-дейс, — сказала она, и мама Люда поняла с такой легкостью, как будто всю жизнь разговаривала на ломаном русском.

— Шестьдесят копеек? — переспросила она. — Смотри-ка, недорого. И витаминчики.

Торговка вновь нырнула под прилавок и вытащила связку красноватой кустистой травы.

— Щавель надо? — спросила она. — Щавель, кисло, мадам! Харчо, мадам, харчо!

Людмила с недоверием отщипнула листок, пожевала, сплюнула.

— И правда, хорошо. Вот вам и суп, и салат.

Расплатившись, мама Люда устремилась в дальние ряды, занавешенные соломенными циновками. Боже мой, чего тут только не было: коврики, корзиночки, коробочки, кепочки, даже кресла и журнальные столики, все искусно сплетенное из соломки и тростника. Глаза у мамы Люды разгорелись.

— Нет, нет, не сейчас, — бормотала она, жадно ощупывая *плетености* и как будто

уговаривая себя, — перед отпуском накупим. Будут сувениры, всему Щербатову хватит!

Однако возбуждение это быстро прошло: соломой ведь сыт не будешь...

Вышли на улицу и побрели восвояси. Солнце палило, как безумное, все вокруг стало душным, пыльным, вонючим. Плиты тротуара дыбились под ногами, грязная бахрома полотняных навесов неприятно задевала по лицу, из тусклых витрин так и лезли в глаза некрасивые и ненужные вещи: покоробившиеся парусиновые чемоданы, шерстяные шапки с наушниками, пластмассовые сандалеты с блестками, канцелярские дыроколы циклопических размеров, деревянные вазы и бумажные цветы — очень похожие на те, что росли вокруг офиса.

— Хлебушка бы купить, — сказала на ходу мама Люда. — Где у них тут хлебные магазины?

Забрели в проходной дворик между небоскребами, мощный мрамором, тенистый, даже прохладный. Посередине должен был журчать фонтан, в овальном бассейне стояла зеленая вода, в уютных нишах расположены были маленькие магазинчики. Продавцы в синих безрукавках, все как один смуглолицые и черноусые, с любопытством смотрели на своих потенциальных клиентов, не проявляя ни малейшего желания предложить им свой товар. Да и предлагать было нечего: полки в нишах уставлены были литровыми бутылками с сиропом таких сумасшедше-ядовитых цветов, что при одном только взгляде на них пробирала икота. Одна из лавчонок называлась «Жаклин», так развешены были женские пояса на шнуровке, которые мама Люда брезгливо назвала «грациями». Пояса эти сшиты были как будто бы из брезента, трудно было представить себе, как можно их надевать на нежное женское тело — тем более при такой жаре. Охотников покупать эту сбрую не находилось. Между тем торговец это, по всей видимости, не волновало: сидя в глубине ниши, он вел неторопливый разговор с таким же жгучим брюнетом в синей безрукавке, продававшим в соседней лавке очки, и со спокойным ожиданием поглядывал поверх прилавка на остановившихся поблизости Тюриных. По всему видно было, что душевный его покой и достаток не имеют ничего общего с заскорузлыми «грациями» и что если мама Люда попросит его показать хоть одну, он, пожалуй, оскорбится или расценит это как дикое извращение.

— Спроси у него, где тут хлеб продают, — сказала мама Люда.

Как это у женщин все просто. Возьми и спроси. А если это первый контакт в истории с нашим кротким и трудолюбивым народом? К нему нужно загодя готовиться, выверять и взвешивать каждое слово, чтобы не стыдиться потом.

Но делать нечего: мальчик подошел к прилавку, дождался, когда на него обратят внимание (ох, не так он все это себе представлял!) и, костеня от напряжения, выполнил просьбу матери. Усатый продавец придвинулся к Андрею, перегнулся через прилавок, и, издевательски приложив руку к уху и скривив рот, громко переспросил:

— Сорри?

А когда Андрей, сделавшись сразу маленьким и ушастым, повторил свой вопрос, продавец демонстративно повернулся к своему приятелю и небрежно вытряхнул сигарету из красивой желто-синей пачки цифрой «555». При этом оба усача дружно захохотали.

Это было горше обиды и разочарования: это был крах. Похоже, услугах Эндрю Флейма здесь никто не нуждался. Жизнь эта шла сам по себе независимо от явления мальчика из Щербатова, и не то что вмешаться в нее, даже просто вникнуть не представлялось возможным. Почему эти люди смеются? Чем живут? Откуда у них сигареты? А час у каждого массивные,

как бандитские кастеты, на металлических болтающихся свободно браслетах, зачем они и откуда взялись? А ход истории — слышали они о нем хоть что-нибудь? Или, может быть, у них своя история, текущая сама по себе и не впадающая в нашу? Но при мириться с этим мальчик не мог.

— Ну, пошли, черт с ними, — сказала мать. — Отдохнули — и на том спасибо.

Иван Петрович привез с работы очень странные вести. Выяснилось, что нагрузки для него нет и не предвидится: прием в университет прекращен, старшекурсники вывезены на перевоспитание в «зеленые зоны», занятия ведутся только на втором и третьем курсе, а там всю математику подмяли под себя голландцы, и ни одного часа они никому не отдают.

— Ты представляешь, Милочка? — с горестным недоумением рассказывал Иван Петрович. — Предшественник мой, Сивцов, десять месяцев сидел без нагрузки, с тем и уехал. Я понимаю, Москва об этом может и не знать, но здесь-то, здесь, на месте, никто мне ни единого слова... Советник все о правилах поведения толковал. Звягин — про кляузы, Аниканов на высылках помешался, а про нагрузку — ни слова, как будто это пустяк... Весь кампус проволокой колючей оцеплен, аудитории опечатаны, по коридорам физмата автоматчики ходят... Какой-то сумасшедший дом, а не прогрессивный режим.

— А наших ты видел? — осторожно спросила Людмила.

— Ну, как же! Все на месте, кроме Матвеева, но и Матвеев позже подъехал на офисной машине... Все сидят по своим кабинетам, на дверях таблички с фамилиями...

— А тебе кабинет выделили?

Вопрос мамы Люды, показавшийся Андрею бессмысленным, отцом был воспринят с непонятным возбуждением.

— В том-то и дело, Милочка! — вскричал отец. — Бывший сивцовский! И ключи мне завхоз сразу выдал, и табличку на двери заменил. Буквы такие пластиковые, на клею...

— Хороший кабинет? — настойчиво допытывалась Людмила.

— Отличный, одноместный, — успокаиваясь, с детской гордостью ответил Иван Петрович. — Кондиционер, письменный стол металлический, телефон, даже сейф, все, как надо.

— Ну, и чего ты еще хочешь? — спросила Людмила. — Пускай они ищут тебе нагрузку, а ты не будь дурачком, закройся и сиди.

Эти слова ее Иван Петрович пропустил мимо ушей.

— И вот еще что странно, — сказал он, помолчав. — В отчетах Сивцов указывает, что наворотил здесь гору разработок, контрольных текстов, программ, а ничего этого нету, и стол пустой, и шкафы. Одни апээновские брошюры.

Такие тонкости Людмилу не интересовали.

— А Звягин что? — спросила она.

Иван Петрович махнул рукой.

— Что Звягин? Что может Звягин? Как я понимаю, он сам без нагрузки сидит. Сводил меня к декану, тоже, между прочим, голландцу... В приемной был робкий такой, с секретаршей декана чуть ли не на цыпочках, закрыл свой кабинет и потопал домой.

Андрей и Настя сидели рядышком на кровати и слушали.

— Значит, мы скоро уедем? — с надеждой спросила сестренка.

— Типун тебе на язык, — сердито ответил ей Андрей. — Нам нельзя уезжать, это будет скандал.

— А почему?

— А потому, что не лезь во взрослые дела. Бери пример со своего старшего брата.

— Ладно, — сказал отец, — не надо печалиться, вся жизнь впереди, как говорит

Григорий Николаевич. Есть и хорошие новости, ребята: «Смоленск»-то наш прилетел!

— А ты откуда знаешь? — ахнула мама Люда.

— Да уж знаю! — младенчески улыбаясь во весь рот (улыбка эта казалась почему-то беззубой), ответил отец. — Мы, собственно, и вчера могли его забрать, это Горошук поленился. Я сам в аэропорт позвонил — оттуда, из кампуса, из своего кабинета, и мне очень любезно ответили. Только надо срочно за ним ехать, а то отправят его обратно в Москву, дело нехитрое.

— Ой, Ванюшка, поезжай! — засуетилась Людмила. — Ну, пожалуйста!

— Легко сказать, а на чем?

— Ну, сбегай в офис, пускай помогут!

— Да был я там, постоял у калитки. Шофер наш, русский парень, брудастый такой, с бакенбардами, тот вообще на меня, как на шизофреника, посмотрел. Вдруг вижу — Букреев из машины выходит, я и убежал оттуда, как заяц.

— А он тебя не видел? — встревоженно спросила мама Люда. — Среди рабочего дня...

— В том-то и дело. Но, с другой стороны, если и ехать, то только сейчас, покамест наши все в кампусе...

Отец присел, снова встал, походил по комнате и решительно, как совершают второстепенные действия все не сильные характером люди снял со спинки стула свой пиджак.

— Ладно, поеду городским транспортом, — сказал он. — А в аэропорту что-нибудь придумаю. Что-то я, Милочка, поверил в свой язык...

И он снова младенчески улыбнулся.

— Умница ты мой! — расчувствовалась Людмила. — Давай я тебя покормлю.

— После, Милочка, после. Рабочий день здесь рано кончают.

— Ну возьми с собой Андрюшу. Два мужика — сила. А я за это время вам такой обед приготовлю! Не то что у Аникановых.

Иван Петрович вопросительно посмотрел на сына.

— А что? Я всегда, — пожав плечами, сказал Андрей.

Он не разделял оптимизма отца в отношении языка и не верил что отец сумел что-то выяснить по телефону: это ведь не бланк заполнять. Но поехать в аэропорт и взглянуть повнимательнее на эту меднотрубчатую карту ему очень хотелось: что такое там не в порядке И куда они вообще прилетели? Может быть, в какой-нибудь параллельный мир?

На залитой солнцем площади среди клумб, полыхавших красными каннами, отец и сын сели на скамеечку под шиферным навесом и стали ждать. Местные с веселым любопытством поглядывали на них издалека. Наверное, не каждый день видели европейцев, ждущих городского автобуса.

Всякий раз, оставаясь с отцом наедине, Андрей испытывал чувство скованности и неловкости. Отец был так недостижимо умен и так беспросветно занят, что с ним не о чем было говорить, любые вопросы заранее казались натужными и глупыми. И отец тоже тяготился молчанием, но сделать ничего не мог. Очень редко им удавалось по-человечески разговориться. Последний раз это было в позапрошлом году, августе, на Миловидовском озере. Как-то так случилось, что отец, не очень любивший загородные вылазки, согласился поехать с Андреем на пляжи, куда с утра потянулся весь город, и они нашли в камыша плоскодонку с одним веслом и поплыли по ярко-синей воде. Гулкий стук мелких волн о сухие борта, теплая светло-серая, вся в веселых трещинках древесина, молодой, беззаботный

отец в рубаше с расстегнутым как сейчас, воротом... На голове у него был полотняный белый картуз в таких щеголяли герои довоенных кинокомедий. Заплыли далеко, к бывшим кожевенным заводам, собирали зеленую тину, сушили ее, складывая на бортах, и совершенно серьезно обсуждали, какое применение этому волокну можно найти в народном хозяйстве... Со встречных лодок спрашивали, что за заготовки делает Иван Петрович, а он отвечал: «Морскую корову собираемся завести». Сочетание солнечного тепла и озерной прохлады вызывало особый, пронзительно-тонкий озноб, небо шумным казалось от множества быстро плывущих крупных августовских облаков, и было во всем этом что-то еще, простое и печальное, от чего даже сейчас сладко болела душа. словно сговорившись, ни сын, ни отец никогда не вспоминали вслух про этот незабываемый день «А здорово мы тогда, помнишь?..» — даже мысль о том, что можно это произнести, вызывала у мальчика отвращение.

— Да, вот так, брат, — сказал отец, перехватив его беспокойный взгляд — Ехали, ехали — и приехали...

Он как будто боялся разговаривать с сыном, как будто бы ждал, что с него будет спрошено, и даже голос подал первым, вопреки обыкновению, чтобы упредить вопрос: «Папа, так как же это все у нас получилось?» Нет, Андрей не собирался об этом спрашивать: пусть останется надежда, что отец и сам толком не знает — и не хочет знать.

— Как-то странно все, — глядя в сторону, проговорил Андрей. Непонятно, зачем нас прислали...

— Та, испорченный телефон, — ответил отец и тихонько засмеялся. Москва уверена, что мы тут нужны, потому что такая информация идет от советника. Советник считает, что на кампусе кипит работа, потому что в этом его заверяет Звягин. А Звягин ждет и надеется, что все образуется... обще ко славе государевой и ко блаженству народному.

— А зарплату тебе кто будет платить?

— Наша сторона. Мы же здесь в порядке помощи.

— Ну, и что ты собираешься делать? — спросил, помолчав, Андрей. Есть у тебя какой-нибудь выход?

Вопрос прозвучал как-то очень сурово, и, почувствовав это, Андрей смутился. Но отец ответил серьезно и просто:

— Есть, сынок. Даже целых три.

— Целых три? — переспросил Андрей.

— Именно. Первый выход — сидеть тише мыши и делать вид, что занят я выше головы.

Но этого я, к сожалению, не умею.

— Не умеешь?

— Не умею. — Отец снова засмеялся и покачал головой. — Вот я и думаю: не будет нам тут добра. Не поворотить ли нам оглобли, пока не поздно? Пойти к советнику и сказать: так и так...

— Да ты что? — испугался Андрей. — Это ж позор!

— То-то и оно, — сказал отец, подумав. — То-то и оно, что позор. Значит, остается третий выход: выбивать нагрузку и честно пахать. Ничего другого я не могу.

— А выбить... сможешь? — осторожно спросил Андрей.

— Я постараюсь.

Он хорошо это сказал, без хвастовства («Да уж я уж постараюсь, конечно!») и без всяких там обиняков («Постараюсь, но... сам понимаешь, сынок...»). Нет, отец даже мысли не

допускал, что он *недостойн*. «Господи, может быть, я вообще напрасно мучаюсь?.. Хорошо бы так». У Андрея отлегло от души, он умолк и, стараясь не смотреть на отца (чтобы он, чего доброго, не прочитал в его взгляде благодарности и любви), стал рассматривать площадь.

Внимание его привлек потрепанный тускло-зеленый пикап, стоявший у тротуарной бровки в тени, неподалеку от павильона. Кузовок пикапа был затянут брезентом, на капоте блестели крупные никелированные буквы «Субару». О такой автомобильной марке Андрей никогда и не слышал. За рулем сидела немолодая европейка с седоватыми коротко подстриженными волосами. На ней было что-то ярко-розовое с широкими рукавами, половину лица закрывали такие же, как у советницы и у Кареглазки, большие радужные очки. Повернув голову в сторону павильона, женщина неотрывно, испытующе и в то же время горестно, со странной улыбкой смотрела на Тюриных, у нее было загорелое, но какое-то изнуренное, по-обезьяньи мученическое лицо с глубокими морщинами на щеках. Так, наверно, смотрят на нас из иллюминаторов штурмана и пилоты летающих тарелок. Под этим упорным взглядом Андрею стало не по себе. Он хотел обратить внимание отца на эту странную особу, но не успел: подошел автобус номер семнадцать, и у его помятого сине-желтого борта неожиданно возникла толпа. Люди, сидевшие на соседних скамьях и поодаль, на траве под акациями, на ступеньках подъездов, на столбах ограды, просто на корточках в тени, повскакивали и ринулись штурмовать семнадцатый номер: всем им срочно нужно было ехать в сторону аэропорта, в свои «бидонвили». Никакого ожесточения они при этом не проявляли: напротив, радостно гомонили, громко смеялись, подбадривали друг друга. Казалось, толкотня доставляет им удовольствие. Отец и сын побежали к открытой автобусной площадке вместе со всеми, их не отпихивали, кто-то даже пытался призвать людей к порядку, расступиться и дать иностранца дорогу, но все без толку. Нужен был особый навык, и, когда автобус тяжело скособочась, тарахтя и извергая из прогорелой выхлопной трубы черный дым, тронулся, Иван Петрович и Андрей остались в клуба этого дыма возле опустевших скамеек. Они посмотрели друг на друга и засмеялись.

— Является, что рок наш таков, — дребезжащим голосом Михайлы Михайловича проговорил отец, — отложив все суровые следствия непросвещения и скитающей жизни полуденных народов... Как-то неудобно, понимаешь, локтями толкать. Мало их угнетали?

Но вторая попытка, минут через десять, закончилась с тем же успехом. Андрею удалось повиснуть на никелированной штанге в середине обильной человеческой грозди, шевелением и густотою напоминавшей пчелиный рой, но у Ивана Петровича с носа сшибли очки, он наклонился, разыскивая их на бетонных плитах, и Андрей, конечно же спрыгнул и поспешил ему на помощь. К счастью, очки нашлись даже остались целы.

Тут дверца «Субару» распахнулась, и пожилая европейка (розовая рубашка ее поразбойничьи и очень простецки была подпоясана черным кушаком, тощие ноги обтянуты пестрыми не по возрасту брючками) вылезла из кабины и направилась прямо к ним. Обута она была пляжные шлепанцы, водить машину в такой обуви было, должно быть очень неудобно.

— Папа, держись, — вполголоса сказал Андрей. — Затеваешь провокация.

Но было поздно: старушонка уже приблизилась.

— День добрый, — сказала она на правильном русском языке с несколько неуверенной искательной интонацией, улыбаясь и по-собачьи заглядывая им в глаза — снизу вверх, поскольку росточек у нее был совсем небольшой. Не считите меня за назойливую, но я вижу, что вам нужно в аэропорт. Вы знаете, так у вас не получится, вы действуете слишком

деликатно. Если хотите, могу вас подвезти. Мне все равно предстоит ехать в ту сторону. Я ждала мужа, но он не пришел.

«Ну, вляпались, — сказал себе Андрей. — Как по-русски чешет, белогвардейское охвостье!»

Особого страха он не испытывал, скорее это было игровое волнение: уж раз за тобою идет охота — значит, *все правильно*, просто им удалось вычислить твое переходящее «я».

— Спасибо, — застенчиво улыбаясь, проговорил Иван Петрович. — Но нам туда и обратно, багаж хотим получить.

На месте отца другой, более опытный товарищ прикинулся бы непонимающим: «Сорри? Мадам спикс хинди, урду? Ранш? Бат... в общем, с чего вы взяли, что мы понимаем по-русски? Ах, вы за нами давно наблюдаете? Ну и валите отсюда...»

— О, получить багаж? — деловито переспросила белогвардейка. — Он что же, сравнительно небольшой?

«Да, небольшой», — мысленно просигналил Андрей, пристально глядя на отца и пытаясь взять события под свой контроль.

— Нет, как раз большой, — словно извиняясь, проговорил Иван Петрович. — Холодильник.

— И вы рассчитываете, что достанете попутную машину в аэропорту? настойчиво допытывалась дама.

«Нас будут ждать там друзья!» — мучительно напрягаясь, подсказал Андрей, но отец игнорировал правила шпионской игры.

— А что, — простодушно спросил Иван Петрович, — разве это так сложно?

— Сложно — не то слово, — отчеканила белогвардейка. — Вы совсем наивные люди. Пойдемте со мной.

И, повернувшись, не глядя больше на них, решительно зашагала к своему пикапу.

Иван Петрович вопросительно посмотрел на сына, тот пожал плечами.

— Мне что? — с деланным безразличием сказал он. — Это тебя предупреждали насчет *лифтов*.

Тут белогвардейка, подойдя к кабине, обернулась.

— Не бойтесь меня, пожалуйста, — сказала она. — Я не заразная, я москвичка, выросла на Переяславке...

— Мы не боимся, — ответил Иван Петрович, — просто стесняемся вас затруднять.

— Да что вы, — нервно передернулась белогвардейка, — это я должна стесняться, я же сама напросилась. Вижу — наши сидят...

«Наши»... У Андрея было чуткое ухо, и он отметил, что это «наши» прозвучало не так.

Меня зовут Тамара, — сказала старушонка, — а вас?

— Иван, — ответил отец, с галантным академическим поклоном пожимая ее маленькую морщинистую лапку, — а это мой сын Андрея.

— Господи, Иван, Андрей. — Белогвардейка тихо засмеялась, — Прелесть какая... Да садитесь же, садитесь. Кабина просторная у меня, уместимся все втроем. После скажете, что это бог Тамару послал.

— Садись, сынок, ничего, — сказал Иван Петрович. — Или ты хочешь у окна?

Ноги у Андрея вдруг ослабли. Неужели вот так сразу, без подготовки, без предупреждения, начнут колоть психотропные препараты?

Тамара сняла очки, оглядела Андрея с головы до ног. Глаза у на тоже были обезьяньи,

маленькие, черные, круглые, почти без белков и ресниц. Была она не так уж стара: во всяком случае не старше отца. И лицо у нее было даже привлекательное, такая седая секретарш машинистка со следами былой красоты, если бы не портили его две темные вертикальные морщины по обе стороны рта.

— Надо же, как мальчик меня боится, — проговорила она. — Весь прямо взъерошился. Ты думаешь, я сотрудница ЦРУ? Ты такой важны мальчик, что нужно тебя стеречь?

— При чем тут ЦРУ? — буркнул Андрей. — Вы эмигрантка. И я вас не боюсь.

— Тогда в чем дело? — открыв в улыбке желтые зубы, спросил Тамара. Садись, и поехали. Не загрызу же я вас, двоих мужчин.

Поглядев по сторонам, Андрей молча кивнул отцу, забрался в кабину следом за ним, захлопнул дверцу. Внутри «Субару» выглядела еще более неказисто: диванчик был весь изодран, декоративные панели сняты, ниша для приемника пустовала, и даже крышка бардачка отсутствовала.

— Согласись, — сказала Тамара, круто выворачивая руль, — согласись, что на таких машинах агенты специальных служб не ездят И вообще не эмигрантка я, у меня такой же советский общегражданский паспорт, как и у твоего отца. Показать?

— Спасибо, не надо, — ответил Андрей. — Мы же вам свой не показываем.

— Однако твой папа — смелый человек, — продолжала Тамара, резкими рывками выводя машину на проспект. — Не всякий на его месте решился бы сесть в мою «Субару». Ваши пугаются, шарахаются меня, как от чумной.

«Ах, все-таки „ваши“, — усмехнувшись, отметил Андрей. — Ну, и где ты прячешь свои ампулы и шприцы? Неужели в багажнике?»

Он покосился на отца. Отец сидел, расслабленно опустив плечи глядя перед собой, на лице его была улыбка страдальческого облегчения.

— Мой муж — местный, — уверенно пристраиваясь к автомобильному потоку, говорила Тамара, — я уже много лет за границей живу, но от советского подданства не отказывалась. Муж учился в Союзе, у него диплом МГУ, он работал в департаменте ирригации, после прошлого переворота его уволили с государственной службы, сейчас он в частной компании, временно, не по профилю, но — ничего, живем.

Она умолкла, ожидая вопросов, но Тюрины молчали, и она заговорила вновь.

— У нас небольшая ферма, личное хозяйство здесь, за дамбой, мы разводим коров и свиней. Если будут проблемы с мясом... Давно вы приехали?

Иван Петрович ответил.

— И где работать будете?

Отец ответил и на этот вопрос, но с некоторой заминкой. Тамара пытливо взглянула ему в лицо.

— А что вас смущает? Что университет закрыт?

Иван Петрович признался, что это и в самом деле его смущает.

— Но боже ж ты мой, — изумилась Тамара, — да разве вы виноваты, что вас прислали? В таком же положении, как вы, сидят и голландцы, и французы, и западные немцы, и чувствуют они себя прекрасно. Кто виноват, что эти унтер-офицеры не знают, что делать с университетом? Это шайка мошенников и мародеров, дурачье и ворье, которому не с кем воевать, кроме как с подростками на улицах собственных городов...

По тому, как напряглись локоть и колено отца, которыми он касался Андрея, мальчик понял, что обсуждение этой темы отца обеспокоило.

Должно быть, Тамара и сама почувствовала, что предмет разговора лучше сменить.

— Холодильник — замечательная идея, — сказала она. — Кто надумал? Мама? Передайте ей, что она молодец. Но выцарапать его будет не так-то просто. Нужно расположить к себе, вы меня понимаете?

— Мы захватили с собой сувениры, — ответил Иван Петрович, приподымая матерчатую сумку. — Ложки деревянные, еще кое-что...

— Матрешки, наверно? — улыбаясь, подсказала Тамара. — Все это очень мило, но... поймите меня правильно, они же бедные люди. Вот что: я вам, пожалуй, помогу. У меня с собой есть блок сигарет «Три пятерки», здесь их почему-то считают престижными. Знаете, приходит человек на прием в канцелярию и вместо визитной карточки выкладывает на стол пачку «Пять-пять-пять», то есть не пачку, а только коробочку, в которой всего лишь две сигареты. Одну проситель важно предлагает клерку, другую либо сам закуривает, либо забывает вместе с коробочкой на столе. И тем самым подтверждает свою репутацию. На черном рынке у этих сигарет совершенно несуразная цена.

— Давайте мы у вас их купим, — сказал Иван Петрович. — Нам уже выдали деньги.

— И вы не знаете, куда их девать? — Тамара снова засмеялась. Поберегите. Позже, когда хорошо познакомимся, я подскажу вам, на что их можно с пользой истратить. А с сигаретами потом разберемся. Договорились? Могу же я оказать соотечественникам маленькую услугу!

Андрей был разочарован: белогвардейская женщина не проявляла и малейшего интереса к Эндрю Флейму. Похоже, она даже не подозревала, *кого* везет в своей задрипанной машине. И вместо того чтобы выуживать сведения и запутывать в сети, без умолку говорила сама.

— Сперва на стенку готова была лезть. Жарко, дико все... Правда, мы не сразу сюда приехали — из-за политического положения. Долго мыкались по третьим странам, перебивались случайными заработками, а потом была объявлена всеобщая амнистия, и Жора решил вернуться Жора — мой муж, я его так зову... Но амнистия амнистией, а московский диплом признавать отказались, целую комиссию ему пришлось пройти, унижительная процедура. Ну да ладно... После разбогатели немного, нет — лучше сказать, разжились, обустроились, обзавелись хозяйством. И опять не слава богу: прошлой осенью уволили Жору из департамента, никак не могут простить, что учился в Союзе. Удивляюсь, когда читаю московские газеты: все в них пишут, что мы здесь страшно демократические, пробы негде ставить...

— Ну, на это, наверно, есть какие-то высшие соображения... неуверенно возразил отец.

— А наши с вами, значит, низшие? — быстро, как кошка лапкой, царапнула вопросом белогвардейка.

Отец ничего не ответил.

Миновали последние кварталы многоэтажного города, проскочили под насыпью, и в окно повеяло тонким ароматом. Иван Петрович зашевелился, потянул носом.

— Что это так пахнет? — спросил он.

— Апельсиновые рожи цветут, — безразлично ответила Тамара. Пикапчик мчался, брэнча, по рыжему шоссе, и в кабине плескался душистый ветер. На кочковатом лугу, повернувшись мордой к дороге, стояла корова, обыкновенная красная буренка, она растопырила ноги, рога и уши с таким ошалелым видом, как будто ее только что сбросили с парашютом.

Всё прошло как нельзя более гладко. Желто-синий блок «555» открыл сердца работников аэропорта. Десять оборванцев вынесли тяжелый ящик на руках и легко, как мешок с травой, забросили его в кузов пикапа. Тамара не позволила Тюриным даже подержать брезентовый полог «Субару».

— Пожалуйста, не надо, — сказала она с какой-то непонятной враждебностью.

Вся операция «Смоленск» заняла в аэропорту не более пятнадцати минут, и Андрей так и не успел взглянуть на меднотрубную карту на дальней стене главного зала.

— Ну вот, а ты говорил: «Провокация», — добродушно сказал отец когда Тамара, доставив их к подножию «Саншайна» и помахав обезьяньей лапкой, укатила.

— А никакой провокации и быть не могло, — возразил Андрей. — Просто гражданочка поняла, что здесь ей ничего не обломится. А то, что она работает на три разведки, я тебе гарантирую.

— Не знаю, не знаю, — сказал отец. — Хороший человек, и говорит от души.

Собственно, Андрей и сам не думал, что старушка работает на три разведки, но так уж сказало, и теперь стыдно было отступить.

— И все равно картоночку лучше выбросить, — упрямо сказал он отцу.

Отец послушно достал из нагрудного кармана визитную карточку Тамары, скомкал ее и бросил в угол, где наметена была куча мусора.

— Ни фиги себе конспиратор! — Андрей посмотрел на отца, покачал головой и, подобрав карточку, развернул ее, посмотрел.

Там было написано: «Миссис Тамара Маймон Уиллз, Белависта-хауз. Сикст майл» — и обозначены два телефона. «Звонить вы мне вряд ли станете, сказала в аэропорту Тамара, — это чистая формальность».

— Представляю, как мать обрадуется, — проговорил Иван Петрович, вкантовывая ящик в лифт.

Мама Люда и в самом деле обрадовалась, даже затанцевала.

— Привезли, золотые мои мужички, умнички вы мои! Как же это вам удалось? Ладно, ладно, после расскажете. Все расскажете, по минуткам, уж мы с Настенькой будем слушать вас, как я не знаю кого! Давайте распакуем скорее, пока этого хрумзеля нет, надо проверить, не растрясли ли в дороге. Он со службы явится, а холодильник уже горит.

Втроем затащили ящик на кухню, распороли швы, сняли холстину, разрезали ножом картон, открыли дверцу «Смоленска» — все цело внутри, поленья колбасы вроде даже еще прохладные.

— А говорит, пошлину надо платить в десятикратном размере! — язвительно сказала Людмила Павловна, обернувшись в сторону хозяйских дверей, — Сам плати, хрумзель! Ну, включайте скорее.

— А компрессор освободить? — спросил Андрей. — Об этом ты, конечно, не подумала? «Включайте, включайте...» Включалка нашлась.

Ему приятно было, что они с отцом выполнили-таки свою мужскую работу, поэтому он говорил с матерью ворчливо, но снисходительно. И она поняла это и растрогалась: поднялась на цыпочки и погладила Андрея по голове. Он и это ей простил, такое в его душе наступило затишье.

Наконец все было готово. Отец воткнул вилку в свободную розетку, лампочка внутри зажглась, но урчания не последовало. Минуту все молча ждали, потом Андрея осенило, он протянул руку и поставил вертушку на «норму». И тут же зарокотал мотор.

— Ур-ра! — закричали все, включая Настасью.

«Смоленск» придавал всему происходящему с ними какую-то основательность. Рядом с большим, как троллейбус, рефрижератором «хрумзеля» (мама Люда была мастерица на такие словечки) он выглядел, как ишачок рядом с битюгом. Но зато сиял новизной, тот, матвеевский, был даже не белого, а какого-то бетонного цвета. Правда, работал молча, а наш урчал.

Заполненный «Смоленск» приобрел совсем домашний вид. Любуясь своим маленьким хозяйством, Тюрины столпились вокруг. Самое время было произносить речи.

— Как русская печка, — заметил Иван Петрович, не подобрав, должно быть, у князя Щербатова ничего подходящего. — Только наоборот.

— Это — наша жизнь, — торжественно сказала Людмила Павловна, — без этого мы бы просто пропали. Вы с папкой молодцы, вал медали надо вручить...

— За взятие «Смоленска»! — сострил Андрей, и все рассмеялись так дружно, что он покраснел от удовольствия.

А Настя еще несколько раз повторила: «За взятие „Смоленска“!» И не в силах придумать что-нибудь столь же остроумное, но, ощущая неудержимое желание растянуть, продлить момент всеобщего веселья, стала говорить разные глупости.

— Теперь еще мяса достать бы — и заживем, — мечтательно проговорила Людмила Павловна. — Я вам и нажарю, и напарю, можно даже не здесь, чтоб хозяина не нервировать, можно и в нашей ванной, там кафельный пол, и розетки имеются.

— Ох, ох! — подзадорил ее Иван Петрович. — А размечталась-то, расхвасталась, стряпуха Яниха!

— А что? — довольно смеясь, отвечала мама Люда. — Зелень кое-какую имеем: щавелек, редиска. Картошки и хлеба, правда, нет, но ничего, проживем. Ведь где-то люди хлеб берут, я в офисе видела у одной белый хлеб, настоящий.

— Там своя пекарня, — сказал отец.

— А мы что, чужие? Пойду к самому советнику, раз вы говорите, что он такой хороший. Не может он отказать матери двоих детей. — Она вздохнула от избытка чувств. — Ну, ладно, все это пустое. Рассказывайте, как доехали, как получили, как обратно везли, все па порядку.

И в это время в замок входной двери вставили ключ. Все притихли. Андрей поежился от неприятного предчувствия. Ох, не стоила так бурно радоваться, даром это никогда не проходит...

Вошел Матвеев, темный и хмурый, непривычно парадный, в белой рубашке при галстукe, в брюках полной длины, с желтым тощим портфелем в руке.

— Добрый день! — приветливо сказала Людмила. — Со службы уже?

Матвеев что-то пробурчал и, глядя под ноги, прошел к себе. Людмила и Иван Петрович молча переглянулись.

— Уйдемте, ребятки, — шепотом сказала мама Люда. — Не будем мозолить глаза.

Они ушли в свою комнату, сели на кровати друг напротив друга, как в поезде...

— Дурной какой дядька, — все еще по инерции веселья проговорила Настя. — У него, наверно, электроциты разрушили косвенный мозг.

Никто даже не улыбнулся.

Вдруг на кухне что-то грохнуло, по коридору застучали шаги — и без стука, настезь распахнув дверь, к Тюриным ворвался хозяин. Лицо у него было плоское, передернутое, страшно белели белки глаз.

— Эт-то как понимать? — задыхаясь, спросил он. — Это что за самоуправство?

— Вы не волнуйтесь, — поднимаясь, сказал Иван Петрович. — Если мешает, мы его сейчас сюда перетащим.

— А я и не волнуюсь! — высоким страдальческим голосом вскричал Матвеев. — Это вам придется поволноваться! Капитально устроиться вздумали? Не выйдет, господа! Немедленно выматывайтесь отсюда! За простачка меня принимаете? Приехали на готовенькое! Рвачи. Это я квалифицирую как заместитель старшего группы! Рвачи.

— Послушайте, Володя, — побледнев, Людмила тоже встала, — но это неприлично! Уж если кто и рвач... Один, как волк, в огромной квартире, а у нас все-таки двое детей...

— Ах, вот так! — Матвеев трагически захохотал. — Значит, я все правильно вычислил! Значит, именно такая задумка — меня уплотнить! И не мечтайте! Я еще разберусь, кто это вбил вам в голову, что меня не продлевают. Я еще выясню, кто это сеет клеветнические слухи! И не меч-тай-те! Я еще вас тут пересажу! А ну, давайте ключ.

Людмила машинально сунула руку в карман передника. Матвеев шагнул к ней навстречу с судорожно протянутой рукой. Рот его был приоткрыт, вставные зубы сбоку синели.

— Давайте, давайте! Иначе ваш холодильник через минуту окажется вверх тормашками на площадке вместе со всем содержимым!

— Ваня! — вскрикнула Людмила, отступая в угол. — Ваня, беги скорей к Звягину.

— А что мне Звягин! — Матвеев продолжал на нее надвигаться. — Давайте ключ, не принуждайте меня к решительным мерам! Я человек слова, я шутить не люблю!

Настасья заплакала.

— Отдай ему, Мила, — сказал Иван Петрович. — Тут дело не в ключе.

Мама Люда молча протянула Матвееву ключ, нагнулась к Настасье, которая завалилась бочком на кровать и плакала, уткнувшись в горчичное покрывало.

— Вот, — удовлетворенно сказал Матвеев, пряча ключ в нагрудный карман. — Теперь не засидитесь. А за «волка» вы еще ответите, причем на достаточно высоком уровне.

И, оставив дверь распахнутой, ушел.

— Слушай, — нервно смеясь, сказала Людмила, — у него и вправду разрушен косвенный мозг. Что будем делать?

— Переезжать в гостиницу, конечно, — ответил Иван Петрович, — и как можно скорее. Мне вас тут страшно будет по утрам оставлять.

С кухни послышался противный скрежет бетона, по которому тащат металлолом.

— Беги! — вскрикнула Людмила. — Он же вещь изуродует!

— Что мне с ним, драться? — спросил Иван Петрович. — Заграница все-таки. И потом это же не Баныкин.

Баныкин был известный всей Красноармейской улице дебошир, он под Тюриными, на первом этаже. Когда Баныкин напивался, соседи снизу звали на помощь всех мужиков, в том числе и Ивана Петровича, и отец никогда не отказывался, хотя Баныкин, бывало, хватался и за топор. Зато, протрезвев, преувеличенно подобострастно с отцом здоровался: «Ивану Петровичу — академический поклон!»

— Ну, если не ты — тогда я!

И, обежав широкую кровать, Людмила ринулась к дверям.

— Мама! — вскрикнула Настя. — Мамочка, не уходи!

— Прекрати истерику, мать! — сурово сказал Андрей. — Пойдем, папа, обзвоним гостиницы. Может, где-нибудь есть номера.

В квартире стало тихо.

— Да нет, — проговорила Людмила шепотом, — нельзя такое прощать. Он же потерял человеческий облик.

И, выждав несколько минут, отец и сын вышли в празднично колышущий занавесками холл. «Смоленск» уже стоял около входной двери.

— Здоровый мужик! — сказал Андрей. — Знаешь что, отец? Звон прямо Букрееву.

— Ха-ха-ха! — раздался на кухне сардонический хохот Матвеев Иван Петрович сел к телефонному столику и набрал номер Звягина.

— Григорий Николаевич! Тут происшествие у нас. Матвеев требует чтобы мы немедленно съехали с его квартиры. Что значит «жалуюсь»? Я не жалуюсь, а ввожу вас в курс дела. Позвать его к телефону?

— Я позже сам позвоню! — крикнул с кухни Матвеев.

— Он позже сам позвонит, — послушно повторил Иван Петрович. — Так, так... Понятно. Хорошо, спасибо.

И он медленно положил трубку.

— Что «спасибо», что значит «спасибо»? — нетерпеливо спросил Андрей.

— Ничего, сынок, — тихо ответил отец. — Поди узнай, — он мотнул головой в сторону кухни, — как звонить в гостиницы.

— Все телефоны на листке под стеклом, — спокойным и будничным голосом отозвался Матвеев. — С этого и нужно было начинать.

— Что нужно и что не нужно — это мы без вас разберемся! — не выдержав, крикнул Андрей. — И не думайте, что все для вас уже кончилось! Мы расскажем Виктору Марковичу, как вы тут...

— Сказитель! — смеясь, проговорил невидимый хозяин. — Джамбул Джабаев. Акын. Кок-сагыз.

Отец потерянно смотрел на листок под стеклом.

— Начни с «Эльдорадо», там вроде попроще, — шепотом подсказал Андрей.

— Да был такой учебный текст, — виновато улыбаясь, невпопад ответил Иван Петрович. — Как заказывать гостиницу. Вот, припоминаю...

Он снял трубку, набрал номер, прислушался и, дернувшись, быстро и преувеличенно бодро заговорил по-английски. Андрей даже рот раскрыл от неожиданности. Впервые в жизни он слышал, как отец «щелкает по-иностранному», и должен был признать, что недооценивал своего старичка. Лицо Ивана Петровича было судорожно скомкано, губы вроде как обметаны, словно лихорадкой, чужеземной артикуляцией, но речь лилась плавно, как соловьиная песня, в чуть более высоком регистре, чем он говорил по-русски, и даже с какими-то китайскими модуляциями. Понятно было только, что отец произносит по буквам свою фамилию (наверное, администратор не разобрал) и что-то выясняет насчет багажа и транспорта. Наконец, отец очень по-заокеански произнес «О'кей», положил трубку и, вытерев струившийся по лбу пот, откинулся к спинке кресла.

«Ты молодец!» — хотел сказать ему Андрей, но затылком почувствовал, что в дверях стоит Матвеев, заинтересованный разговором, и потому только спросил:

— Ну, что?

Отец помедлил с ответом. Не так уж часто большие дети становятся свидетелями абсолютного торжества родителей, реже, чем хотелось бы и тем, и другим. Видно было, что Иван Петрович вложил в этот разговор половину своих душевных сил — и блаженствовал теперь, как заслуживший прощение ребенок.

А Матвеев терпеливо стоял в дверях, вот он отпил то ли из стакана, то ли из бутылочки, булькнул горлом. Андрей не видел этого, но слышал, и по спине его и по шее пробежали мурашки.

— Номер есть, в «Эльдорадо», — сказал отец.

— Ну и езжайте немедленно, — вмешался Матвеев, — не упускайте своего счастья.

Андрею послышалась в его голосе издевка. Он обернулся — Матвеев уже скрылся в глубине кухни, пошел, должно быть, доедать свою кашу. А может быть, в том, что делает с ними Матвеев, все же есть какой-то смысл? Может, с взяточдателями именно так и поступают? Да, наверное, он имеет право так поступать. Может быть, сам советник дал ему указание не чикаться с этими блатнягами из Щербатова.

— Ладно, чего там, — сказал Андрей, — пойдем ловить машину. Хоть «лифты» и запрещены, но нас вынуждают. — И, не дождавшись одобрения своих слов, прибавил: — Уж если мы из аэропорта приехали, то в городе как-нибудь.

...Все оказалось, однако, не «как-нибудь». Наступил конец рабочего дня, в обе стороны проспекта тесно шли машины. Тюриным был нужен какой-нибудь пикап, микроавтобус или автофургон. Но фургончики ехали забитые служащими и военными, а порожние не останавливались, даже когда Андрей и отец выскакивали на проезжую часть и махали руками: их объезжали стороной, иногда шоферы сердито что-то кричали, иногда махали в ответ рукой. Решив, что выбрано неудачное место (запрещающий знак или что еще), отец и сын отошли подальше от дома, но и там результат был тот же.

Между тем начало темнеть — и намного быстрее, чем у нас в Союзе: небосклон сделался красным, затем густо-коричневым, усилилась духота, бензиновый чад стал особенно едок, зажглись фонари, машины повключали, а скорее стали баловаться дальним светом.

Ловить машину стало сложно и даже опасно: лупят тебя фарами в глаза, и не разберешь, грузовик это или малолитражка, а когда проскочат мимо махать руками уже поздно.

Стало совсем темно, повеяло ночным холодком, и Андрей отчаялся. Он вопросительно посмотрел на отца, тот виновато развел руками: «Что я могу сделать, сынок?»

Вдруг сзади послышался знакомый скрипучий голос:

— Странно вы, друзья, предлагаете себя на уровне, так сказать, исполнения.

Тюрины обернулись — за одним из красных пластиковых столиков, выставленных прямо на тротуар у стены кафе с неоновой вывеской «Табаско», сидел их вчерашний попутчик Ростислав Ильич. Он как будто бы только что материализовался из вакуума и еще не успел остынуть. Пышные белые волосы его были подсвечены розовым, на бледное остроносое лицо падал отблеск неона, и оно казалось юным и даже веселым. Ростислав был в белой рубашке с короткими рукавами, она сама светилась неоном изнутри, перед ним на столике стоял высокий стакан, до краев наполненный розовой водой. Андрей даже не слишком удивился, увидев этого человека. Ростик-Детский настолько был необходим, что не мог не возникнуть.

— А почему вы тут? — спросил Иван Петрович.

— Станный вопрос. Я здесь живу, в этом доме, а вот ваши танцы возле моего подъезда

мне, честно говоря, непонятны.

Ростислав Ильич отхлебнул из стакана, облизал губы, широким жестом указал на свободные места рядом с собой.

— Прошу составить мне компанию. Я вывез супругу на родину и первый день холостяк. Сахарной воды не желаете? Больше здесь, увы, ничего нет.

— Спасибо, некогда нам! — жалобно сказал Иван Петрович. — Переезжаем в «Эльдорадо», машину надо поймать.

— Ах, вот оно что, — усмехнувшись, проговорил Ростислав Ильич. Володичка Матвеев не перенес. Вас это огорчает? Напрасно, друзья мои, напрасно. Я тоже воспротивился бы, если бы вас ко мне подселили. Привилегией, как женщиной, делиться не принято, ее завоевывают, домогаются, вымучивают и зорко ото всех стерегут.

Ростислав Ильич говорил все это вяло и расслабленно, едва шевеля липкими, словно подкрашенными губами, и, точно в воздухе пронеслось, Андрей вдруг почувствовал, что все, что болтали о его Катеньке, переводившей «рога на копыта», — правда. Именно за этим столиком Ростик-Детский пережил немало черных минут, дожидаясь, когда ее привезут на блестящей японской машине. Да, именно здесь, за мокрым пластмассовым столиком под полосатым тентом в крохотном кафе, где все, и официанты, и хозяин, знают о твоём горе и сочувственно поглядывают издали... и вот подкатывает приземистая и холодная, как лягушка, машина с порочно затемненными стеклами, приоткрывается дверца — и показывается длинная женская нога с аристократическим узким коленом... Эта картина как-то сама собою возникала, словно предвидение будущего... а может быть, он просто где-то это читал.

— Что ж, я помогу вашему горю, — сказал, наконец, Ростислав Ильич и, поднявшись, вышел на край тротуара.

Отец и сын с волнением за ним наблюдали.

Минут, наверное, пять Ростик-Детский стоял неподвижно, потом что-то высмотрел в сплошном огненном потоке и, оттопырив большой палец, помахал рукою где-то внизу, на уровне колен. Полоса белых огней стала извиваться, разделилась на две, замигала желтыми сигналами перестройки и через мгновение прямо возле столиков «Табаско» остановился белый фургон. Он был точно такой же, как университетский, только за рулем сидел солдат в удалой кепчонке, которую Андрей про себя называл австрийской, а рядом с ним — важный, словно маршал, широколицый унтер-офицер с насупленными бровями, в мундире цвета хаки, украшенном множеством пряжек и блях. Ростислав Ильич сам открыл дверцу кабины, поставил ногу на подножку и начал что-то объяснять. Вначале унтер слушал его недовольно и брюзгливо, потом, видимо, Ростик чем-то его развеселил, он снисходительно заулыбался и вылез из кабины.

— Интендант попался, — вернувшись к столику, сказал Ростислав Ильич. — Ну, я тут с ним посижу. Когда разгрузитесь — пришлите машину обратно, поняли? Ну, вперед.

— Вы что же, знаете его, этого интенданта? — шепотом спросил Иван Петрович.

Ростислав Ильич рассмеялся.

— В первый раз вижу. Запомните, любезный друг мой: безвыходных ситуаций не бывает... за исключением тех, которые заключены в нас самих.

К гостинице «Эльдорадо» они уже подъезжали вчера (подумать только, вчера, а не девяносто лет назад!), но тогда, при свете дня, это здание показалось им привлекательным и даже изящным, а сейчас, тускло освещенное, приземистое и грузное, оно было похоже на вражескую крепость, которую еще предстоит штурмовать.

По-видимому, интендантский фургон был в городе известен, потому что его появление произвело на гарнизон гостиницы впечатление. Видно было, как внутри вестибюля за широкими стеклянными дверями заметались люди, тучный администратор в желтой униформе выскочил на улицу, подбежал к кабине со стороны мостовой, и водитель важно, как генерал, бросил ему несколько фраз — видимо, лестных для репутации Ивана Петровича, потому что администратор, обойдя кабину кругом, почтительно предложил пройти вовнутрь для оформления.

— Не беспокойтесь о багаже, сэр, — прибавил он, видя, что Иван Петрович оглядывается на кузов. — Наш персонал им займется.

И точно: из вестибюля, как в цирке, выбежали униформисты и, распахнув заднюю дверь фургона, рьяно принялись за разгрузку. Один, тщедушный старичок, которому от желтого мундира с галуном досталась только куртка (он был в трусах и босиком), взвалил на спину ящик с холодильником и, не выпуская из сжатых губ сигарету, понес. Босые ноги его при этом слегка заплетались.

— Да боже ж ты мой! — вскрикнула Людмила. — Он же надорвется, умрет! Андрюшенька, помоги!

Андрей рванулся следом, но солдат-водитель, командовавший разгрузкой, остановил его и что-то весело сказал. Андрей понял так, что старый человек должен все время доказывать, что он еще способен работать.

В вестибюле царил таинственный полумрак: низкие своды, широкие арки, толстые колонны темно-зеленого камня, грузные кресла, обтянутые полопавшейся змеиной кожей, бронзовые урны и пепельницы на высоких витых ножках — все это было тускло освещено лампадами из-под плафонов, имитирующих груды драгоценных камней.

— Страшно здесь, — прошептала Настя, сидя на краешке кресла и тревожно осматриваясь. — Заколдованное здесь все. Домой хочу, в Щербатов.

— Напугал ребенка, хрумзель проклятый! — сердито сказала мама Люда. Арии еще поет, интеллигент...

— Да что вы, ребята! — с наигранной бодростью воскликнул Андрей. Вполне приличное местечко. Даже красиво!

В ответ мама Люда только вздохнула. Она уже начала привыкать.

Между тем стояние отца у конторки затянулось... Тучный администратор, ознакомившись с тюринскими документами и сообразив, что никакого отношения к вооруженным силам Иван Петрович не имеет, пришел в сильнейшее раздражение. Досадуя на себя за преждевременную угодливость, он стал тянуть время: кому-то позвонил, кого-то куда-то послал о чем-то узнать, постоял, пожевал толстыми губами, не глядя на терпеливо ожидавшего Ивана Петровича, и вдруг показал пальцем на сваленный в центре холла багаж и осведомился, что конкретно находится вон в том большом ящике. Особой проницательности при этом и не нужно было проявлять, поскольку упаковывались впопыхах, и из-под

перекошенной холстины виднелись ножки холодильника на колесиках.

Людмила почувствовала осложнения и заволновалась.

— Беги, подскажи отцу, — шепотом, хотя никто вокруг не мог понять ее слов, сказала она сыну, — пускай не говорит, что там холодильник. Просто вещи, всякая всячина. Не станут же они проверять, не имеют права!

Андрей укоризненно посмотрел на мать («Ну, что ж ты шепчешь, кривишься, жестикулируешь, как заговорщица, по твоему поведению все понятно!»), однако спорить не стал. Но было уже поздно: когда он подошел к отцу и тронул его за плечо, отец с вымученной улыбкой, присев и опустив ладонь параллельно полу, объяснял администратору, что там холодильник, не очень маленький, вот такого размера.

Администратор усмехнулся.

— Вот такого размера... — повторил он, вроде бы передразнивая произношение отца, что само по себе было уже неприлично, и поднял ладонь выше своей головы, а рост у него был изрядный, так что клерки у него за спиной имели полное основание захихикать. — Не разрешается.

Отец стал торопливо объяснять, что холодильник — это часть багажа, не выбрасывать же его на улицу, пусть так и остается нераспакованным. Но чем больше он суетился и заискивал, тем более непреклонным становился администратор: возможно, поведение Ивана Петровича он истолковывал как признак невысокого положения — и был по-своему прав.

— Не разрешается, — повторил администратор, не слушая Ивана Петровича. — Здесь гостиница, а не частный дом. Сегодня холодильник, завтра корова...

Клерки, смутно мерцавшие желтыми камзолами в темноте за его спиной, вновь угодливо захихикали.

Тут мама Люда решила вмешаться. Оставив Настю возле багажа одну, она подбежала к мужу.

— Скажи ему, — задыхаясь, проговорила она, — скажи ему, что у меня больной желудок, что мне нужно держать при себе кипяченую воду...

И она улыбнулась администратору такой чудовищной искривленной улыбкой, что Андрей не выдержал.

— Мама! Ну, мама же! — простонал он, густо краснея. — Научись ты себя уважать!

— Уважать? — прошипела она, обернувшись. — Уходи немедленно, или я разобью твою красную рожу! Уважать! Куда мы отсюда пойдём? На улице хочешь остаться?

«Красную рожу...» Эти слова Андрей услышал от мамы Люды впервые. До сих пор между ними действовало молчаливое соглашение: мама делала вид, что ей совершенно неизвестно о манере сына краснеть, а он принимал на веру то, что она его мучений не замечает. Ни разу она не удивилась: «А что ты, собственно, краснеешь?» — и не раздражилась: «Да перестань ты, в конце концов, краснеть!» Сознательно или нет, но мама Люда поддерживала его тайную надежду на то, что окружающие вообще ничего не замечают, что все ему только *бластится*. Лишь однажды произнесла: «А мой сыночек меня ревнует!» — мама Люда вроде бы проговорила, но и то не явно. И вот пожалуйста: «Разобью твою красную рожу!» Значит, все и всегда она видела, никаких надежд больше нет. Андрей оцепенел от этого простого и беспощадного открытия. Если бы он мог... если бы он был уверен, что это поможет, он перегрыз себе где-нибудь вену, чтобы вылилась горячая красная кровь, а ее место заняла бы другая, голубая, холодная, светящаяся лунно и ясно...

— Ничего не могу сделать, — отвернувшись, сказал администратор. Очень жаль, но

таковы правила. Может быть, у вас на родине и разрешается все это и многое другое, но, насколько мне известно, во всем цивилизованном мире...

Если б нашелся сейчас человек, который напомнил бы Андрею про Робин Гуда манговых зарослей, то человек этот стал бы ему лютым врагом. К счастью, об этих постыдных мечтаниях было известно лишь ему одному.

— Что он говорит? — приплясывая и дергая отца за рукав, повторяла мама Люда. — Да переведите мне, наконец, что он там говорит! Не можем же мы остаться на улице! С ума сойти! Ночью, в чужой стране... и никто, никто не проявит сочувствия!

Подбородок ее затрясся, глаза налились слезами: Людмила Павловна не выдержала перегрузок. Отец и сын тревожно переглянулись: обоим было известно, что успокоить маму Люду, если она разрыдается, будет чрезвычайно сложно. Поэтому Андрей решил на хитрость.

— А где Настасья? — ахнул он, обернувшись.

Он постоянно наблюдал за сестренкой (это вошло у него в привычку) и отлично видел, что Настасья от нечего делать вылезла из кресла, где ее оставила мать, и пошла вокруг толстой колонны, ведя по ней пальцем и глядя пустыми глазами по сторонам. Но мама Люда об этом не знала. Всплеснув руками, она побежала на поиски. Вытащила дочку из-за колонны, отшлепала ни за что, ни про что, пихнула в кресло и села на один из чемоданов, расправив подол платья и зорко глядя кругом: сторожила вещи, на которые никто не посягал.

— Бат уот уилл уи ду? — уныло и неуклюже спросил отец.

Вполне приличная фраза эта прозвучала как лепет растерянного ребенка, и губы отца не слушались.

В это время орава униформистов со стрекотом вкатила в вестибюль вереницу гигантских кофров на подшипниковых колесиках. Этот стрекот и легкость, с которой кофры перемещались, очень забавляли носильщиков, они радостно смеялись и галдели. А у стойки появился хозяин нового багажа, высокий пожилой иностранец, он был в шортах, открывавших обильно поросшие седым волосом ноги, а на заднем карм шорт красовался веселый американский флаг. Все внимание администратора переключилось на этого джентльмена, и они быстро заговорили на совершенно невозможном английском, Андрей не понимал единого слова, а администратор то доверительно перегибался через свой прилавок, то делал подобострастную стойку. Американец держался с ним по-товарищески и называл его «мой дорогой Дени». Навалившись грудью на стойку, он рассказывал что-то забавное. Дени, почтительно похохатывая, оформлял ему номер. На Ивана Петровича оба они обращали ни малейшего внимания: стоишь — ну и стой.

— Так что же нам делать? — повторил отец, на этот раз более настойчиво.

— Я вам уже все объяснил, — грубо ответил Дени. — Поищите другую гостиницу, где вам разрешат установить в номере свой собственный холодильник.

Таким во всяком случае был смысл его ответа.

Американец, с нетерпением ожидавший, когда ему можно будет продолжать прерванный рассказ, поинтересовался, какие у мистера проблемы. И Дени стал с юмором излагать, в чем заключаются претензии *гостя*. Американец обернулся, окинул взглядом тюринский багаж (рядом с его пузатыми кофрами коробка холодильника выглядел достаточно скромно) и, смеясь, сказал:

— А я думал, в русской Сибири не делают холодильники.

Эта шуточка, вполне беззлобная, привела администратора в восторг. Он даже позволил себе, перегнувшись через конторку, легонько дотронуться темной рукой до плеча старикана, как бы желая сказать: «Ну, сэр, вы даете!»

И Иван Петрович решился. Он подошел к маме Люде, которая, сидя на чемодане, запрокинула к нему лицо и долго выпытывала, что он собирается предпринять, потом, нагнувшись, так же доля копалась в сумке, и Андрей с ужасом увидел, как отец возвращает назад, прижимая к груди завернутый в газетную бумагу и перемотанный белыми нитками предмет, в котором без труда угадывалась бутылка. Стекланный груз мама Люда всегда упаковывала собственноручно и только так — обертывая каждый предмет толстым слоем мятой газетной бумаги и обвязывая нитками, почему-то непременно белыми.

Американец и Дени с интересом наблюдали за действиями Ивана Петровича. А он вернувшись к стойке, с заносчивым видом спросил, где находится «дженерал-мэнэджер». Дени хотел сделать вид, что не понимает вопроса, но передумал, потому что американец бесцеремонно дотронулся до бутылки пальцем и дружелюбно сказал:

— О, русская водка! Гуд уэй! Хороши пут!

Тогда администратор с неохотой вышел из-за своей конторки и проводил Ивана Петровича до двери под аркой в глубине служебного отсека. Это была глухая темная дверь без таблички и даже без наружной ручки. Дени почтительно постучал костяшками пальцев, прислушался, пригнув голову, потом легонько толкнул дверь и жестом одновременно предложил Ивану Петровичу войти, сам же остался снаружи. Он вернулся за стойку и, уже не любезничая с американским стариком, видимо, озабоченный тем, что происходит за темной дверью, оформил клиента, выдал ему ключ и сделал знак обслуге, чтобы несли чемоданы американца наверх.

Иван Петрович вышел от «дженерал-мэнэджера» с бледным, но торжествующим, лоснящимся от волнения лицом, безобразно замотанной бутылки у него в руках уже не было, он держал за уголок небольшой лоскут голубой бумаги — записку, адресованную, очевидно, «дорогому Дени». Толстяк взял бумажку, просмотрел и, насупившись, протянул Ивану Петровичу ключ на массивной бронзовой груше с вставленным в нее граненым стеклышком, имитирующим, видимо, изумруд. Никакого указания своим подчиненным он не сделал, и после некоторого топтания на месте Иван Петрович сам сказал тощему старичку в желтой куртке и трусиках, чтобы тот поднимал вещи на третий этаж. Осторожный старичок, однако же, счел необходимым подойти к Дени с запросом, и Дени, не поднимая головы от своих бумаг, что-то буркнул. Только после этого униформисты дружно понесли багаж к лифту.

Лифт в «Эльдорадо» был просторный, но вместить весь багаж с постояльцами и оравой униформистов он не мог. Мама Люда с Настей поехала присматривать за вещами, а Андрей с отцом пошли на третий этаж пешком. Душа у Андрея изболелась от стыда и недоумения: за что их так? Ведь не мог мистер Дени знать, что они *недостойны!* Отец поднимался молча. Лишь на площадке второго этажа он остановился перевести дыхание и пробормотал:

— Рус ин орбе.

— Что? — не понял Андрей.

— Я говорю, мы — *рус ин орбе*, сельский элемент в мире, — пояснил отец.

Как будто это что-нибудь объясняло.

Гостиница «Эльдорадо» считалась, должно быть, когда-то шикарной. Коридоры ее были застелены паласами того же цвета, что и стены: ресторанный этаж — синий, второй — зеленый, третий — красный. Чем выше Тюрины поднимались по лестнице, тем гуще

становился несвежий, даже затхлый воздух с запахом сырых валенок. На лестничных площадках висели картины, изображавшие то ли виды ночного города, то ли подземелье, загроможденное кованными сундуками. Дверь одного из номеров второго этажа была распахнута настежь, там виден был небольшой холл с креслами и журнальным столиком, за балконной решеткой — огненная панорама Нижнего города, оттуда веяло ветерком, который пах лекарством и электричеством. И, проходя сквозь поток этого инопланетного ветра, Андрей встрепенулся. В самом деле, о чем горевать? Да пусть Матвеев повесится в своих апартаментах, а мы будем радоваться жизни в гостинице «Эльдорадо». Нам, Тюриным, везде хорошо, где мы есть.

Но, когда они прошли по длинному коридору третьего этажа, устланному влажным красным ковром, завернули за угол и вошли в раскрытую дверь, возле которой уже стояли первые прибывшие чемоданы, — все его оживление улетучилось без следа. Комната, которую от щедрот своих выделил им «хрумзель», могла вместить в себе четыре таких номера. Это была крохотная клетушка с двумя кроватями да двумя тумбочками (одна с вентилятором, другая с лампой-ночником), между которыми можно было пройти только боком. Правда, еще имелся миниатюрный предбанничек, в который был уже втиснут «Смоленск». Маленькое окно, затянутое ржавой сеткой, выходило в глубокий и темный, словно колодец, гостиничный двор, оттуда пахло помоями. Над кроватями к потолку приделаны были какие-то странные балдахины с присборенной грязно-серой марлей: видимо, это и был тот самый противомоскитный полог, о котором говорил доктор Слава. Андрей потянул за шнурок — полог с тихим шумом обрушился, образовав мутновато-прозрачную беседку, внутри которой, как чижик в сетке, оказалась Настасья. На другой кровати, обреченно сложив на коленях руки, сидела мама Люда.

— Подними, не нужно, — еле шевеля губами, сказала она Андрею.

Мальчик повиновался.

Иван Петрович сел рядом с женой, она подвинулась, скорбно поджав губы. Наступила пауза. Душно и горячо было так, как будто! все четверо, накрывшись одеялом с головой, дышали паром над вареной картошкой.

— Вот теперь-то мы и прибыли, — сказал Иван Петрович.

От звука его голоса Людмила словно очнулась.

— Что вы расселись? — вскочив, сердито спросила она. — А вещи? Кто будет смотреть за вещами?

Мужчины поднялись и поспешили в коридор. Носильщики, терпеливо ожидавшие у входа, принялись проворно затаскивать чемоданы в номер. Стало еще теснее.

«Как же мы здесь будем жить?» — потерянно думал Андрей, стоя между кроватями.

— Ну, что ты путаешься под ногами? — прикрикнула на него мать. — Не мешай, ступай пока в ванную, дай распаковаться.

— А зачем сразу распаковываться? — раздраженно осведомился Андрей.

— Надо, — отрезала мама Люда.

Андрей пошел в ванную, совмещенную с туалетом, это была тесная, как поставленный стоймя спичечный коробок, комнатка. Ванной как таковой не имелось: просто квадратная бетонная площадочка для стоячего душа. Андрей попробовал краны — вода текла, и холодная, и горячая. «Ну, хоть что-то...» — подумал он. Сквозь открытую дверь ему было видно, как мама Люда расплачивается с носильщиками — разумеется, консервами.

— Дождешься, голубушка, — громко сказал Андрей. — Я тебя предупредил.

Мама Люда сделала вид, что не слышит.

Оставшись одни, Тюрины распахали чемоданы по встроенным шкафам и под кровати, включили холодильник — через привезенный из Союза тройничок, потому что розетка в номере имелаась только одна. Холодильник послушно заурчал. Людмила молча погладила его по боку. Сразу стало спокойнее. Одну из тумбочек мать приказала выдвинуть в предбанник, втиснула ее рядом с холодильником, водрузила на нее двухконфорочную электроплитку.

— Как на Красноармейской, — проговорил отец.

— Сейчас обедать будем и ужинать, все сразу, — сказала мама Люда. Ничего, ребятки, заживем.

— А почему бы и не зажечь? — согласился отец. — Как говаривал Михаила Михайлович, предспальня есть, заспальня есть, а к прочему роскошу мы не удобны.

Мама Люда включила плитку — и тут же в номере погас свет. Темнота наступила такая плотная, что ее, как застывший вар, можно было колоть на куски.

— Вот те раз! — охнула в предбаннике невидимая мама Люда.

— Ничего не раз, — яростно сказал Андрей. — Пережгла проводку. Он встал, споткнулся о торчавший из-под кровати угол чемодана, нашарил дверной косяк.

— Ты куда? — жалобно проговорила где-то возле его плеча мама Люда. Не ходи, потеряешься. Подожди, пока зажгут.

— Ну прямо так и буду сидеть, — огрызнулся Андрей. — Пойду посмотрю, только у нас или во всей гостинице.

— Да чего там смотреть? — проговорил отец. — В окно все видно. Только на нашем этаже.

— Значит, пережгла, — с тяжелой злобой сказал Андрей. — Плитку выключила или нет?

— Выключила, — смиренно отозвалась мать.

— Фу ты, черт! — громко вскрикнул вдруг Иван Петрович и вскочил, что-то загрохотало.

— Мама! — позвала, проснувшись, Настя. — Мама, ты где?

— Я здесь, доченька, спи давай! У нас свет перегорел.

— Мама, иди ко мне, я боюсь!

— Иду, иду, родненькая!

Пробираясь к Настасье, мать с упреком сказала Ивану Петровичу:

— Что тебя подбросило? Укусил кто-нибудь?

— Да не укусил! — отозвался уже из коридора отец. — Хуже. Я ведь про машину забыл! Машина-то стоит, меня дожидается! Придется мне вас оставить. Коробку конфет дала бы мне, я подарю лейтенанту.

— А где я тебе ее найду? — спокойно спросила откуда-то снизу мама Люда.

— При слабом свете из дворового окна Андрей разглядел, что она уже сидит возле Насти, гладит ее по головке.

И тут вспыхнул свет, все подслеповато заморгали глазами. На пороге стояла смуглая широконосая женщина в белом платье и белой наколке, от этого лицо ее казалось особенно темным. Мельком взглянув на электроплитку, она быстро заговорила по-английски.

— Это наша горничная, зовут ее Анджела, — перевел Иван Петрович. Говорит, что разрешение нам дали только на холодильник, плитку включать нельзя: блокировка. Ну

ладно, разбирайтесь тут сами.

И, забыв про конфеты, отец убежал.

— Анджела постояла, глядя на Настасью, потом проговорила: «Ресторан еще открыт, можно пойти поужинать» — и ушла.

— Какой ресторан? При чем тут ресторан? — обеспокоилась мам Люда.

— Она сказала: «Устроили в номере ресторан!» — мстительно ответил Андрей.

Это было жестоко по отношению к маме, но очень уж он устал за сегодняшний день, и все на свете ему надоело.

— Надо было ей дать что-нибудь, — озабоченно сказала мама Люда

— «Дать, дать», — передразнил ее Андрей. — К Букрееву на прием захотелось?

— Хорошо, сыночек, все поняла, сыночек, — миролюбиво ответила мама Люда и потянулась погладить его по голове.

Андрей резко отстранился.

— Оставь! Ты мне рожу разбить собиралась.

— Прости меня, сыночек, — жалобно проговорила мать, — перепсиховалась я, виновата.

— Конечно, виновата, — злобно сказал Андрей, остановить себя в бешенстве он не мог, и чем ласковее его упрасивали, чем больше уступали — тем неуклоннее он двигался к исступлению. Только беспощадный отпор мог привести его в чувство. Сам он об этом знал, а мать и не подозревала. Ты одна во всем виновата! Пустили Дуньку за рубеж!

— Мама, — тревожно вскрикнула Настасья, изучившая уже нрав своего старшего брата, — мама, Андрюшка бесится!

— Замолчи, заморыш! — крикнул ей Андрей.

— А ты — выродок, — возразила Настя, — выродок из нашей семьи.

Андрей посмотрел на нее — и ему стало смешно... Смех сквозь злобу довольно противная штука, как чеснок с сахаром. А главное — маму Люду обидеть ему никак не удавалось, хоть плачь.

— Разбушевался шелудень, — ласково сказала она, — так завтра будет добрый день.

— И присказки твои идиотские! — закричал Андрей. — Ты мне скажи лучше, где я спать буду, где?

— С Настенькой, — глядя на него снизу вверх, ответила мать.

— Д-да? — Андрей даже задохнулся от бешенства. — Ты что, больная? Больная, да? Совсем вогнутая?

Трудно сказать, чем бы это кончилось, но тут вернулся отец.

— Что это вы? — укоризненно сказал он. — Благовестите на весь коридор. Все-таки чужая страна!

Андрей умолк и, сунув руки в карманы штанов, прислонился к дверному косяку. Штаны были те самые, голубые, «техасы» с бордовой прострочкой, которым он так радовался сегодня утром в «Саншайне».

— Отпустил машину? — как ни в чем не бывало спросила Людмила.

Она готова была вытерпеть любое оскорбление, только бы ее не называли «она».

— Ай, сама уехала, — Иван Петрович махнул рукой. — Шофер, мазурик, не стал меня дожидаться. Ну, поднимайтесь, пошли в ресторан. Не помирать же с голоду!

— Какой такой ресторан? — недоверчиво спросила Людмила.

— Шикарный! — сияя, ответил Иван Петрович. — Я заглянул по дороге. Серебряные

скатерти, белые приборы...

Отец, конечно же, хотел сказать наоборот, но никто его не поправил: зачем, когда и так все понятно?

— Ну и что там есть, кроме скатертей и приборов?

— Рыба с рисом, и пахнет хорошо. Но главное, Милочка, не это. Главное, денег не берут! Питание входит в стоимость нашего содержания. Только если пиво закажешь.

— Как, как? — растерянно переспросила Людмила. — Ну-ка объясни еще раз, что-то я от переездов от этих и в самом деле какая-то вогнутая.

Иван Петрович терпеливо объяснил, что стандартные завтраки, обеды и ужины для всех постояльцев «Эльдорадо» бесплатные: содержание в гостинице иностранных специалистов — временное, по вине местной стороны, которая обязана их обеспечить жилплощадью.

Ты понимаешь, Милочка, тут такая система. Пока нам не будет предоставлена квартира, мы на полном пансионе. Только пиво в пансион не входит. Но пиво бывает редко, когда завоз...

— Ай, брось ты о своем пиве! — возмутилась Людмила. — Я ничего не понимаю, ну ничегошеньки... Зачем же нас тогда гостиницей пугали?

— Ну, мать! — воскликнул Андрей. — И бестолковая ж ты! Скажи лучше, зачем мы приволокли столько консервов?

— Отстань, — отмахнулась от него Людмила, — и ничего ты не соображаешь.

Она вскочила, метнулась к двери, выглянула в коридор, возвратилась и встала посреди комнаты, опустив руки и повторяя:

— Что-то здесь не так, что-то здесь не так...

Вдруг она опустилась на колени и, вытащив из-под низкой кровати чемодан, распахнула его и стала лихорадочно рыться в одежде:

— Приборы серебряные, публика...

Достала черное платье с прозрачной вставочкой, посмотрела, смешно вытянув губы, как бы мысленно произнося слово «гипюр», потом со вздохом положила обратно.

— Ай, ничего не хочется. Пойду в сарафане, с голой спиной.

И, все еще стоя на коленях, обернулась и с вопросительной и виноватой полуулыбочкой посмотрела на своих мужчин. Хорошо, что отец вернулся вовремя, много было бы сказано здесь несправедливых слов...

На площадке второго этажа возле ресторанных дверей Тюрины остановились: Людмила Павловна поправила свою накидушку, Иван Петрович приосанился, Андрей пригладил вихры. Одной лишь Насте было наплевать на свой внешний вид, она спала на ходу, ей и ужинать то не хотелось.

Из-за дверей доносился звон посуды, пахло жареной рыбой и чесноком.

— И все равно — что-то здесь не так, — упрямо и даже ожесточенно сказала Людмила. — Смотри-ка, наш идет, давай спросим.

По лестнице поднимался белый человек, это был плотный чернявый коротыш с широким бледным лицом и косо спадающей на лоб челкой. Услышав, что его распознали, он досадливо нахмурился и хотел побыстрее пройти мимо, но Иван Петрович его окликнул:

— Товарищ!

Коротыш остановился и, обернувшись, сказал:

— Ну, зачем так громко? Мы же не в бане.

— Извините, товарищ, — сказал Иван Петрович. — Затруднение нас вышло. Вы

здешний?

— В каком смысле?

— Ну, здесь проживаете, в «Эльдорадо»?

— Допустим, здесь. Вы поскорее развивайте мысль, я спешу. Иван Петрович напрягся и, криво улыбаясь, соорудил неуклюжий вопрос — как из англо-русского разговорника:

— В котором часу в этом ресторане кончается ужин?

Чернявый хмыкнул:

— И это все ваши затруднения? Здорово, мне бы так. Вон там, — он фамильярно взял отца за локоть, развернул лицом к двери, вон там, под стеклышком, написано.

— А сами вы разве не здесь питаетесь? — осторожно спросил Людмила.

Коротыш пристально взглянул ей в лицо, улыбнулся медленно нехорошей улыбкой, покачал головой, как будто хотел вымолви «ай-яй-яй».

— Нет, — после паузы ответил он, — только ночую.

— А почему? Микробов боитесь?

Чернявый ответил не сразу. Он ловко, как фокусник, достал из нагрудного кармана одну сигарету, словно подчеркивая этим: «Прописью одну», — не торопясь, с удовольствием закурил.

— Во-первых, скумбрию не люблю, — сказал он, с прищуром глядя на маму Люду. — Здесь, кроме скумбрии, ничем не кормят. А во-вторых, у меня друзья в городе, вместе и питаемся, на кооперативной основе.

— Да, но здесь-то денег не берут! — не унималась Людмила. Коротыш сделал глубокую затыжку, помедлил.

— Что значит «не берут»? — с удовольствием сказал он. — Возьмут. Догонят и еще раз возьмут. Вы уже пообедали?

— Так они же сказали... — отворачиваясь от гневного взгляда жены, растерянно забормотал Иван Петрович, — они же мне объяснили, что входит в содержание...

Коротыш его остановил.

— При чем тут *они*? Ну при чем тут *они*? Их это не касается. Наши возьмут. Вычтут сорок процентов при выплате зарплаты — и дело с концом. А то больно жирно получится: инвалютный оклад да еще бесплатное питание для всей семьи.

Наступила тишина. Чернявый больше никуда не спешил, он наслаждался замешательством Тюриных.

— Новенькие? — спросил он сочувственно. — Из какой группы? Ах, наши. Замена Сивцова. Ну, вот мадам Звягина лично и потребует справочку от мистера Дени, питаетесь вы здесь или нет. А кстати...

Это было именно то, чего боялся Андрей, так оно всегда и начиналось. «А кстати, — с едкой ухмылочкой, и пальцы, дрожа от нетерпения, вытаскивают притертую пробочку из флакона с серной кислотой, — а кстати, как вам удалось, из города Щербатова?» И — белая, слепящая вспышка в глазах, и зашипела, пошла кровавыми пузырями кожа... Ну нет, только не это, сколько можно?.. Только не это! опередить, ударить первым, выбить из рук, обозлить, что угодно, только не это!..

— Ладно, пошли, — грубо и нарочито хрипло сказал Андрей. — Или туда или сюда. Есть охота.

Родители удивленно переглянулись: подобных выходов Андрей никогда себе не позволял — во всяком случае в присутствии посторонних. Чернявый склонил голову к плечу,

задумчиво посмотрел на мальчика.

— Как тебя зовут? — спросил он. — Андрей? А меня — Бородин Борис Борисович. У меня сын тебе ровесник. И не нравится мне, — он бросил в бронзовую пепельницу окурок, сипевший от влаги, — не нравится мне, когда нагличают.

И, круто повернувшись, пошел по лестнице вверх.

Андрей стоял набычась и видел, как в зеркале, свое вспухшее слезливое криворотое лицо с размазанными губами, свои огненные уши. И все-таки он опередил этого человека, ушел от ожога и слепоты, не дал себя *достать*. Значит, есть средства и способы, есть простые приемы, надо только все время быть начеку.

— Беги, ду-ра-лей, — отдельно проговорила Людмила и толкнула мужа в бок, — бери скорее справку, что от питания отказываемся. Тюря ты луковая... А то — «пиво, пиво...».

...Ночью Андрей слышал, как родители перешептываются на соседней кровати (еще бы не слышать, когда до них можно было дотянуться рукой).

— Ой, Ванюшка, — шептала мама Люда, — ты сам посчитай. У нас их двое, одеть-обуть надо, на вырост закупить, или ты думаешь, что тебя каждый год посылать будут? Нет, позволить себе ресторан мы не можем. Сорок процентов, шутка сказать, — половина зарплаты: Не волнуйся, я все устрою. Поезжай завтра в кампус спокойно, вернешься — будет тебе готовый обед. Главное — мясо купить, мясо. Валентина говорила, послезавтра будут давать, только рано нужно очередь занимать, часика в три-четыре. Будет мясо — будет жизнь, а с электроэнергией я пристроюсь. Это ж не стихия бездушная, предохранители людьми поставлены. Значит, люди их и снимут. Положись в этом деле на меня. Ты свое сделал, вывез нас за рубеж, теперь трудись спокойно и ни о чем больше не думай. А что ты смеешься? Мы ж за рубежом? За рубежом. Вон — полмира посмотрели. Думала ли Людмила Минаева, мечтала ли? Нет, Ванюшка, хоть и трудно, а я такая довольная, такая довольная... Ты о чем молчишь? О чем думаешь?

— Я все размышляю, — забубнил отец, он не умел разговаривать шепотом, все дудел, как в жестяную трубу, — я все размышляй куда эти сорок процентов пойдут? Местной стороне? А с какой стати В нашу казну? А по какой статье? Расходы господ Тюриных на питание? Да ведь не наша сторона нас согласна кормить? Это ж еще надо найти формулировку...

— Господи, о чем ты печалишься? Не беспокойся: деньги сдашь — статья найдется. Вот что у меня из головы не выходит — это Тамара которая вам с холодильником помогла. Двадцать лет не видела родины, бедная... и замужем за чужим мужиком... Разве с ним поговоришь вот так, как мы с тобой говорим? И наши от нее сторонятся, это ж так понятно... Зря вы ее карточку разорвали, хотя, может быть, и не зря. Машина, частная фирма, не такая уж она, выходит, и бедная. Интересно, чего ей все-таки от вас надо было? На крючок хотела взять? Под монастырь подвести? А зачем? Какая ей с этого выгода? Надо мне на нее посмотреть, я уж разберусь, я в людях кое-что понимаю. Слышишь, Ванюшка? Если встретишь ее в городе — не отбрыкивайся...

Отец молчал, мирно посапывая носом.

И так будет целый год, сказал себе Андрей, а то и больше, С ума сойти можно. А когда жизнь? Когда будет жизнь? Ведь не может быть, чтобы это и была сама жизнь. Нет, не может быть, не для этого я родился. Интересно, где спит сейчас Кареглазка. Высоко над цветами, среди звезд и летучих мышей. А хорошо сейчас на озере в Миловидове... камыши серые, вода зеленая, пасмурно, ветерок...

— Ох, как душно... — со стоном проговорила мама Люда. — Двери в коридор открыть, что ли? Никто нас не украдет, кому мы нужны?...

Мать зашлепала босыми ногами, брякнула бронзовой грушей, висящей на ключе, — и в комнатку повеяло живым воздухом. Настя, потная, измученная, заворочалась на скомканной простыне, благодарно вздохнула. Мама Люда подошла, наклонилась, заботливо прикрыла ее другой простыней, опустила полог, постояла, опять подняла, бормоча: «Вот и хорошо, вот и слава богу, вот и слава богу...» Это подделывание под детский лепет Андрея всегда сердило, он и сейчас хотел сделать матери выговор, но не успел: в голове у него затуманилось, и его круто повело в сон.

Ему снился искореженный, весь протоптанный ольховник, сквозь который гоняют скот, с бугристыми корнями, обломанными ветками, ободранной корой, из-под которой на ссадинах проступает красноватая древесина. Он шел по ольховнику, спотыкаясь на твердых буграх, конца краю не было этому больному редколесью... Отчего же так душно? Не должно быть так душно. Пот лился по лицу, мошкара липла к губам, лезла в глаза и в уши. Вдруг, раздвинув ветки, он увидел перед собою широкий Ченцовский луг. Возле ракит, темно и глухо клубившихся у самой воды, стояла туго распаянная красная палатка, внутри нее, кажется, горел фонарь. Рядом, потрескивая, плясал костерок, на нем что-то жарилось и жирно шкворчало. А позади костра стояли люди, четверо человек, мужчина, женщина, мальчик и девочка, несоразмерно высокие, худые и как-то странно перехваченные в бедрах, как будто изломанные полиомиелитом... Что-то толкнуло Андрея в грудь, и, пятясь назад, он отчетливо осознал, что это *ленинградцы*, те самые... Они глядели в его сторону неподвижно и строго, и длинные тела их струились вместе с дымом костра... Внезапно оттуда повеяло чем-то мучительно сладким, так, что Андрей застонал от голода — и проснулся.

Пахло мамиными блинами, и это была не галлюцинация, а самая что ни на есть реальность. В тесном, как шкаф, предбанничке горел свет, шипела сковорода, сквозь седую кисею полога видно было мамину спину, голую, с родинками, тесно перехваченную тесемками купальника.

Почувствовав, что на нее смотрят, мама Люда заглянула в комнату, приподняла полог и озабоченно улыбнулась:

— Проснулся, родненький? А я тебя уже будить хотела. Чтоб пешком через весь город не идти... в восемь часов автобус школьный проходит, надо тебе съездить, записаться на сентябрь. А может, и помочь учителям придется. Сегодня в последний раз автобус подают, я у Бориса Борисовича узнала. Сын его тоже едет, с ним и сядешь. Я бы и сама с тобой поехала, да вот Настя подвела, что-то с животиком у нее, не пошли ей холодные консервы.

— А ты тетю Анджелу блины учила пекти! — сообщила, выглядывая из душевого отсека, Настасья, она подъехала к двери, сидя на своем зеленом горшке.

Быстро обвыкаются маленькие: чужеземное имя «Анджела» Настя произносила с такой же естественностью, как «тетя Клава».

И тут до Андрея дошло: мама решила энергетическую проблему! Он вскочил с постели, выглянув в предбанник: обе конфорки были включены на полную мощность, на одной сипел чайник, на другой лопотала сковорода.

— Как это тебе удалось? — подозрительно спросил он, оглядывая проводку.

— Простые люди о простых делах всегда договорятся, — сказала мать, не подозревая, что провозглашает великую истину. — Живем и будем жить.

Душа Андрея исполнилась благодарности и смущения. Нужно было как-то загладить вчерашний срыв, и, разыграв простодушие, Андрей спросил:

— Ма, а что такое «шелудень»?

Мама Люда и стыдилась своего чернососошного происхождения, и гордилась им, как дитя. Лучшего способа растрогать ее и одновременно дать понять, что он просит прощения за вчерашнее, Андрей не мог бы придумать.

— Ой, и хитрый ты малый! — нараспев произнесла она улыбаясь.

— Весь в Минаевских, — ответил Андрей, ставя таким образом печать под текстом мирного договора.

За завтраком мама Люда завела разговор о той самой женщине-белогвардейке по имени Тамара: эта тема, по-видимому, очень ее занимала.

— А машина у нее новая, импортная? — с жадностью расспрашивала мама Люда. — А на усадьбу вы к ней не заезжали? А какая она из себя... ну, молодая, красивая? Как одета?

Полагая, что с этой шпионкой им более не придется встречаться, Андрей провел над родной своей матерью невинный, как ему казалось, эксперимент.

— Высокая, рыжая, — начал фантазировать он, — волосы по плечам. Лицо белое, глаза карие... В общем, ничего.

— Ничего, говоришь? — задумчиво переспросила мама. Посидела, глядя в сторону, потом поднялась, надела халатик, снова села.

— Ладно, как-нибудь, — сказала она со вздохом.

Наевшись блинов, напившись чаю, Андрей надел чистую белую тенниску и школьные брюки, блестящие, как зеркало, на задку, взял картонную папку со своими школьными документами (с этой папкой «Для доклада» он проходил оформление на выезд и суеверно увез ее, потертую, с собой за рубеж) и, провожаемый напутствиями мамы, вышел на улицу.

Было тепло и солнечно, все гомонило, пестрело, благоухало, чадило и мельтешило вокруг.

Возле приземистого подъезда «Эльдорадо» стоял паренек, тоже одетый по-советски, только не русский, как Андрей, а чернявый, плотненький и солидный, в руке у него был сверкающий хромом и никелем чемоданчик «атташе-кейс», выглядевший довольно нелепо и вызывавший представление о каком-нибудь кружке юных заграничных кадров. Паренек мельком взглянул на Андрея и застыл, лицо в полупрофиль, то ли глядя, то ли не глядя на своего ровесника. Волосы у него были расчесаны на косой пробор, как и у отца, Бориса Борисовича.

— Привет, — сказал Андрей.

Бородин-юниор терпеливо вздохнул и ничего не ответил, только по-старушечьи поджал губы. И манеры у него были тоже отцовские.

— В школу? — спросил Андрей.

— Ну, — ответил юниор.

— Автобус точно приходит?

— Придет, — процедил Бородин и отвернулся.

В самом деле, сказал Андрей, все здесь малахольные. То ли специально подбирают таких, то ли они мутируют под воздействием климата. Но отступать было не в его правилах.

— Ты в каком классе? — спросил он, подходя ближе.

Юниор раздражился и потемнел лицом — в точности, как его отец, как Володя Матвеев, как Григорий Николаевич Звягин. Даже физически чувствовалось, что темная

кровь быстро и горячо залила ему мозг.

— Что за манера лимитская заговаривать на улице с незнакомыми людьми? — желчно сказал юниор. — А может, я агент «Интеллидгент сервис»?

— Ха, — сказал Андрей. — Во-первых, не «интеллидгент», а «интеллидженс». За версту видать иностранца.

— И шуточки лимитские, — огрызнулся Бородин.

Но Андрея не так легко было втянуть в перебранку, если сам он этого не хотел.

— Да ладно выкальваться, — миролюбиво сказал он. — Тебя как зовут?

— А зачем это знать? Я все равно уезжаю.

— Что так рано?

— С чего ты взял, рано?

— А с того, что в гостинице живешь. Значит, меньше года.

— Для этой дыры хватит. Сыт по горло.

— А в каких еще дырах ты бывал?

Ничего не ответив, Бородин перешел на другое место, к стене «Эльдорадо», и отвернулся.

Тут внимание Андрея привлек приближающийся скрежет. Посередине проспекта, прямо по разделительной полосе, с двух сторон обсаженной зонтичными акациями и усыпанной опавшими голубыми цветами, катили три полугусеничных бронетранспортера. Люки их были наглухо задраены, маленькие пулеметные башенки повернуты в сторону обоих тротуаров с таким веселым видом, что по спине у Андрея пробежали мурашки. Он поглядел по сторонам — все прохожие как по команде выстроились вдоль стен домов, и даже любители черного кофе вышли из-за столиков, оставив свои чашечки и стаканы с водой, и отступили от края тротуара. Все смотрели на Андрея нет, он не ошибался, именно на него, точно вдруг договорившись, что вот он, спаситель, — с детским любопытством и страхом.

— Сдурел? — крикнул ему от стены Бородин. — Хочешь неприятностей?

Андрей проворно отбежал к стене. Видимо, он сделал это вовремя. Когда передний броневи́к поровнялся с «Эльдорадо», одна из башенок слегка шевельнулась, как будто погрозила Андрею пальцем. От скрежета все вокруг словно покрылось густой черной штриховкой, и, пока тройка весело чадящих боевых машин, таких свирепых под бледно-зелеными куполами акаций, не отдалилась, Андрей не мог ничего просить.

— Что это было? — обратился он к Бородину, когда бронемшины; скрылись за изгибом набережной. — Переворот?

Ему очень хотелось поговорить с ровесником, который был свидетелем настоящего переворота.

— «Что, что»... — передразнил его юниор. — Стоит, как пень. Это *сам* во дворец поехал.

— А где ж его машина?

— Он в одной из этих коробок сидит. В которой — никто не знает.

— И каждое утро здесь ездит?

— Первый раз вижу. Он все время дорогу меняет. Еще вопросы есть?

— Есть. Чемоданчик с шифром?

— Ага, — не без удовольствия сказал Бородин.

— Где достал?

— Что значит «где»? В дипшоппе, вестимо. Не на базаре же. А вот где ты папочку такую клевую отхватил? Пятерки везешь?

— Допустим.

— Да не «допустим». Для троек бы получше нашел. Считай, что плакали твои пятерки.

— Это почему?

— Сам увидишь.

В это время подъехал наш обычный автобус, далеко не новый, кое-где помятый, вроде как бы с похмелья, даже с выдавленной левой фарой. И шофер из кабины глядел нашенский, тощий, молодой и нахальный, на безрукавке у него было написано «Ай нид лав», а на лице — «Да ничего мне от вас не надо».

На диванчике напротив двери восседала дородная, но молодая черноволосая женщина, с густыми, почти сросшимися на переносице бровями, чем-то похожая на таможенницу, которая терзала маму Люду в шереметьевском аэропорту. Эта была, как невеста, вся в ослепительно-белом, узкая юбка едва не лопалась на ее бедрах, но вид имела не более девический, чем офицерские лосины литературных времен, и даже блузка с нежными рюшами и кружавчиками вызывала в памяти слово «вицмундир». Дело было не в одежде, а в лице — суровом, сосредоточенном, исполненном не женственного стремления во что бы то ни стало выглядеть чинно. Поднявшись по ступенькам, Бородин-юниор подобострастно, не кивнув, а копнув носом, поздоровался с нею:

— Доброе утро, Элина Дмитриевна!

— Доброе, — сухо констатировала женщина, едва кивнув могучей, основательно посаженной на короткую шею головой.

Малоприятная эта манера отвечать на приветствие в те времена была еще в новинку, и Андрей настолько удивился ей, что пропустил момент, когда еще можно было сказать свое «здрате», поскольку Элина Дмитриевна тут же отвернулась.

А юниор, не оглядываясь, прошел в глубь автобуса, сел на свободный диванчик и, поставив рядом с собою свой чемоданчик, принялся с деланной беспечностью смотреть в окно.

«Ну и черт с тобой», — подумал Андрей и, усевшись боком к двери напротив Элины Дмитриевны, окинул взглядом салон.

Он ожидал, что внутри будет полно разновозрастных ребятишек в красных галстуках и синих пилотках: где-то в киножурнале он видел, как ученики школы при совпосольстве украшают гирляндами высоких гостей. Но в автобусе ехали одни только толстые домохозяйки в застиранных платьях и дошкольная малышня. Тетки сплетничали на заднем широком диванчике, малыши баловались, толкались, пересаживаясь бочком с места на место, менялись жвачкой, переругивались задиристыми птичьими голосами — словом, вели себя как нормальные дети, только все нездорово взмыленные и более агрессивные, чем им полагалось по возрасту. «А ты кто такой? А ты? Да кто ты такой, чтоб я тебя слушал?» Несколько раз Элина Дмитриевна, сидевшая боком к их суете, медленно поворачивалась всем телом, высоко держа голову с черной короной пышной укладки, и выразительно смотрела на расчирикавшихся малышей, после чего какая-нибудь мамаша принималась их урезонивать. Кареглазки в автобусе не было и быть не могло, это Андрей понимал: если она и приезжала в школу, то только на отцовской машине.

Андрей стал осторожно присматриваться к Элине Дмитриевне. На руке у нее были массивные мужские часы, ошетилившиеся во все стороны кнопками и имевшие космический

вид. Интерес Андрея к часам Элины почему-то не понравился: она недовольно покосилась в его сторону, слегка покраснела (что едва было заметно при ее смуглой коже) и переложила белую тончайшей шерсти кофту с руки на руку так, чтобы часов больше не было видно.

Элина Дмитриевна страдала от солнечного света и тепла, хотя было не так уж и жарко: по смуглой шее ее на грудь бежали струйки пота, распространявшие луковый и одновременно женственный аромат. Девчонки, когда взмокнут от пота, пахнут репчатым луком, в их раздевалке после физкультуры хоть вешай топор. А это была крупная взрослая женщина, по стати — матрона... Но цвет ее губ, нежность кожи и эта манера мгновенно краснеть, очень расположившая к ней Андрея, — все говорило о том, что для директрисы при любом раскладе Элина Дмитриевна слишком еще молода.

Под школу отведен был одноэтажный особняк, к его широкой мраморной лестнице вела мощеная дорожка, с обеих сторон обсаженная все теми же кустами, которые цвели анилиновыми цветочками, напоминавшими о преждевременной бумажной весне наших первомайских демонстраций. Бородин-юниор понятия не имел, как называются эти цветы, и в ответ на вопрос Андрея пожал плечами:

— Господи, какая разница? Мне бы твои заботы. Удивительно, думал Андрей, как мало у некоторых людей интереса к окружающему миру... Чем они тогда все время заняты? Пересчитывают в уме варианты поведения? Мысленно ковыряют в носу? Мальчик не отдавал себе отчета в том, что и сам он только что проехал через иноземный город, поглощенный размышлениями о своем, — и почти ничего не увидел. Он не знал, что пройдет месяц — и Офир исчезнет, как сон, оставив в памяти его лишь эти сухо шелестящие оранжевые и лиловые цветы, не имеющие для него даже названия.

Не без трепета Андрей поднимался по парадной лестнице вслед за Элиной Дмитриевной и Бородиным. Снаружи школы почти не было видно, так, вестибюль один, напоминающий театральные входы в никуда, в темный и пыльный закулисный мир с хлябающими фанерными дверцами. Однако внутри оказалось просторное и вполне добротное помещение: что-то вроде длинного зала с паркетным полом и двумя рядами белых колонн, слева — широкие окна с низкими подоконниками, глядящие в зеленый сад, справа — высокие белые двери классных комнат со странными, какими-то хронологическими табличками: «V–VI», «VII–VIII». В дальнем конце зала на обтянутой красным постаменте возвышался гипсовый бюст, однако без пальм в кадучках, без знамен и иных обрамлений он выглядел голо, как в бане. Вообще что-то в этом помещении было не школьное, административное, исполкомовское, а что именно — сразу и не поймешь.

Андрею хотелось заглянуть в классы, ему представлялось, что там он увидит чудеса обучающей техники, электронные пульта и видеоэкраны на каждой парте. Но Элина Дмитриевна возилась с ключом возле двери, на которой висела табличка «Учительская», а Бородин, держа свой «атташе-кейс» за спиною, смиренно ждал поодаль, у колонны. Когда дверь открылась, произошла странная заминка: Элина молча вошла, оставив дверь приоткрытой, что можно было истолковать как приглашение заходить. Андрей вопросительно взглянул на юниора, тот насупился и решительно шагнул вперед. Андрей двинулся было за ним, но Бородин, взявшись за ручку двери, вдруг оттолкнул его задом, но отчетливо прошипел:

— Обождешь, — и, проскользнув в учительскую, плотно притворил за собою дверь.

Больше книг на сайте - Knigolub.net

Постояв у двери, Андрей отошел к окну, сел на широкий подоконник. Какое-то время,

хмурясь и по-разному складывая губы, он приводил свое растерянное лицо в порядок, потом с независимым видом вскинул голову и стал осматривать зал.

Вот чего не хватало этой школе: тут и не пахло детьми. Ни одного пятна на стенах и колоннах, они лишь пожелтели, как слоновая кость, оттого, что их не перекрашивали давно. Ни единой каракули на подоконнике, который, казалось, и задуман был для того, чтобы на нем рисовать. Ни одной корявой детской стенгазеты, на стенах красовались лишь те же, что и в офисе, фотовитрины и монтажи. Тут за окном у ограды чавкнула автомобильная дверца, по плитам дорожки процокали девичьи шаги, и в зал с колоннами вошла Кареглазка.

На ней было платье, сшитое как будто из серой холстины, в которую был задрапирован «Смоленск», единственным украшением этого платья-мешка служил карман с аппликацией в виде коричневой пчелки, фривольно расположившейся где-то чуть ли не в самом низу живота. Такая же пчелка была нашита и на сумку, представляющую собой просто нищенскую торбу — не на ремне, а на лохматой веревке. Подобный набор Андрей видел в Ирешкиных каталогах, но надо признать, что все это очень подходило к сытенькому личику Кареглазки, к ее золотистым глазам и к рыжеватым волосам, которые были красиво рыжи, в них крупно перемежались темные и светлые прядки.

— Элинка приехала? — спросила она Андрея, подходя и кивая на дверь.

Это были первые слова дочери советника, обращенные к мальчику из Щербатова, и произнесены они были нарочито напористо и сурово: так разговаривают с подростками практикантки из пединститутов.

Кареглазка и не подозревала, что в школьных стенах с нее слетело все закордонное очарование, и хоть бы она обвешалась с ног до головы жемчугами, здесь она была обыкновенной дылдой, такой же, как все восьмиклассницы, которые, почуяв добро за пазухой, с катастрофической быстротой начинают дуреть. И уж того менее могла Кареглазка догадываться о том, что стоит только этому сумрачному мальчику захотеть — и она окажется среди тающих сугробов Таймыра в убеждении, что именно там и есть ее настоящее место, и мужики в ватниках и натянутых на уши вязаных шапках будут окликать ее другим именем: Катька, например, или Туська, как взбредет в голову встречному, который на нее поглядит.

— Приехала, — безразлично произнес Андрей и даже, что было лишнее, пожал плечами. — Но она занята. Там Бородин.

— Кто-кто? — удивленно, нараспев переспросила Кареглазка. От нее веяло прохладой, вполне естественной, если учесть, что она только что вышла из машины с кондиционером, однако пушистая верхняя губа и ложбинка на груди, видневшаяся в широко отлежавшем вороте платья, куда Андрей не мог не смотреть, были уже влажны от пота. — Бородин? Что за Бородин? Из «Совэкспортфильма»?

Андрей объяснил.

— Боже, какая важность, — ровным голосом проговорила Кареглазка и решительно взялась за дверную ручку.

«Эта еще нет... но скоро будет», — глядя, как легко и сильно извернулось ее тело внутри льняного мешка, подумал Андрей.

Кареглазка, разумеется, тут же обернулась и, прищурясь, оглядела его с головы до ног. К счастью, он стоял к окну спиной, и вряд ли ей было видно, как он смутился.

— А ты-то что выжидаешь? — спросила она. — Взятку, что ли, принес?

Кровь отлила у Андрея от лица, ноги стали горячими и мягкими. Кто-то чужой в голове

его с некоторым удивлением отметил, что от ее прямого оскорбления, оказывается, бледнеешь, в краску, оказывается, вгоняет лишь косвенный намек... но оценить всю важность этого открытия Андрей в тот момент не сумел. Он машинально посмотрел на свою канцелярскую папку, потом перевел взгляд на Кареглазку.

— Полегче со словами, — тихо сказал он. — Здесь твоих родственников нету. Здесь ты никто и звать никак.

Женечка перестала усмехаться.

— Ну, если я никто, — звонко проговорила она, — то ты вообще чмо. Стой и жди.

И, дернув плечом, она открыла дверь и вошла.

«Надо же, какая сволочь», — растерянно подумал Андрей.

Он не знал, что такое «чмо», но это наверняка было что-то презрительное. Хуже плевка в лицо.

Однако оставаться в коридоре он больше не мог, иначе получалось, что он и в самом деле выжидает. И, поколебавшись, Андрей тоже вошел в учительскую.

Там гудел кондиционер, и воздух был ледяной, как в салоне самолета. Элина Дмитриевна, накинув белую кофту на плечи (вот зачем ей нужна была шерстяная кофта), сидела за письменным столом напротив двери и вопросительно улыбалась. На широких щеках у нее даже появились ямочки, но мохнатые брови были страдальчески, как у жука, сведены, и глаза глядели настороженно. Перед нею в почтительной и в то же время развязной позе стоял Бородин-юниор, но улыбка была обращена не к нему — и уж тем более не к Андрею.

— Женечка! — неискренне воскликнула Элина Дмитриевна и, покраснев, тяжело поднялась из-за стола с намерением выйти. — Приехала, золотко! Как я соскучилась по тебе! Целый год не виделись. Отдохнуть захотелось, на пляже поваляться, в теннис поиграть? Ну и правильно. Все посольство тебя дожидается!

Не без труда она выбралась на свободное место и, крепко задев бедром угол стола, поморщилась от боли и еще больше зарделась.

«Надо же, — подумал Андрей, — такая молодая — и уже еле колышется. Что ж дальше с тобой будет, бедняга?»

Девочка и учительница обнялись, потерлись щеками, потом, не стовариваясь, одновременно отпустили друг друга, посмотрелись на расстоянии и снова обнялись, крест-накрест, словно исполняя пантомиму под названием «Андреевский флаг».

— А как выросла, похорошела-то как! — звучным голосом промолвила Элина Дмитриевна. — Настоящая красавица стала!

И только теперь до Андрея дошло, что Кареглазка вовсе не учится в этой школе и что расчеты видятся с нею здесь каждый день лопнули, как мыльный пузырь. «Ну и черт с ней, — мрачно подумал Андрей. — Кобыла здоровая. Другую придумаем, а эту — на Таймыр, и немедля». Но чем упрямее он себе это повторял, тем яснее ему становилось, что ни на какой Таймыр он отправлять Кареглазку не станет, потому что она позарез нужна ему здесь, и если он не добьется от нее ничего — то вообще ничего не добьется. А вот чего от нее следует добиваться — не было ясно ему самому.

— А вы совершенно не изменились, — вновь отстранившись, с оттенком издевки в голосе сказала Кареглазка. — Все такая же юная.

В ответ на эти слова Элина Дмитриевна собралась было заключить Женечку в свои объятия, но координации действий на сей раз не получилось, и она лишь неловко развела

руками, как будто хотела сказать: «Что ж тут поделаешь?»

Нужно было видеть, с какой умильной улыбочкой, деликатно склонив голову к плечу, наблюдал за этой сценой Бородин-юниор. Он, разумеется, не хотел навязывать свое участие в волнующей встрече, но всячески старался, чтобы его умиление было замечено: и пофыркивал, улыбаясь, и похрапывал, дрыгая ножкой, и поглядывал на Андрея, сразу ставшего нужным, как бы приглашая засвидетельствовать, что это историческое событие происходит в присутствии младшего Бородина.

— А может быть, Женечка доучиваться приехала, — не выдержав, сказал он. — Тогда и я остаюсь.

Но его шутливая реплика с намеком на прежнюю дружбу так и осталась без внимания: Кареглазка даже не повернулась на звук его голоса, а Элина Дмитриевна все топталась посреди учительской, не зная, как достойнее завершить церемонию встречи.

— Ну, я пошел, Элина Дмитриевна, — ничуть не обескураженный, деловито сказал Бородин. — Счастливо оставаться. Женечка, пока!

— Да-да, счастливого пути, — рассеянно произнесла Элина Дмитриевна и вернулась к своему столу.

А Кареглазка лишь посторонилась, когда Бородин-юниор проходил мимо.

— Ну, садись, рассказывай, — проговорила Элина Дмитриевна, усевшись за стол и сразу почувствовав себя спокойнее. — Как новая школа? Что с математикой?

Андрей все стоял, прислонившись к дверному косяку за спиной Кареглазки, и не знал, как ему поступить. Выйти вслед за Бородиным? Но с какой стати? Его ведь никто не выгонял.

— Ай, некогда, Элина Дмитриевна, — сказал Кареглазка. — Папончик в машине ждет, все по минутам расписано. Мама просила передать, что Гонконг прислал инвойс.

Элина Дмитриевна с беспокойством взглянула на Андрея, но напрасно она осторожничала: для него эта фраза была словно произнесена на санскритском языке. «Инвойс прислан Гонконгом. Был прислан Гонконгом инвойс».

— Ну что ж, чудесно, — проговорила она. — Надеюсь, на сей раз они ничего не напутали.

— Понятия не имею, — небрежно ответила Кареглазка. — Вы ж без меня выписывали. Я просмотрела — моего ничего нет. Замшевое пальтишко — но, судя по размеру, там ваше.

Послышался негодующий звук клаксона, как бы выговаривающий: «Ты с ума сошла! Ты с ума сошла!»

— Вот, пожалуйста, сердится, — сказала Кареглазка. — Побежала я. Как-нибудь заскочу.

Она повернулась и оказалась лицом к лицу с Андреем. Мальчик отступил в сторону, она толкнула плечом дверь и вдруг, оглянувшись, пыхнула ему глазами в лицо и проговорила:

— Не надо на меня обижаться.

Тряхнула головой и вышла — так быстро, что он не успел ответить ей ничего.

Элина Дмитриевна молча приняла от Андрея школьную папку, двумя розовыми странно тонкими для ее комплекции пальчиками развязала замызганные тесемки и, слегка шевеля губами, принялась перелистывать бумаги. Нет, она ни разу в жизни не была в *красной палатке*... и, может быть, никогда туда уже не попадет.

И, словно эта фраза была произнесена вслух, Элина Дмитриевна вздрогнула, подняла голову и вопросительно посмотрела на Андрея. Что-то в выражении его лица ей не

понравилось, потому что, выждав паузу, она сухо сказала:

— Итак, Тюрин Андрей, если судить по твоим бумагам, ты окончил седьмой класс на «отлично». Я за тебя очень рада. Но напрасно ты думаешь, что вот этот листочек, — она положила руку, украшенную браслетами и перстнями, на справку с его оценками за год, — напрасно ты думаешь, что эта бумажка облегчит тебе жизнь в восьмом классе.

«Так, — сказал себе Андрей, — на второй год не оставляют, — и то хорошо. Пока все идет по-писаному. Сейчас начнутся общие словеса».

— Твои родители приехали сюда выполнять интернациональный долг, оказывать помощь развивающемуся государству, — высоким звенящим голосом заговорила Элина Дмитриевна. Она, должно быть, злилась на себя за то, что краснела тут перед каким-то щербатовцем, и теперь намеренно распалаясь и ожесточалась, чтобы румянец выглядел естественно. Мы так тоже умеем. — Ты также приехал не отдыхать, твой долг — учиться, это твоя святая обязанность. Если ты придержишься мнения, что наша школа работает в щадящем режиме, по какой-то урезанной, облегченной программе, то ты глубоко заблуждаешься.

«А вот уж это ошибочка ваша, дорогая Элина Дмитриевна. Так настоящие учителя не говорят. Они даже мысли не допускают, что школьник может допустить такую мысль».

— Вот — Женя Букреева, прекрасная девочка, примерная ученица, шестой она окончила у нас на одни пятерки — и заработала их *честным* трудом...

«Позвольте, на что вы, собственно, намекаете?»

— Теперь она учится в спецшколе с математическим уклоном, собирается стать экономистом-международником, и я думаю, у нее получится.

«Ну, я-то здесь при чем?»

— Не последнюю роль здесь сыграла и та подготовка, которую она получила в стенах нашей школы. К чему я все это говорю?

«Да, вот именно, к чему?»

— Не стоит слишком полагаться на эту бумажку...

Элина Дмитриевна помахала в воздухе щербатовской справкой.

— Справедливость выставленных здесь оценок тебе еще придется доказать, — продолжала Элина Дмитриевна, и, видимо, это была ключевая фраза, стоившая ей душевного напряжения, потому что она густо покраснела, и даже шея ее покрылась багровыми пятнами.

— В начале будущего учебного года ты напишешь контрольные работы по основным предметам и постарайся подтвердить, что ты действительно с отличием переведен в восьмой класс. Ты меня понял?

— Понял, — ответил Андрей.

— Ну, вот и хорошо, — несколько удивленная его спокойной реакцией, сказала Элина Дмитриевна. — Не обижайся, Андрей, но быть отличником *в нашей* школе, учиться с внуком Чрезвычайного и полномочного поверенного в делах, тоже, между прочим, отличным учеником — это очень почетно, такой почет еще надо заслужить.

— Хорошо, — сказал Андрей, приняв к сведению это примирительное «тоже». «Тоже, между прочим, отличным учеником...» Придется внуку поверенного потесниться. — А вы, Элина Дмитриевна, в отпуск или здесь останетесь?

Андрей умел разговаривать с учителями, даже с такими трудными, как эта. Сейчас пришло время отказать от односложного «да, понял, да, хорошо», озадачить вопросом — и дать понять, что перед вами не бубнящая машина, а свое что-то думающий человек.

Элина Дмитриевна исправно озадачилась.

— А почему ты об этом спрашиваешь? — с досадой в голосе поинтересовалась она.

Нельзя было дать ей произнести «это тебя не касается», такие повороты носят необратимый характер.

— Нет, я к чему? — с достоинством проговорил он. — Я к тому, что мне до первого сентября все равно нечего делать. Может быть, вам нужна помощь по школе.

Какое-то время Элина Дмитриевна смотрела на Андрея, потом перевела взгляд на пустынную стену учительской.

— А что ты умеешь? — с сомнением спросила она.

Все это напоминало операцию по найму шабашника, мастеровитого мужичка, уклончиво предлагающего свои навыки и умения.

— Стенгазеты делал, классные уголки оформлял, спортивные листки чертил, — степенно сказал Андрей, — вообще все такое, если под рукой тушь, гуашь и плакатные перья. Ну, и ватман, конечно...

— Послушай, Андрей, — с живостью остановила его Элина Дмитриевна, ты и в самом деле явился в добрый час. Тут через две недели к нам приезжает человек из Москвы, а у нас как-то очень казенно...

«Вот это уже другой разговор, — сказал себе Андрей. — А то „доказать, подтвердить, заслужить...“ Я уеду — а вы еще долго будете меня помнить».

Андрей шагал по улице и мысленно на все лады повторял: «Не надо на меня обижаться. Обижаться на меня не надо. Не надо обижаться на меня». Фраза была такая богатая, что при любой перестановке в ней можно было найти новый смысл: от признания грешницы («Да, я скверная, я злая, обижаться на меня просто бессмысленно») до лукавого приглашения: «Ну, посмотри на меня. Разве можно *на меня* обижаться?» Текстологический анализ подобного рода занимает в наших мыслях куда больше места, чем мы сами предполагаем, хотя осуществляется он далеко не так последовательно, как это выглядит на бумаге. Мальчик инстинктивно, не отдавая себе отчета, занимался самолечением, зализывал нанесенную ему душевную ссадину — и в конце концов утешился, добившись того, что повод, по которому были сказаны эти слова, растворился в комментариях и утратил свою реальность.

Тут на противоположной, солнечной стороне Андрей заметил Ростислава Ильича. Ростик-Детский, одетый чрезвычайно элегантно, при галстукке, в белых брюках и темном пиджаке с университетским значком, подпрыгивающей походкой шел по вздыбившимся плитам тротуара и, сладко жмурясь, наслаждался небесным теплом. После вчерашнего Андрей испытывал к нему искреннюю симпатию и благодарность. Видимо, симпатия была взаимна, так как, заметив мальчика, Ростислав рассиялся и замахал рукой, приглашая к себе, на свою сторону. Андрей покачал головой и показал пальцем вверх, где солнце над ним заслоняли кроны акаций. Дело было не в солнце, а именно в благодарности: непосредственная близость адресата часто делает это чувство довольно-таки тягостным, особенно если адресат и сам полагает, что ему причитается. Так они шли параллельным курсом, потом Ростислав Ильич, махнув рукой, по-стариковски суетливо перебежал улицу и оказался рядом с Андреем.

— Я вижу, ты быстро освоился, не боишься в одиночку гулять! — Он потрепал Андрея по плечу, а точнее — по лопатке, потому что ростом был ниже, и до плеча соседа ему еще нужно было тянуть руку. — А я, понимаешь ли, после Союза никак не могу отогреться, настолько прозяб! Ну, как в «Эльдорадо», преддверии ада? По-прежнему вымогают и хамят?

Чтобы поддержать разговор на том же уровне форсированного оживления, Андрей пожаловался на мистера Дени.

— Да, брат, к этому надо еще привыкнуть, — сочувственно сказал Ростислав Ильич. — Мы его за угнетенного держим, а он просто хам и уважать будет лишь того, кто способен на него наорать.

Андрей молчал. Все, что высказывал Ростик-Детский, было настолько *не то*, что вызывало ожесточенный протест и какую-то физиологическую реакцию, похожую на мелкотемпературный озноб. Если это и была правда, то правда слишком уж голая, обогащенная, радиоактивная, частному лицу не положено такой правдой владеть и тем более предьявлять ее первому встречному.

— Но, с другой стороны, — продолжал Ростислав Ильич, увлекаясь, есть какая-то обидная странность в том, что нас нигде не любит обслуга. Я бывал в других странах — и, поверь мне, знаю, что говорю. Даже не поймешь, в чем тут загвоздка. Может быть, и в том, что мы — страна победившей челяди, праправнуки дворовых людей. Вспомни, с какой гордостью мы говорили друг другу, что слуг у нас нет — как будто это бог весть какое достижение. «Слуги, слуги, накладите ему в руки!..» Читал ли ты «Записки Пиквикского

клуба»?

Андрей кивнул.

— Так вот, — продолжал Ростик-Детский, — кого у нас в стране не хватает — так это умелого, расторопного и доброжелательного слуги, типа Сэма Уэллера. Наша собственная обслуга угрюмо гадит нам в руки, и, видимо, это как-то впечаталось в наш облик и вызывает соответствующую реакцию челяди закордонной. Во всяком случае, дело не в нашей бедности, жадности и скупости. Мы сорим деньгами за рубежом, как безумные, считаем каждый тугрик — и тут же расстаемся с ним в обмен на какую-нибудь ничтожную услугу. Даже так: чем более нагло нами помыкают — тем больше мы оставляем на чай. А чем больше мы оставляем на чай — тем наглее нами помыкают...

Андрей встревожился: слишком близко, болтаючи, подобрался Ростислав Ильич к тому, что творила с прислугой мама Люда. Может быть, он в самом деле подсадной? Из какой-нибудь «Комиссии по консервам при Аппарате советника»... Он покосился на семенившего рядом старичка — нет, никаких тайных целей Ростик не преследовал. Просто он не умел разговаривать с мальчишками, слишком старался, пыжился, тщился, все пытался в себе заинтересовать, как это часто делают бездетные люди... Вдруг, перехватив взгляд Андрея, Ростислав Ильич резко себя оборвал, нахмурился, передернул почему-то плечами — и до самой калитки офиса не проронил больше ни слова.

У калитки собралось все тюринское семейство. Мама Люда пришла в огненно-красном сарафане с широкой накидушкой, со стороны обе смотрелись очень загранично, в особенности рядом с отцом, на котором был все тот же пиджак с обвисшими карманами. Отец нетерпеливо поглядывал через плечо на калитку, а мама Люда о чем-то быстро и горячо говорила, подпрыгивая и заглядывая снизу ему в лицо. Андрей совсем не был рад ее видеть: он знал, что у звягинских сегодня собрание, на котором будут официально представлять отца, и ему *очень* нужно было посмотреть, как все это произойдет, принимают ли отца как равного или держат за человека, который здесь не по праву. Мальчик понимал, что пройти на территорию офиса среди бела дня будет трудно, но надеялся, что за чьей-нибудь спиной ему удастся добраться до почтового павильона, а оттуда, как на ладони, видно киноплощадку, на которой и происходят собрания групп. Но с приходом мамы Люды и сестренки это рискованное предприятие становилось попросту невозможным...

Иван Петрович извинился перед Ростиком за вчерашнюю накладку с машиной.

— Ничего страшного, — сухо улыбаясь, сказал Ростислав Ильич, — если не считать той малости, что мне пришлось поднять господина интенданта к себе, и там в ожидании машины он истребил все мои холостяцкие спиртные запасы... пока его водитель катал по городу своих родственников. Так что с вас причитается. Можете отдать овощами.

И, насладившись замешательством Ивана Петровича, Ростик промолвил: «Тысяча извинений», — и прошмыгнул в калитку.

— Кто тебя тянул за язык? Ну, кто тебя тянул за язык? — накинулась на отца мама Люда. — «Ах, извините, ах, простите...» Аристократ разлинованный!

На это Иван Петрович ничего не ответил, и, успокоившись, мама Люда вернулась к прерванному занятию: стала давать инструкции, как отец должен вести себя на собрании, какие слова говорить и на чем настаивать.

— Ты не сиди тюфяком, — настойчиво внушала она Ивану Петровичу, выступай поактивнее. Руку тяни, реплики подавай с места, чтобы в протоколе твое имя чаще встречалось. Просидишь молчком — считай, что не было тебя. Что молчать-то, чего

стесняться? Ты не убогий какой-нибудь. И требуй, требуй себе общественную нагрузку. Без этого нам и полгода здесь не просидеть. Преемник наш, наверное, был не дурак, десять месяцев без дела сидел — и никто не заметил. А почему? Да потому, что наверняка у него была общественная нагрузка. Вот и выясни, чем твой преемник занимался...

— Предшественник, мама, а не преемник, — поправил ее Андрей.

— Отстань с глупостями, — отмахнулась мама Люда.

Так она проявляла себя в минуты волнения: начинала осыпать всех ближних инструкциями и указаниями, не заботясь о том, станут они выполняться или нет — и выполнимы ли вообще. Что же касается путаницы с предшествованием и воследованием, то, похоже, причинно-следственная связь была для мамы Люды обратимой.

Так они стояли и разговаривали, а вокруг офиса тем временем кипела дневная жизнь. То и дело, тихо шурша, подъезжали «дацуны» и «тойоты», мягко чмокали дверцы, и через калитку, нажимая черную кнопку и называя фамилию, проходили озабоченные молодые дядечки в одинаковых белых рубашечках, с одинаковыми чемоданчиками в руках, в одинаковых роговых очках с коричневатыми стеклами «фото-браун». Автоматический запор беспрестанно лязгал, дядечки входили и выходили, как-то досадливо отворачивались от семейства Тюриных, хотя в их собственных холеных лицах просматривались орловские, владимирские и щербатовские черты.

Подошел Горошук. Даже в пиджаке и при галстукe генеральский зять был похож на лохматого бродягу, таких в Щербатове по старой памяти называли битниками, и Андрей еще помнил, как дружинники отлавливали их на улицах и били. Едва завидев Горошука, Андрей почувствовал, что сейчас «Егор» будет подначивать и глумиться. Он не ошибся.

— Привет ленинградцам, — ухмыляясь, сказал Игорь и очень смешно подморгнул Андрею, о чем можно было догадаться лишь по шевелению толстого носа и бомбардирских очков.

— Мы не ленинградцы, — напрягшись до дрожи, тихо ответил Андрей. — Мы из Щербатова, у вас плохая память.

Увы, прием, «защита через нападение» не сработал, подлое лицо снова изменило Андрею: уши загорелись, в щеки стала толкаться кровь, верхняя губа раздулась, как будто именно ее обидели.

— Это одно и то же, дружище, — возразил Игорь Валентинович, — вы вместо них, а значит — одна сатана.

И, торжествуя, он удалился.

Странное дело: дома, в Щербатове, Андрей даже в мыслях не мог допустить, что когда-нибудь ему придется вот так, почти на равных, препираться с вузовским преподавателем... а Горошук был, ни много ни мало, кандидатом каких-то биологических наук. Институт в Щербатове был храм, кафедра — алтарь, высшая математика — религия для избранных, мама Люда перед всем этим благоговела, давая Андрею основания предполагать, что студенткой она была посредственной и нерадивой. На работе у отца она появляться боялась — и сыну передала этот страх. «Нечего нам с тобой, сыночек, там делать. Высшая школа — это высшая школа, и папа наш там совсем другой человек». Здесь, в Офире, звягинские были как-то не очень красиво и даже неприятно доступными... Может быть, думал Андрей, все от жары: ходят при детях растелешенные — и перестают стесняться.

Тут к самой калитке подкатила белая осадистая «Королла», и из кабины вышел плотный ухоженный мужчина с двойным подбородком и пышной черно-голубой сединой. Мужчина

был в светло-голубом и, видимо, очень прохладном костюме, пиджак распахнут, широкий галстук умопомрачительно яркой росписи покойно лежал на животе... И по этому расписному желто-лиловому галстуку, служившему, видимо, для всех аппаратчиков эталоном, да еще по страху, метнувшемуся в отцовских глазах, Андрей понял, что перед ним советник, и от волнения у него перехватило горло. Советник, сам советник! Это слово, как свечение, нет — как огненный контур, очертило фигуру Букреева, и мальчику даже показалось, что по седине вельможного человека пробегают, потрескивая и вспыхивая лиловым, электрические искры.

Виктор Маркович с отеческой благожелательностью посмотрел на семейство Тюриных и едва заметно кивнул. Лицо у него было величественное, иконописные глаза в темных веках даже красивы, неприятен был лишь маленький хрящеватый носик с круто вырезанными трепещущими ноздрями, имевший такой напряженный и ищущий вид, как будто он все время к чему-то принюхивался.

Вот, взволнованно думал Андрей, вот человек, которому не нужно краснеть, он никогда не боится, потому что *достойн*. Как он прошел мимо, как взглянул, зная все насквозь, и про Розанова, и про ленинградцев, и про скандал на таможне, и про уплывающие налево консервы... Взглянул — и простил, *пока* простил, на первый случай. Что Эндрю Флейм, жалкий переросток, с его позывами к справедливости! Стать советником и вершить окрест себя добро и порядок — вот единственная достойная цель, вот единственный, открывшийся ему в эту судьбоносную минуту путь к выполнению своего предназначения. Разумеется, мальчик не думал об этом в таких словах, он вообще не думал словами, все сказанное выше уместилось в два отстука сердца. Только так. Только так.

Минуту стояло молчание. О чем думали родители, глядя на хлопнувшую за Букреевым калитку, Андрей не мог даже догадываться так же, как и они не могли даже подозревать, о чем думает сейчас их мальчик.

— Ладно, пойду, — проговорил Иван Петрович, но в это время калитка распахнулась, и в розовом кружевном платье, в широкополой белой шляпе, высокая и статная, вышла советница. Людмила Павловна торопливо сказала «Здравствуйте», Иван Петрович поклонился, Андрею полагалось, должно быть, шаркнуть ножкой, но советница холодно посмотрела на них, как на стайку уличных воробьев, и, не ответив на приветствие, села в машину.

— Подожди, пусть уедут, — шепнула мужу Людмила, — не надо путаться под ногами.

Так они стояли, переминаясь, а мадам советница глядела на них сквозь голубые стекла кабины. Наконец вернулся Букреев. Он распахнул дверцу машины, заглянул вовнутрь, галстук его свесился до самого тротуара.

— Ну, что ты за копуха, — раздраженно сказала из кабины мадам советница. — Вечно тебя приходится ждать.

— И еще подождешь, — негромко, но тщательно проговаривая слова, ответил Букреев. — Мне Звягина повидать надо.

— Ну, и целуйся со своим Звягиным, — сказала мадам, — а я больше здесь торчать не намерена. Отвези меня в посольство и возвращайся, если тебе так нужно.

— Прекрати, — покосившись на Тюриных, проговорил Виктор Маркович, здесь люди.

— Кстати, — сказала мадам, — не мог бы ты втолковать своим людям, чтобы они не ходили по городу такими попугаями?

Букреев медленно повернул голову, пошевелил ноздрями своего незначительного

носика.

— Ну, ладно, Ванюшка, — поживаясь и поправляя огненную накидушку, пробормотала Людмила, — мы побежим.

Но было уже поздно. Пружинистой, несколько нарочито элегантно подрагивающей походкой кавалергарда Виктор Маркович приблизился к Тюриным.

— Здравствуйте, — изящно складывая и разжимая красивые губы, проговорил он и подал руку сперва маме Люде, потом Ивану Петровичу, потом, помедлив, Андрею. И даже это промедление показалось мальчику исполненным высокого смысла. Он с замиранием сердца пожал сухую и холодную руку советника: ему как будто бы в этот миг передавалась эстафета бессмертного Я, в него как будто бы переливалась голубая и лунно-холодная кровь... Он даже на секунду почувствовал себя ИМ — и у него закружилась голова. Дозаправка в воздухе... Андрей почти уверен был, что при этом советник негромко сказал: «Этот юноша пойдет далеко».

— Ну, как устроились? — спросил советник и, не дожидаясь ответа, сказал: — Если у вас ко мне какие-то вопросы, то на улице караулить меня не нужно. Запишитесь у дежурной — и в течение десяти дней я постараюсь вас принять.

— Нет, нет, спасибо вам огромное! — залепетала Людмила, как бы пунктиром обозначая, что она — женщина, и пользуясь особым голоском, который Андрей называл «заплаканным». — Мы только мужа проводили. Он на собрание пришел, а мы уже уходим. К врачу хотим забежать, у девочки что-то с животиком.

Букреев внимательно ее дослушал.

— И ты тоже Тюрина? — обратился он к Настасье с непередаваемой интонацией руководителя, беседующего с народом, как бы заранее досадуя на неуместный ответ.

— Тоже Тюрина, — задрав голову, серьезно ответила Настя., - А вы Букреев?

— Да, я Букреев, — сказал ей Виктор Маркович. — Чем могу быть полезен?

— Ничем, — ответила Настасья. — Вы нас не вышлете?

— Смотря как будешь себя вести.

И, сказав это, Букреев круто повернулся на каблуках и пошел к машине. Его мадам, глядя в сторону, всем своим видом подчеркивала, что устала от этих демократических причуд.

— Какой человек! — восхищенно проговорила Людмила, когда машина отъехала. — Подошел, поздоровался за руку, поговорил... Нет, Ванюшка: при таком руководстве ты должен требовать как минимум справедливости. Ну ладно, ступай, тебе пора, а мы пошли к доктору Славе.

Андрей заколебался: сказать, что он хочет остаться и послушать? Да нет, конечно же, нет, мама Люда придет в ужас, а отца его присутствие будет стеснять, и лучше, если он вообще ничего не узнает. Значит, что? Значит, нужно увести женщин подальше от калитки, а после — по обстоятельствам.

Обстоятельства, как оказалось, благоприятствовали его планам. Едва расстались с отцом и завернули за угол, как услышали звенящий оклик:

— Тюрины! Стойте, Тюрины!

И они, оглянувшись, увидели Аниканову Валю. В коротком халатике, обтягивающем ее туго, как репку, Валя широкими энергичными шагами догоняла Тюриных, волоча за собою прогулочную детскую коляску.

— Мама, там Иришка, я не хочу! — захныкала Настя.

Но она ошибалась: в коляске лежала хозяйственная сумка, набитая пакетами гречки, риса и муки. В наряде домохозяйки Валентина выглядела куда проще и доступнее, чем в балахоне первой леди, и даже речь ее приобрела простонародные черты.

— Вот — отоварилась на складе, — запыхавшись, сказала Валя, — кому нельзя, а мне — пожалуйста! Что значит сила искусства! А вы куда держите путь? Не ко мне ли, случайно? А меня дома нет. Ха-ха-ха! Шутка, конечно.

Андрею было стыдно смотреть на нее: застиранный блеклый халатик ее был так тесен, что расходился между пуговицами, как наволочка на пуховой подушке, в самых потаенных местах, а на боку чуть выше талии вообще был порван и широко открывал чисто-белое, совсем не загорелое тело.

— К врачу? А зачем вам к врачу? — Аниканова так возмутилась, как будто намерение Людмилы было оскорбительным лично для нее. — Лекцию о погоде он вам прочитал? Про сертификаты в плавках рассказывал? Чего вам еще от него понадобилось?

— Да вот... животик у девочки, крутит и крутит. Лицо у Аникановой стало светски-любезным.

— После ресторана «Эльдорадо»? — осведомилась она.

— Что ты, что ты! — с притворным ужасом замахала на нее руками Людмила. — Там зараза одна. Открепились и справочку взяли, сами готовим.

Валентина на секунду огорчилась, но тут же, видимо, сама позабыла, о чем спрашивала.

— Так вот, слушай меня с предельным вниманием, — зловещим голосом, наклоняясь к маме Люде, заговорила она. — Во-первых, про животик никому лучше не заикайся. Хочешь, чтобы вместе с дочкой выслали? Или чтоб в Центральный госпиталь ребенка твоего законопатили — без права посещения?

— Ну, уж так сразу и в госпиталь, — пробормотала мама Люда, испугавшись, а Настя вцепилась в своего «Батю». — А если я хочу посоветоваться?

— Нет, это просто непостижимо уму! — вся вибрируя от странного восторга, звонко выкрикнула Валя. — Посоветоваться! Да у доктора Славы один разговор: не в госпиталь — так на родину поезжай. Доктор Слава, если хочешь знать, никогда живых больных не видел...

— Это как? — не поняла мама Люда.

— А вот как! — Валентина снова захохотала. — В морге он работал. Да шучу, шучу. Административный работник, всю свою жизнь бумажки перебирал, а как сюда попал — я думаю, не нужно тебе объяснять...

Андрей напрягся — но поплавочек стоял неподвижно, как будто вплавленный в зеленое стекло. «Не нужно тебе объяснять... Не нужно тебе объяснять... Уж тебе-то, конечно, этого объяснять не нужно, уж ты-то знаешь, как такие становятся *достойными*...» Может, прошло? — с надеждой спросил он себя. Отпустило? Привык? Нет, душа, как и прежде, болела, в волдыри изожженная стыдом. Просто сейчас этот стыд перекрыт был другим, более простым и сладким: Валентина теснила его, обступала его со всех сторон, хотелось куда-нибудь от нее деться, пропасть, провалиться сквозь землю...

— Здесь, моя милая, не принято доктора Славу своими болячками беспокоить... — Голос Валентины был мучительно звонок, надавить бы какую-нибудь кнопку, чтоб его отключить. — Все со справками сюда приезжают, все практически здоровы. Это просто ваше счастье, что вы меня встретили. Прямо в паутину к нему летели, а он именно вас и сидит дожидается. Это же страшный человек!

— Погоди, — остановила ее Людмила. — Почему именно нас дожидается?

— О, господи! — Аниканова театрально возвела очи горе и выдержала паузу. — Да потому, что проторчал он здесь пять лет, и сейчас вопрос о шестом годе решается. Представляешь? О шестом! Очень строгий он стал, чтобы рвение и бдительность показать. Теперь срубила? У него и так за шкурой много блох. Жена консула к нему чадо свое привела, так он представляешь, жена консула, не какого-нибудь Сидора Кузьмича! — он посеял кала на стеклышко сделал, вместо посева крови, ты меня поняла? И послал это стеклышко в лабораторию Центрального госпиталя. Там врачи из Швеции кишки себе надорвали. Это ж ляп, это ж надо как-то загладить: кого-нибудь излечить — или вас, чудаков, на родину отправить. А ты кресло у него видела? Из Парижа выписал, на казенные деньги, вот он у нас какой, доктор Слава. Собирался платное обслуживание наших женщин налаживать. Ну, тут пригрозили ему, затих... Что ты так гримасничаешь? Что моргаешь?

Аниканова с жадным, звенящим и сверкающим любопытством заглянула ей в лицо, потом повернулась к Андрею.

— А, сын... Да не понимает он ничего! Молочный совсем.

Тут глаза ее заблестели каким-то странным стеклянным блеском, и она, сделав попытку стянуть на груди расползающийся халатик, вдруг без всякой связи с разговором сказала:

— Растолстела я что-то последнее время. Все консервы и крупы проклятые...

— Ладно, я пойду, — буркнул Андрей, поспешно отворачиваясь, чтобы Валентина не успела увидеть его ошпаренное стыдом лицо.

— Никуда ты не пойдешь, — властно сказала Валентина. — Ты нам нужен.

И, считая, должно быть, что Андрей должен теперь стоять как вкопанный, она вновь обратилась к маме Люде.

— Пошли ко мне. У меня, как в Швеции, все лекарства есть. В долг могу дать — или оплатишь в зарплату чеками. Мужчины на собрании, Андрей с наглыми нашими девками посидит, а мы с тобой помузицируем, Горького почитаем.

— Горького? — переспросила Людмила, и Аниканова рассмеялась. Зубы у нее были ослепительные, белые, как сахар, и она об этом знала. Но оснований командовать чужими сыновьями это ей не давало.

— Мама, я пойду, — упрямо повторил Андрей.

И, к его удивлению, мама Люда его поддержала.

— Сходи, сыночек, к папе, сходи, — сказала она. — Предупреди, чтобы знал, где нас искать. А хочешь — подожди его там, в беседочке, газетки посмотри, вместе и придете.

— Ну, вот еще, газетки... — недовольно проговорила Валентина. Делаешь из парня пенсионера...

«Но не няньку», — подумал Андрей и, не сказав больше ни слова, пошел назад, к офису.

На углу он обернулся: желто-голубая Настасья обреченно плелась между двумя женщинами, и по спине ее видно было, что она не ждет ничего хорошего от судьбы.

Калитка офиса оказалась приотворенной: видимо, кто-то из группы Звягина не захлопнул ее за собой, а дежурной было лень подниматься, и она сидела, глядя в свое окошечко, и ждала, когда кто-нибудь появится. Лицо у нее при этом было приветливо-строгое, как у дикторши первой программы Центрального телевидения. Появился, однако, не тот, кому положено, и, когда Андрей ступил на коврово-гравийную дорожку, дежурная выбежала ему навстречу — с покосившейся высокой прической и искаженным от гнева готическим лицом. Административные женщины предпочитают высокие, пышно взбитые прически, это Андрей уже успел заметить, хотя объяснения этому феномену не искал. Зная, впрочем, что разумное объяснение непременно имеется.

— Куд-да? — зашипела дежурная, растопырив руки, и даже присела, как будто Андрей собирался прошмыгнуть у нее между ног. — Куда идешь, тебя спрашивают?

Была она, по рассказам Валентины Аникановой, женой представителя «Сельхозтехники», фигуры в аппарате советника очень влиятельной, и ходила в подругах самой Надежды Федоровны, ей давно уже перевалило за сорок, однако звать ее полагалось исключительно «Ляля».

— Газеты иду просматривать для политчаса, — ответил Андрей, зная, что слова «конференция», «семинар» и вообще все, что начинается с «полит-», действует на взрослых парализующе.

И точно: лицо Ляли привычно соскучилось, словно ее охватила унылая дремота, и она отступила, давая Андрею дорогу к беседке. Но, когда мальчик проходил мимо нее, она машинально взглянула на застиранный ворот его белой тенниски — и содрогнулась от злобы. Как-то в Щербатове, возле временного моста, Андрей проходил мимо сложенных в штабель металлических труб, была весенняя теплынь, и все равно его удивило, что из прогретых солнцем труб на него пахнуло жаром. Точно такой же тепловой импульс был и здесь.

— Усмехается еще, дрянь такая, — проговорила Ляля.

Андрей вовсе не усмехался. Он как раз думал: что такое у нее в голове? Почему она его так ненавидит? Сторожевой инстинкт... Нет. Классовая ненависть хорошо одетого человека... Опять-таки нет: мы тоже не лыком шиты. «Она чувствует во мне переходящее Я — и боится. И правильно боится. Я ее *передумаю*».

— Я не дрянь, — сказал Андрей, остановившись и глядя ей в лицо. — Я не дрянь, я советский человек, ясно? Такой же человек, как и вы.

Жаркий день разгорался. Ни ветринки, ни облачка, самый воздух, казалось, разъедал глаза чем-то резким, словно с неба, на которое было больно взглянуть, беспрерывно сыпался сухой золотой порошок. В этом движущемся знойном свете неподвижно и отдельно застыл каждый жесткий лист, каждый папиросно-бумажный цветок, каждый высохший прутик.

Миновав алебардно-кинжальные клумбы, Андрей вошел в павильон, на ходу доставая из кармана штанов перочинный ножик. Ступил на скрипучий дощатый пол, с удовольствием окунувшись в пахнущую стружкой деревянную осень, подошел к дальней стенке с ячейками, аккуратно соскоблил с перегородки фамилию «Сивцов» и написал огрызком карандаша «Тюрин».

Выполнив таким образом сыновний долг, он обстоятельно расположился за столом с

подшивками (в библиотеках и читалках он чувствовал себя как дома) и с удовольствием отметил, что деревянную решетку еще не успела оплести буйная зелень: отсюда отлично видна киноплощадка, залитая бешеным солнцем, на свежесмытый бетонный киноэкран было невозможно глядеть.

Группа Звягина расположилась в центре киноплощадки, на самом солнцепеке. В проходе между рядами сиреневых скамеек, сейчас казавшихся почти белыми, поставлен был небольшой столик на алюминиевых ножках, накрытый зеленой скатертью. За этим столиком спиной к экрану и лицом к решетчатому павильону сидели Звягин и Матвеев, оба в пиджаках и галстуках. Звягин истекал потом и поминутно промокал лицо и шею потемневшим от сырости платком. А вот Матвеев рожден был для президиумов: приплюснутый нос его, синеватые губы, прижмуренные глаза под выпуклым лбом — все излучало прохладное довольство.

Совсем близко, в пяти шагах от решетки павильона (нет, в пятнадцати, решетка сама производила какой-то оптический эффект), среди чужих затылков и спин Андрей видел сутулый загорбок и плохо подстриженный затылок отца. На памяти Андрея Иван Петрович ни разу не ходил в парикмахерскую, тенистый чуб его подстригала мама Люда. По правую руку от отца сидел розовокудрый Ростислав Ильич, по левую — Василий Семеныч, длинноголовый и остроухий, сияющий своей косоплешью, заботливо прикрытую тремя длинными прядями золотистых волос. Еще Андрей отыскал Игоря Горощука, остальные члены группы были ему незнакомы.

Андрей впервые видел отца в академической среде. Он испытывал естественную для всякого мальчишки потребность своими глазами взглянуть на отца в деловой обстановке и убедиться, что это действительно *другой* человек. Покамест кудрявый затылок отца и его серьезно оттопыренные уши среди других затылков и ушей выглядели вполне благопристойно и даже солидно: никто не хихикал над отцом, не тыкал в него пальцем, значит он принят как свой.

Между тем Звягин, по лбу которого и по щекам широкими потоками лилась влага, что-то говорил, сурово глядя на решетку павильона. Решетка приближала изображение, но не звук, и слова едва долетали до Андрея, однако темно-красные червячные губы Звягина шевелились очень энергично. Впечатление было такое, что он обращается к самому Андрею. Сидя против солнца, Звягин вряд ли что-нибудь мог разглядеть внутри павильона, но на всякий случай мальчик отодвинулся поглубже в тень.

— На сегодняшней повестке, — сердясь на жару и потливость, говорил Звягин, — на сегодняшней повестке у нас три вопроса: представление нового члена нашей группы, утверждение характеристики отъезжающего и отчет о работе группы за истекший период. Собрание важное для каждого из нас, в значительной степени этапное. От того, насколько единодушно и энергично мы его проведем, будет зависеть наше дальнейшее продвижение вперед. Хочу сообщить вам приятную новость: на нашем сегодняшнем собрании обещал присутствовать лично Букреев Виктор Маркович...

Аплодисменты.

— ...что свидетельствует об авторитете нашей группы и о том исключительном внимании, которое уделяет нам аппарат... Что такое, в чем дело?

Раздраженный вопрос этот был обращен к Ростиславу Ильичу, который, привстав с места, по-ученически поднял руку.

— Виктор Маркович уехал в корпункт «Известий»! — высоким мальчишеским голосом

выкрикнул Ростислав Ильич. — И быть никак не может.

Звягин и Матвеев переглянулись. Осведомленность Ростика им была неприятна.

— Это... надежная информация? — учтиво и в то же время с оттенком недоверия спросил Матвеев.

— Абсолютно! — ответил Ростик и сел.

— Ну, что ж, — вытирая платком шею и лицо, сказал Григорий Николаевич, — в таком случае не будем ждать и начнем. Игорь Валентинович, прошу.

Горощук поднялся.

— В нашей группе — пополнение, — покачиваясь и вихляясь, как второгодник, вызванный к доске, заговорил он. А что Игорь Валентинович мог с собой поделывать? Куда вообще деваются вихлявые юнцы? Вырастают и становятся вихлявыми мужиками. И плодят вихлявых детей. Другого пути у них нету. — На замену кандидату физико-математических наук Анатолию Витальевичу Сивцову прибыл Иван Петрович Тюрин, прошу любить и жаловать.

Игорь театрально протянул руку, отец поднялся и с достоинством поклонился. Он держался прилично, только кромки ушей его покраснели от волнения.

— Иван Петрович — старший преподаватель кафедры математики Щербатовского политехнического института, — продолжал Игорь. — Стаж работы в высшей школе — двадцать лет, опыта работы с иностранцами не имеет. С отличием окончил курсы иностранного языка. Женат, двое детей, за рубежом находится впервые.

Было странно, что Горощук говорит просто и ясно, не пересыпая речь корявыми английскими словами, нарочно переделанными на русский манер. Но таков, наверное, был порядок.

— Есть какие-нибудь вопросы к Ивану Петровичу? — спросил Звягин.

Андрей был уверен, что никаких вопросов не окажется, однако он ошибался.

— У меня вопрос, — поднялся худой, кадыкастый, губастый и очкастый дядечка, похожий одновременно на молодого ученого и на пожилого студента, такие с юности и до глубокой старости выглядят ровно на сорок лет. — Как Иван Петрович понимает цель своей командировки?

Пытка продолжалась, она приняла совершенно изуверский характер. Отец дернулся и раскрыл было рот, чтобы ответить, но его опередил Звягин.

— Надо полагать, Иван Петрович понимает ее правильно, — с нажимом произнес он. — А собственно говоря, Саша Савельев, дорогой наш Александр Сергеевич, какой ответ ты хотел бы услышать? Не в первый раз ты уводишь нас в сторону высоких словес, и всегда я тебе удивляюсь. Может, ты не физик, а лирик? Тогда так и скажи, мы переведем тебя на филфак. Соскучился по болтовне об извечных истинах? Мала тебя пичкало аллилуйщиной предыдущее руководство? Нет, уважаемый, не услышишь ты здесь высоких словес. Мы — реалисты, люди новой формации, мы приехали сюда работать. Работать, а не распускать словесные сопли, в этом заключается наш долг и наша цель. Так понимает это и Иван Петрович Тюрин, я в этом уверен. Если не так — пусть выскажется сам.

Очкарик солидно кивнул, как будто бы получил ответ, за которым обращался, и сел на свое место. Андрей был благодарен Звягину за то, что он не дал в обиду отца, он опасался, что это еще один способ продлить мучительство. Так оно и оказалось.

— Ну, что ж, — выждав паузу, сказал Звягин, — если больше вопросов нет, пожелаем коллеге побыстрее адаптироваться в стране пребывания и в нашем коллективе и стать

достойной заменой незабвенному Анатолию Витальевичу...

Облегченно вздохать было рано: интонация последнего слова свидетельствовала о том, что Григорий Николаевич еще не все сказал.

— Хотя надо признать, это будет трудно, — закончил свою реплику Звягин, — Если возможно вообще.

Все дружно захлопали в ладоши, и Иван Петрович опустил на свое место.

Можно было перевести дух... От стыда и муки за отца Андрей весь взмок. Подозрения его окончательно подтвердились: *все всё знают*, и с этим уж ничего не поделаешь. Это — данность, с которой придется жить. Спасибо отцу хотя бы за то, что он не успел ничего сказать и не навлек на себя еще большего сраму.

Между тем группа Звягина стала обсуждать характеристику Бородина Бориса Борисовича, который сидел в отдалении от всех, был очень бледен, то и дело приглаживал дрожащей рукой свою черную челочку и делал вид, что снисходительно улыбается. Станным Андрею казалось лишь то, что Бородин уезжает вчистую, пробыв в командировке два года и даже не дождавшись квартиры.

— Реакклиматизации тебе в Союзе, Борис Борисович! — с отеческой улыбкой произнес Звягин, когда характеристика, выдержанная в хвалебном духе, была единогласно утверждена. — Ну, теперь ты вольная птица, не смеем тебя задерживать. Ступай, укладывай багаж, закупай сувениры, если еще не весь рынок скупил, а мы, как говорится, вернемся к своим баранам.

Лицо Бородина, широкое, как блин, с прилизанными наискось черными волосами, маслилось от жары, слова «закупай сувениры» его почему-то обозлили.

— Рано хороните! — тонким голосом выкрикнул он. — Пока я получаю зарплату как член группы, имею право сидеть на собраниях. И докажите мне, что это не так.

— Ну, не знаю, не знаю, — с досадой сказал Звягин. — Ладно, сиди, если тебе делать нечего...

— Мне есть что делать, — возразил Бородин. — Я только хочу послушать, что Матвеев скажет о своей роли при прежнем руководстве.

— А вот это уже личный выпад! — разгневавшись, проговорил Звягин. — В народе о таких говорят: «Мертвый хватает живого». Так вот, Борис Борисович, я знаю, что тебя печет, и удовлетворю твое любопытство. В полном согласии с Букреевым Виктором Марковичем...

Аплодисменты.

— Погодите, дайте договорить! — подняв руку ладонью вперед, повысил голос Звягин. — В полном согласии с аппаратом советника руководство группы решило поставить перед инстанциями вопрос о продлении пребывания Матвеева Владимира Андреевича еще на один год, и предварительная разведка показала, что этот вопрос будет решен в самое ближайшее время и решен положительно. Надеюсь, моих слов достаточно, чтобы наступить на язык кое-кому, кто так и не сумел отрешиться от слуховщины предыдущего периода, от аникановщины, как ее назвал, выступая в январе перед нами, товарищ Букреев, да простит меня Василий Семенович за то, что я называю вещи своими именами, меня вынуждают напоминать о прошлом...

Аниканов мило улыбнулся и ничего не сказал. А Андрею почему-то вспомнился обрывок новогоднего розового серпантина, зацепившийся за деревянный клык...

— Позвольте! — задыхаясь, Бородин поднялся.

— Я еще не кончил! — побагровев, гаркнул Звягин. Удивительно, какой диапазон был у

его голоса: от певучего говорка до мощного баса.

— Нет уж, позвольте! — фальцетом выкрикнул Бородин. — Курс лекций Матвеева по экономической географии полтора года назад завершен, да-с, завершен, и никакой нагрузки у него нет вообще. В течение восемнадцати месяцев, дорогие друзья! Я поражаюсь, как Владимир Андреевич еще не повредился в рассудке за эти полтора года, как у него восемнадцать раз поднималась рука расписываться в платежных ведомостях! Непотопляемый товарищ: при Аниканове он пел романсы, при Звягине сочиняет отчеты. Неудивительно, что руководство продлевает его на очередной год — чтобы он бродил по своей колоссальной квартире и тихо сходил с ума. Да, я отвечаю за свои слова! Как он поступил с Тюриными, вам известно?

Андрей обомлел. Ну, мама Люда! Ну, сорока! Нашла кому жаловаться...

— А как он поступил с Тюриными? — закричали вокруг. Что такое? Мы ничего не знаем!

И тут Андрей с ужасом увидел, как рука отца начала медленно подниматься... сначала до высоты плеча, потом выше головы, с судорожно выпрямленными, словно закаменевшими пальцами. «Что он хочет делать? Что он будет говорить? Папочка, миленький, не надо!»

Лицо Матвеева налилось кукурузной желтизной.

— Давай, Иван Петрович, скажи! — многозначительно проговорил Звягин. — Все, что накипело, что наболело, как это принято между своими. Не в кулуарах, не в гостиничных закоулках, а прямо в лицо.

Оцепенев, Андрей наблюдал, как отец встает, расстегивает пиджак, расправляет плечи.

— С большим недоумением я только что услышал... — невнятно заговорил он.

— Громче! — крикнул кто-то.

— С большим недоумением я только что услышал, что якобы Владимир Андреевич обошелся с нами как-то не так. С любезного разрешения Владимира Андреевича мое семейство провело под его кровом сутки — в ожидании, когда освободится номер в «Эльдорадо». Пользуюсь случаем, чтобы еще раз поблагодарить Володю Матвеева за гостеприимство и раз и навсегда пресечь какие бы то ни было спекуляции на этот счет.

Группа дружно зааплодировала — неизвестно чему: то ли Матвеевскому гостеприимству, то ли Тюринскому заявлению. Бородин пытался что-то кричать, но ему не давали.

Андрей почувствовал облегчение — и что-то вроде сладкой тошноты. «Наверное, так и надо, — вяло подумал он, — наверно, так и нужно делать, когда *недостойн...*»

Тут кто-то энергично тряхнул Андрея за плечо. Это было так неожиданно, что у него чуть не разорвалось сердце. Он обернулся — за его спиной стоял молодой переводчик в рыжих очках с белесыми усами под розовым, совершенно глянцевым носом.

— А ну, давай отсюда, — негромко сказал усач. — И быстро, му-хой!

— А что я такого?.. — выбираясь из-за стола и чувствуя себя унылым халдой, пробурчал Андрей. — Кому я мешаю?

— Иди, иди, — парень снова взял его за плечо и легонько, но настойчиво подтолкнул к выходу. — Вопросы еще будет задавать... Советский человек.

В ту ночь ни с того, ни с сего ему приснилась Аниканова Валентина — в кой ужасной близости, что он проснулся в холодном поту. Сестренка спала рядом с ним под пологом, приоткрывши рот и беззвучно дыша, на соседней кровати бурно храпел отец. Дверь в предбанник была открыта, там горел пристроенный на холодильнике ночник, мама Люда в длинной белой рубаше стояла возле тумбочки и, сердясь, открывала банку консервов. Ах да, подумал Андрей, прислушиваясь к биению собственного сердца, мы же идем за мясом.

Короткий сон с Валентиной был страшен, как бред, но еще страшнее было мучительное желание его вернуть. Почему-то эта женщина была вся обрызгана водой, то ли после купанья, то ли с дождя, мокрый сарафан облепил ее плечи и грудь, она звонко смеялась и лопотала непонятное, насчет того, что Гонконг прислал инвойс и что надо срочно, немедленно, сейчас же что-то делать. «Ну? Ну, что же ты? Ну?» — все теснее прижимаясь к нему, говорила Валентина, а он был в панике, потому что понятия не имел, что от него требуется, и совсем ему не нужна была эта тетка, хвастливая, возбужденная, с бесстыжими остекленелыми глазами. И при чем тут Гонконг? Уж лучше бы ему приснилась тогда Кареглазка... Но Кареглазка упорно не желала сниться, — берегла себя для кого-то другого...

Мама Люда заглянула в комнату.

— Сыночек, — прошептала она, — рано еще, поспал бы!

— Нет уж, дорогая, — буркнул Андрей, привычно удивившись, когда же сама она просыпается. — Вода идет?

— Идет, идет, миленький, только что пошла! Душ можно принять, летненький! — «Летней» мама Люда называла воду комнатной температуры. Ступай, головку помой.

Эндрю Флейм так и сделал. Стало хорошо. Съев без хлеба банку шпротов и запив ее стаканом кипяченой воды, он надел красную безрукавку, которую давно мечтал обновить, обулся в кеды, потопал ногами и сказал:

— Самое то.

Поднялся отец, молча позавтракали, спустились в тускло освещенный; вестибюль. «Пещера царя Соломона» была темна и пуста, только в кресле под аркой дремал босой дежурный, фирменная фуражка с золотым околышем сползла ему козырьком на нос. Заслышав шаги, он встrepенулся, дико поглядел на постояльцев, потом, опомнившись, вскочил и побежал к дверям вынимать металлический засов.

Была еще ночь, теплая и прозрачно-коричневая, как спитой чай. Звезды сияли в светлеющем небе, ковш Большой Медведицы, странно опрокинутый, как бы выливал из себя теплынь, и череда пальм на набережной похожа была на вереницу худых печальных беженцев, которые бредут невесть куда, наклонившись вперед, трудно переступая тонкими темными ногами, и вполголоса переговариваются на лопочущем языке: «Кто мы такие? Зачем мы сюда попали? Куда мы идем?» Ощущение бессмысленности происходящего было настолько неприятным, что по спине у мальчика пробежала дрожь.

— Может, за джемпером вернешься? — спросил отец.

— Да что ты, тепло, — с преувеличенной бодростью ответил Андрей.

И они зашагали по темным пустым кварталам, зорко поглядывая под ноги, чтобы не споткнуться о выпирающий из земли корень акации или о приподнявшуюся тротуарную

плиту. Совершенно неожиданно, даже не размышляя об этом, Андрей понял, как его делают, этот плиточный тротуар, и отчего он такой взгорбленный и неровный. Просто укладывается ровным слоем бетон — и по сырому расчерчивается на квадраты. Почва здесь буйная, насыщенная семенами и корнями, где пробивается новое растение там бетонная плитка обламывается и приподымается, как квадратный люк. Эта догадка очень его обрадовала — может быть, как свидетельство разумности окружающего мира.

— Жалко, — сказал он, подлаживаясь под длинный шаг отца, — жалко, что Матвеев твой начальник. Такая дрянь человек.

Имя недруга он произнес специально — и с жестоким любопытством посмотрел при этом на отца. Но лицо отца было спокойным и ясным: он шел и наслаждался прохладой и тишиной. Этому, кстати, у него следовало поучиться: никогда не спешить с ответом, даже если ответ уже на языке. А может быть, не «даже если», а «особенно если». Готовый ответ нехорош уже тем, что он готов.

— Ты не должен так говорить, — сказал после долгой паузы отец. — Это взрослый человек, кандидат наук, мой коллега, в конце концов. И, оскорбляя его, ты задеваешь также и меня. Кроме того, ты принципиально не прав. Если исходить из допущения, что хороший человек — это тот, кто не причинил нам зла, тогда в этом мире слишком много хороших людей.

— В том числе и диктатор Стресснер, — снисходительно поддакнул Андрей.

— Я понимаю.

— Понимаешь, а спрашиваешь, — укоризненно сказал отец. — Хороших людей на свете мало, на них охота идет постоянная, их травят и отстреливают, как пушных зверей. Все беззакония и войны затеваются именно для истребления хороших людей.

Как ясно говорил отец! Речь его была чиста и печальна. Андрей даже бился с шага и вопросительно на него посмотрел.

— А ты? — спросил он.

Похоже, этот немудрый вопрос спугнул летевшего над ними тихого ангела. Отец вдруг озаботился, потускнел лицом, и ответ его был привычно невнятным.

— Сам к поврежденным нравам с излишней быв поврежден. Тем и упасся.

Некоторое время они шли молча, шагая в гору, и все светлело. Воздух вился вокруг них длинными цветными шарфами.

— Надобно еще учесть, — продолжал отец, — что здесь особенные собрались. Флуктуации своего рода.

— А что это такое? — спросил Андрей, зная заранее, что ответ отца никакой ясности не внесет.

— Отклонение от средних значений, — объяснил отец, — вызванное, допустим, сбоем параметров...

Очень трогательно было это «допустим»: студенты от таких объяснений должны были звереть.

— Смотрим друг на друга, как будто мыла наелись, — отец тихонько засмеялся. — Тертые, вываренные, всем угодные. Иначе как подслугами почтения не смогишие приобрести. Каждый таков — и другим ту же цену назначает.

Отец говорил без обиды и ожесточения, со спокойной привычной горечью, даже как будто бы этой горечью упиваясь. И сколько ни вслушивался Андрей, нарочитых «княжих» интонаций в голосе отца он не улавливал.

— Да, но это рядовые, — сказал после паузы Андрей. — Есть же головной вагон, в конце концов.

— А головной вагон идет в ту же сторону, — ответил отец, и Андрей, пораженный простотою этих слов, не нашел, что возразить.

Небо было совсем уже голубым, когда они услышали издалека шум толпы. Широкий проспект в этом месте перекатывался с горки на горку, и сверху видно было гигантский пустырь в низине, заполненный тысячами местных людей. Тюрины знали, что будет очередь, но увидеть такое — не ожидали. Это было как озеро темной запекшейся крови. По мере приближения толпа стала зерниться, рассыпаться на фрагменты. Темнокожие люди сидели на ступеньках окрестных домов, на бровке тротуара, женщины лежали ничком на траве, накрывшись цветастыми простынями, кормили грудью детей, судачили. Дети постарше бегали друг за другом, играя в пятнашки, маленькие дремали. Над толпой стоял веселый ярмарочный гомон. Самые нетерпеливые, разбившись на десятки и обхватив друг друга сзади за плечи, со смехом, прибаутками и песнями приплясывали, чтобы согреться и скоротать время. Эти фаланги, мельтешащие по всему пустырю, делали сцену похожей то ли на каплю воды под микроскопом, то ли на живую схему сражения.

Двери магазина были забраны раздвижной решеткой. Там, внутри, уже маячили мясники в белых кителях и поварских колпаках, они развешивали на крюках разодранные кровавые туши. За ними зорко присматривал хозяин тучный седой мужчина в серебристом дакроновом костюме, больше похожий на президента республики, чем на владельца мясной лавки.

У дверей с карабином наперевес стоял солдатик в долгополой суконной шинели, на голове у него была шапка с опущенными наушниками, а ноги босы, и в носу у солдатика хлюпало: видимо, утро для него было очень холодное. В стороне у решетки особняком стояли пятеро европейцев, и среди них — Савельев, тот самый, задавший отцу вопрос о цели командировки.

Савельев поздоровался с Тюриным дружелюбно: общие заботы сближают. Он объяснил, что для иноспецов устанавливается особая очередь: их отоваривают по одному через десяток местных.

— Пройдете шестьдесят шестым и семьдесят седьмым, — сказал он. Раньше надо было вставать.

— Па, а школа? — с беспокойством спросил Андрей. — Я с Элиной договорился, она приедет к девяти.

Отец виновато развел руками.

— О школе надо было раньше думать, в Союзе, — холодно сказал Савельев, и очки его зеркально блеснули. — И вообще, как это у вас получилось, что приехали вы всей семьей, да со старшеклассником-сыном, да в обход ленинградцев? И холодильник большой привезли. Как будто идете вне конкурса.

Иван Петрович заморгал глазами. Такой прокурорской атаки он не ожидал. А Андрей вдруг почувствовал странную радость — и не сразу сообразил, что слова сказаны, а он не покраснел. Значит, все-таки отпустило?

Он раскрыл было рот, чтобы достойно ответить, но в это время сзади крякнул клаксон, он обернулся и понял, что рано торжествовал победу над собою.

Сквозь толпу, нещадно рыча и напирая на людей бампером, медленно, рывками, как трактор, двигалась автомашина с брезентовым тентом. Даже еще не осознав, что это

«субару», Андрей начал неудержимо краснеть. В затылке у него что-то лопнуло, и горячие пятна стали медленно проступать на лице, надвигаясь из-за ушей.

Возле самой решетки машина остановилась, из кабины вышла Тамара, она была в ярко-зеленой рубашке, по-разбойничьи подпоясанной черным кушаком, и в черных узких брючках. Скользнув подслеповатым взглядом по группе европейцев и никого, видимо, не признав, она отодвинула решетку и вошла в магазин. Хозяин, почтительно кланяясь, вышел к ней из-за кассы.

— Вот, обратите внимание на эту бабенку, — сказал Савельев. Русская, между прочим. Невозвращенка. Вертится вокруг наших, как муха, все знакомства пытается завязать...

«Да что ж такое? — тоскливо думал Андрей, отворачиваясь от него. — Заразные мы? Проклятые? Почему к нам все липнет? Не надо, не надо, пожалуйста, не надо, чтоб она нас замечала...»

Но некого просить единственному в мире: ни у кого к нему нет жалости. Разговаривая с хозяином, Тамара надела очки, посмотрела сквозь стекло и седые, щеточкой, брови ее поползли вверх. Она вопросительно улыбнулась Андрею и показала своей сухонькой ручкой, что сейчас, через минуту выйдет. Делать вид, что он не видит человека, который ему улыбается, Андрей еще не умел.

— Хорошо, — пробормотал он, кивая, — да, да, хорошо.

— По Союзу знакомы? — поинтересовался Савельев. — Или здесь зацепились?

— Здесь познакомились, — буркнул Андреи.

— Нич-чего себе... — протянул Савельев и, ловко достав из нагрудного кармана одну сигарету (в точности, как Бородин), отодвинулся в сторону.

— Что я вижу! — воскликнула Тамара, появляясь в дверях. — Андрюша, Иван! Чем вы тут занимаетесь?

— Да вот, мясо австралийское... — улыбаясь застенчиво, как девочка, проговорил отец. — Проходили мимо, видим — дают...

— Хорошенькое «проходили мимо»! — засмеялась Тамара. — В такую-то рань! Кстати, мясо не австралийское, а мое. Как славно, что я вас тут перехватила! И не надо больше сюда приходить. Садитесь в машину, поехали.

— А как же с мясом? — спросил отец.

— Да будет у вас мясо, целая тонна!

Нужно было видеть, каким взглядом, полным укоризны, провожал их Савельев, оставшийся у магазинных дверей.

Прием гостей в «Эльдорадо» был в номерах запрещен: для этих целей существовала гостиная на втором этаже. Когда Иван Петрович сказал об этом Тамаре, она засмеялась:

— Это вас Дени страшит? Толстый разбойник и вымогатель. Должна же я посмотреть, как устроились?

Надменно и рассеянно оглядывая вестибюль, дама с Переяславки прошла мимо конторки администратора. Мистер Дени приподнялся со своего кресла и проводил ее почтительным взглядом. Тамара царственно повернула к нему голову и, дождавшись его поклона, едва заметно кивнула.

Мама Люда, естественно, меньше всего ожидала появления гостыи, она была в странном рабочем наряде (купальник и фартук с оборками). Приоткрыв на стук дверь номера, она ойкнула, взмахнула кухонным полотенцем и заперлась в душевой.

Отец, взволнованно бормоча «У нас тут, понимаете ли, не прибрано», провел Тамару в клетушку, усадил на одну из кроватей, на другой, разметавшись под пологом, спала Настасья. Сразу стало безобразно тесно. Андрей не знал, куда себя деть: хоть иди в коридор и стой столбом.

— Господи, Дюймовочка! — восхитилась Тамара, увидев Настасью. — Вот невеста для моего Рудика, надо их поскорее помолвить.

Тут отворилась дверь душевого отсека, и мама Люда, одетая в ситцевый домашний халат, остановилась на пороге. По-видимому, она догадалась, *кого* привели мужики, однако ее волнение можно было заметить лишь по рукам, странно сложенным на животе.

Тамара медленно поднялась, сделала шаг, другой по направлению к маме Люде — и вдруг, всплеснув руками, кинулась ей на шею. Мама Люда была настолько растеряна, что даже не догадалась ответить на объятия и стояла, как истукан.

— Именно такой, — глухо, уткнувшись лицом в мамино плечо, проговорила Тамара, — именно такой я вас и представляла. Доброй, простой, сердечной...

Непонятно было, когда мама Люда успела продемонстрировать свою доброту и сердечность. И почему, собственно, Тамара должна была как-то заранее ее себе представлять? Вот у мамы Люды имелись основания представлять себе Тамару совсем другою.

Во всей этой сцене было что-то неловкое, чуждое, зарубежное особенно когда Тамара, отстранившись от мамы Люды и отворотив лицо, судорожно полезла в сумочку за платком.

— Простите, нервы, простите меня... — пробормотала она, вытирая глаз и сморкаясь. — Вы не можете себе вообразить, вы просто себе не представляете... какая я неприкаянная...

И тут мама Люда всхлипнула, обхватила свою новообетенную подругу и обе женщины заплакали навзрыд... Случись такое с Андреем, он бы всю жизнь стыдился своих слез и тяготился воспоминанием об этой сцене, постарался бы более никогда не встречаться с этим человеком.

Но женщины, должно быть, не так устроены. Отплакавшись, они уселись рядком на кровать и дружно, в два голоса, то и дело перебивая друг друга и стараясь досказать до конца свое, стали толковать обо всем сразу: о детских болезнях, о пустоте на базарах, о том, как трудно жить на белом свете вообще. То, что Тамара изголодалась по русской речи, было

очевидно. А мама Люда — возможно, она была благодарна Тамаре за то, что та ничуть не похожа на зловещую Хилену...

— Боже мой, Люсенька, и я когда-то блины могла печь! Теперь разучилась конечно. Никому они тут не нужны: дочь отвыкла, сыновья и не привыкли, мужу рис подавай, хоть вари его ведрами. Да как я варю рис его не устраивает. А свекровушка свою песню поет: «Выбрал женщину, называется, даже рис приготовить не может, только и знает свою картошку!» Картошки нашем доме не водится: здесь ее только за доллары можно купить, в дипшопе. Если свекровь увидит, что я доллары на картошку перевожу, — съест меня вместе с мундиром. Представляешь, Люся: тайком покупаю, украдкой отвариваю и с крутой солью ем...

Тамара стала бывать у них в «Эльдорадо» чуть ли не ежедневно. Снабжение мясопродуктами, а заодно и овощами от пригородных соседей она наладила, как заправская сестра-хозяйка, привозила и печенку, и язык: и прочие деликатесы, о которых в Щербатове и думать забыли.

— Вы только дайте мне знать, в любое время дня и ночи я буду тут у вас. В любое время!

Андрей терпеть не мог эти каждодневные гостевания. Возвращаясь и школы пешком, по жаре, и заведя стоящий у подъезда «Эльдорадо» тускло-зеленый пикап, он готов был завывать от тоски: духота, теснота в номере, до трусов раздеться нельзя, сиди, как дурак, в рубахе и в брюках да слушай бесконечные «жалобы турки».

— Старовата я стала, Люся, сестричка: никому не нужна, в этом климате женщины быстро изнашиваются. Жора мой коноплей стал баловаться, девочек себе заводит, мне это как-то все равно... Дети? А что дети? Трое их у меня, а поговорить не с кем. Линдочка красавица, умница, дитя любви, у нее своя жизнь. Работает в частной компании, о России и слышать не хочет, мечтает выйти замуж за шведа. Руди, озорник, по-русски едва лопочет, а младший вообще не знает ни одного русского слова, живет под опекой бабушки. Вот такой, Люсенька, итог жизни. Возвращаться в Союз не с кем, да и не к кому. Хорошо бы, конечно, съездить, по Переяславке погулять, маминой могилке поклониться... Рудика бы пристроить учиться в Москве, он стесняется языка своего, а поговорить ему, кроме матери, с кем? К русским детишкам не подступиться, шарахаются от него, как от заразного. Я сама слышала, как мамы учили: «К этому паршивцу — не подходить».

Андрею было ясно, куда она клонит: еще одна Иришка одичалая, только мужского полу, срочно нуждается в компании. Международная идиотка! Вольно было ей выходить за иностранца, какое-то извращение, честное слово.

А Тамара, как нарочно, вновь и вновь заводила речь о том, что в молодости ее Жора был неотразим.

— Глазки бархатные, носик точеный, а уж кожа смуглая — прелесть, а фигура, а ноги длинные, а как двигался — божественно, гибко!

Андрей видел «дядю Жору» лишь издали, на террасе «Эльдорадо»: тучный мужчина со щеками, как бы нарочно свешенными, с длинными смоляными волосами и с воловьими глазами в опухших веках, сидел в одиночестве за столиком и курил длинную сигару, похозяйски, словно на телок, прямо под хвост, поглядывая на проходивших девиц.

Предположения Андрея подтвердились: в один прекрасный день Тамара привела с собой Руди. Широколицый, смуглый, кучерявый, Руди ничем не отличался бы от местных мальчишек, если бы не странный эмалевый блеск светло-желтых глаз. Десятилетний

ребяенок этот не привык церемониться: заглянул, как кот, во все углы тесного номера, высунулся, морща нос, во внутренний двор, постоял, посвистал, глядя поочередно на Андрея и на Настю, потом скорчил Насте зверскую морду, чем поверг ее в ужас и восхищение, — и обратился к Андрею с вопросом на каком-то тарабарском наречии: это был английский, но такой английский, на котором говорила разномастная городская ребятня. Андрей, разумеется, не понял ни слова.

— Ты по-русски, по-русски, — попросила Тамара. — Ведь ты же умеешь! Руди надул щеки и отрицательно замотал головой.

— Ну, ладно, — снисходительно сказал Андрей, — мы сперва по-английски, а уж потом, постепенно...

Поднатужившись, Андрей построил дежурный вопрос, — что-то о школе, внятно повторил его два раза. Руди сделал издевательски-глуповатое лицо, повернулся к матери и забормотал:

— Чо он вякнул? Что он там тявкнул?

Так, по крайней мере, можно было понять смысл его бормотания. Естественно, никаких дружеских отношений на этой основе завязать было нельзя, и Андрей раскрыл книгу и демонстративно завалился на кровать лицом к стене.

Мама Люда увела огорченную Тамару в предбанник. Руди потоптался в клетушке, полистал детские книжки, потом, должно быть, дернул за волосенки Настасью, потому что Настасья пискнула. Андрей обернулся, и Г глядя на него своими странно белесыми на смуглом лице глазами, очень чисто спросил по-русски:

— Уроки дейлайш?

Андрей неохотно ответил.

— В каком классе кончил? Трудно у вас учиться? А потом как работать пойдешь? Как слесарь, да, нет? Я хочу как слесарь. В Стокхолм слесарь очень много заработок получает, а у вас? А у вас, как здесь?

Настя смотрела на Руди с восторгом и трепетом: заговорил!

— А чем ты недовольный? — не унимался Руди. — Ты недовольный, что мешаю тебе стараться? Так? Ты очень старательный школьник? У вас Москве каждый так?

Право, Тамара напрасно боялась, что Руди пропадет в Союзе с языком. Языка у него было даже больше, чем надо.

Мама Люда открыла дверь, и Тамара, заглянув из тамбура в клетушку, радостно сказала:

— Ну, вот, пожалуйста. Разговорились.

Увидев ее, Руди снова надул щеки и замотал головой. Видимо, напоказ он не хотел говорить по-русски: ведь для этого его Тамара сюда и привела.

Иван Петрович сдержал свое слово: он постарался на свою голову. Без ведома начальства пробился на прием к декану-голландцу — и бог знает какими доводами, но убедил его поделиться часами. Голландец уступил Ивану Петровичу историю математики («Только для вас, мистер Тьюринг чтобы вы не теряли формы») — курс второстепенный, факультативный, главное — не читанный Иваном Петровичем ни разу в жизни.

— Как нарочно придумано, — жаловался Иван Петрович. — И отказать нельзя: сам напросился. Прямо ума не приложу, с чего начать, как подступиться. Где книги взять? А где словари большие, специальные? Это ж почти гуманитарная лексика!

Часов ему было выделено не так уж и много, всего шесть в неделю, однако подготовка к каждой лекции занимала не меньше, чем трое суток. По ночам он сидел между кроватями на полу, обложившись словарями и энциклопедиями, письменный стол ему заменяла низенькая тумбочка, и, развес локти над нею, сутулый и тощий, до пояса мокрый от пота, как шахтер дореволюционном забое, он писал текст каждой лекции до последнего словечка, двадцать пять страниц на два лекционных часа. В университете готовиться было, конечно, удобнее, но Филипп забирал преподавателей в четыре, и отец не укладывался.

— А может и правда, Ванюшка, зря ты это затеял? — шептала, глядя на него с кровати, мама Люда. — Сидел бы в своем кабинетике и ждал бы лучших времен...

— Не мешай, Мила, — отмахивался отец. — Я умею делать только то, что умею, и не надо меня учить...

Старания Ивана Петровича принесли неожиданные плоды. На факультете раз в неделю проводились опросы аудитории («Пережиток колониализма», то ли в шутку, то ли всерьез говорил отец), по стобальной системе студенты оценивали содержательность лекции, форму подачи материала и знание языка. За содержательность отцу на первом же опросе выдали восемьдесят баллов, небывало высокая оценка, что отметил, выступая перед преподавательским корпусом, сам голландец-декан. «Это они от неожиданности, — как бы оправдываясь, говорил о своих студентах Иван Петрович, но на лице его при этом светилась тихая гордость. — Вместо цифири — вдруг на тебе, разговорный жанр». Форму изложения профессора Тьюринга студенты оценили в шестьдесят, а языковый уровень — в пятьдесят пять, что для первого месяца пребывания не так уж и плохо: только профессора-англичане получали по девяносто баллов, да и то не все, сам голландец держался на семидесяти и был этим доволен.

— А у Звягина сколько? — допытывалась Людмила. — А у Матвеева?

Иван Петрович чужими баллами не интересовался, и любопытная мама Люда никак не могла поверить этому: все ей казалось, что тут кроется служебная тайна.

— Во засекретились! Кого ни спросишь — молчит, как партизан. От кого скрываете? От собственного народа.

Действительно, свой языковый балл звягинцы предпочитали не то что держать в секрете, но — не выносить за пределы университетского кампуса. Один лишь Горошук как-то невзначай намекнул маме Люде, что прошлый год по весне ему давали девяносто пять, а в этом году, скорее всего, должно вообще «зашкалить», — но говорил он это с оглядкой, когда поблизости не было никого из старичков. Вроде бы лучше всех (на шестом-то выезде) обязан был владеть языком Ростислав Ильич, читавший лекции на юридическом факультете.

Рассказывали, что на каком-то приеме Ростик даже вызвался переводить самому главе государства, и язва Гороцук сочинил по этому поводу эпиграмму: «Так ворвался в историю Дицкий, уловив подходящий момент, но язык у него юридический, и не понял его президент».

Как бы то ни было, акции Ивана Петровича в университете поднялись. Декан был настолько любезен, что обещал поделиться часами и на будущий год.

— С готовыми конспектами — это ж райская жизнь! — радовался Иван Петрович. — Вот тогда и отдохнем, Милочка. Будем всем семейством по садикам гулять...

Однако Звягин несколько охладил его радость:

— Ты, любезный мой, не слишком полагайся на голландские комплименты, — выговаривал он Ивану Петровичу, словно нарочно выбрав время перед началом киносеансов в офисе, при большом скоплении людей. — Они в демократию играют, а игра эта — против нашей группы, учти. Приручают тебя для того лишь, чтобы опытных наших товарищей уечь. Вот в какую игру ты ввязался, а все почему? Потому, что действовал через мою голову. Кто тебе разрешил без моего ведома к голландцу ходить? Не по-товарищески ты поступаешь. А продлевать командировку тебе будут не в Голландии, прошу запомнить и понять.

В школе у Андрея все шло как положено. Каждое утро Андрей собирался туда, как отец в свой кампус, и снисходительно принимал ухаживания мамы Люды, которая так же заботливо его провожала. Ходить, правда, приходилось пешком, поскольку школьный автобус в связи с каникулами посольство отменило. Но зато в школе, при кондиционере, было приятно работать. До двух часов дня Андрей рисовал стенгазеты, «классные уголки», вычерчивал графики дежурств, таблицы давно прошедших чемпионатов и заполнял казенную школу свидетельствами бурной общественной жизни. Темы для карикатур ему подсказывала Элина Дмитриевна, она же печатала на машинке статьи. Коронной выдумкой своей Андрей считал спортивную стенгазету: заголовок ее («Бодрость») был выполнен из фигурок человечков в синих тренировочных костюмах с красными лампасами. Лампасы Элина Дмитриевна осуждала «Да ну, как генералы. Еще подумают что-нибудь...», и все посматривала на этот заголовок и хмурилась, а в один прекрасный день «Бодрость» и вовсе исчезла. Но если не считать этого пустякового разногласия, сотрудничали они с Андреем дружно и ладно, Элина очень хвалила его манеру работать с гуашью, а способность выводить буквы плакатным пером без предварительной разметки приводила ее в восхищение. Как-то, расчувствовавшись, она даже погладила его, склонившегося над ватманом по голове и сказала: «Какой ты все-таки... мастеровитый!» Андрей не стал оборачиваться, чтобы ее не сконфузить.

Он все надеялся, что в один прекрасный день возле школы остановит белая с голубыми стеклами «королла» и в учительскую войдет Кареглазка.

Осмотрится — и скажет: «Откуда все это? Ведь раньше ничего не было». Впрочем, что делать дочке советника во время каникул в школе, к которой она давно уже не имеет отношения? Общественные нагрузки — это для таких как мы, для работяг. Даже на территории офиса, куда Андрей приходил по вечерам три раза в неделю смотреть советские фильмы, он Кареглазку ни разу не видел: дочка советника не для того явилась за три моря, чтобы смотреть кино на летней площадке, она приехала купаться в океане, играть в теннис, вести южную жизнь.

В отличие от мужчин, Людмила не преуспела в своих начинаниях. К школе пристраиваться насчет работы Андрей ей запретил: «Там только твоего гуманитарно-технического образования и не хватало! У отца — кампус, меня — школа, не нужно портить

мои дела». Представительские склады прочно держали в своих руках жены старожил, и все попытки подступиться этой твердыне встречали холодный отпор. Звягин с насмешкой говорил Ивану Петровичу: «Ох, как супруга твоя скребется в закрытый распределитель, просто беда!» Некоторое время неумная женщина носилась с идеей проскочить в женсовет посольства, для этого она считала достаточно взяться за доклад к международному дню детей и тем самым заявить о себе. Однако до посольства, на тот берег реки, даже добраться было непросто, а когда Людмиле Павловне это наконец удалось, то она обнаружила, что вокруг вакансии докладчицы вьется целый рой соискательниц, среди которых не последнее место занимают жены дипломатов. Пришлось и с этой задумкой расстаться. Осталась еще библиотека посольства, закрытая из-за отсутствия кадров. Людмила Павловна без особой охоты пошла туда великодушно предложить свои услуги, и была прямо-таки оскорблена, когда в объединенном местном посольстве ее кандидатуру отклонили по гуманитарным причинам: слишком далеко ходить от «Эльдорадо», транспорт не предусмотрен, желательны дамы, мужья которых имеют служебные автомашины.

— Ладно, — решила наконец Людмила Павловна, — буду домработницей у своих мужичков.

Про себя она прибавила, однако: «... а там поглядим».

Жара между тем крепчала, она перемежалась тяжелыми ливнями, после которых из-за высокой влажности в номере создавалась такая парилка, что сердце начинало колотиться об зубы. Как-то раз отца привезли с лекции раньше времени: пошла носом кровь. Помня предостережение Валентины, мама Люда беспокоилась, как бы не узнали наши: заставят обратиться к врачу. Но наши не узнали: Ивана Петровича довез сам голландец. Не только довез, но и собственноручно проводил на третий этаж: чтоб на лестнице чего не случилось.

По вечерам, чтобы не мешать отцу заниматься, мама Люда гуляла с детьми по набережной — от порта до маяка. От залива, мелкого и грязного, неприятно пахло. С набережной видно было здание университета: длинное, белое, похожее на губную гармонику, оно стояло на крутом берегу лицом к открытому океану. Белизна этого здания с розовым отсветом вечернего солнца казалась ужасной: как будто за день оно раскалилось добела и теперь медленно остывало.

— Вот они, денежки-то, как достаются, — вздыхая, говорила мама Люда.

Получение первой зарплаты было несколько омрачено. На подхвате в бухгалтерии сидела Галина Сергеевна Звягина, женщина несговорчивая. Справку из «Эльдорадо» с питания она принимать отказалась: — Что вы мне лапшу на уши вешаете? Я сама десять дней в «Ройяле» прожила, порядки гостиничные мне известны. Там не то что готовить в номере, чайник вскипятить не дадут. Идите к советнику. Если он решит, что все чисто, пусть вашу справочку завизирует.

Однако Букреев на эту тему даже не пожелал разговаривать.

— Знать не знаю ни о каком питании, — сказал он. — По мне — вы хоть свиноферму заводите в «Эльдорадо», меня это не касается.

Брезгливо отодвинул справку на край стола и углубился в свои бумаги, давая понять, что аудиенция окончена.

В полной растерянности Тюрины топтались возле калитки — и тут подошел Ростислав Ильич. Выслушал сбивчивую жалобу Ивана Петровича, взял у него злосчастную бумажку и ушел. Через пять минут вернулся с подписью советника.

— Ступай, — весело сказал он Ивану Петровичу, — получай свои кровные — помни

обо мне.

— Ты смотри! — восторженно зашептала мама Люда, когда Ростик удалился. — Я всегда говорила, что с этими сорока процентами дело нечисто. Нет такой статьи, чтобы их у нас забирать! Расходы Тюриных на питание? А при чем тут наш аппарат? Афера какая-то.

— Но-но, ты полегче, — одернул ее Андрей. — Не трогай советника, ясно? Все у тебя кругом аферисты. А главная аферистка — ты сама.

Как бы то ни было, денежная сторона командировки, очень до сих пор волновавшая Тюриных, прояснилась: не обманули их, не передернули, и первая зарплата ушла в Союз.

По ночам не умолкало бормотание. Впрочем, насколько Андрей мог сквозь дремоту судить, тональность изменилась: если раньше мама Люда восторгалась и ахала («Деньги-то какие! Деньжищи! Жить да жить!»), то теперь она все чаще стала сердиться, споря неизвестно с кем и доказывая, что заработки не такие уж и лихие. Своим оппонентом она, естественно, выбрала отца:

— Ладно, Ванюшка, не молись! «Тысячи, тысячи»! Какие еще тысячи? Иван Петрович даже слова этого не произносил: он сидел между кроватями на полу и, косо разбросав локти по тумбочке, писал лекцию о теореме Ферма.

— Какие еще тысячи? — настойчиво, как безумная, приподнявшись и опершись на локоть, шептала мама Люда. — А подарки ты учел? Клаве с Сергеем надо? Надо, принимали они нас хорошо, что бы там ни было. А щербатовским скольким надо? Нам туда возвращаться, не век же мы будем сидеть.

— Ну, не век, а года три проторчим, — после паузы отвечал, не прекращая писания, отец. — Если не скопытимся.

— Ой, что ты, три года... — вздыхала мама Люда, лукавя: сама-то она прикидывала, что меньше пяти никак нельзя. — Вон, у тебя вчера опять кровь носом хлыстала, я же знаю. Хоть бы годика два посидеть, это ж раз на всю жизнь...

Полуголая, с круглым животиком, едва прикрытая простыней, она была похожа на Данаю с картины Рембрандта, ожидающую золотого дождя.

— А хоть и два, — поддавшись на провокацию, соглашался отец, — тоже заработок немалый.

И голосом Михаила Михайлыча добавлял невнятицу:

— В захватчивости, зло, в подобострастии стремительным своим хотением...

— Ну, прямо немалый! — яростно шептала мама Люда, пропуская мимо ушей последнюю фразу, как будто это пролетела басовитая муха. — Вон, Андрей растет, сколько будет расходов? Ему школу кончать, в институт поступать... Думаешь, это все за просто так?

— Я — за просто так учился, и серебряную медаль получил, и диплом с отличием.

— А сюда ты тоже за просто так приехал? — язвительно спрашивала мама Люда.

Отец молчал...

Вся вселенная, казалось, втиснута была в эту тесную клетушку, полную духоты, пропитанной густым запахом пота и гнили. Гнилью пахло с гостиничного двора... Это было настолько гадко, что Андрей чуть не плакал от тоски. Разве это жизнь? Разве люди имеют право так гадко, так временно жить?

— Вот то-то и оно, — с удовлетворением, как будто напившись прохладной водицы, шептала мама Люда, — то-то и оно, Ванюшка! Теперь какие времена? Прав Ростислав Ильич: вернемся — так и будут все в карман смотреть: дай, дай...

И однажды Андрей не выдержал.

— Слушайте, вы! — заорал он. — Я домой уеду, честное слово!

Шепот стих, заворочалась под боком у «Бати» сестренка, но остановиться Андрей уже не мог. Он вскочил и сел на постели, чувствуя, как стучат его колени одно о другое.

Мама Люда, приподнявшись, глядела на него со страхом, отец склонился над великой теоремой Ферма... Впрочем, нет, уже не математика это была: «Нац-осв. движ. после Вов», — значилось в подчеркнутом заголовке. Мало отцу было лекций, он тужился стать политинформатором, делал заготовки впрок...

— Зачем вы меня сюда привезли? — кричал Андрей. — Заживо гнить в этой конуре и слушать по ночам, как вы чеки считаете? Почему вы не отпустили меня в Новороссийск, к тете Наташе? Ах, у вас из зарплаты тогда высчитывали бы двадцать процентов на мое содержание! Сэкономить решили?

— Тише, сыночка, тише, — шептала мама Люда. — Настю разбудишь.

— Настю! А о Насте вы думаете? Что она здесь видит? Через полгода превратится в идиотку! Ей нужно мультфильмы смотреть, в детский садик ходить, с ровесниками играть, а вы что с ней делаете? Подождите, еще придется ее вывозить отсюда с амебной дизентерией. Закопали вы ее заживо!

Выговорившись, Андрей лег ничком на постель и крепко зажмурился. Жгло глаза, в голове было пронзительно светло, как будто под черепной крышкой у него горела двухсотсвечовая лампочка. Душно было по-прежнему, и в то же время он весь дрожал от озноба. Мама Люда поднялась, подошла и догадливо накрыла его простыней...

Настя, бедная, и вправду, маялась больше всех. От жары, от нехватки витаминов, от тоски... А главное, она никак не могла взять в толк, что это такое с ней делают.словно тот карпик живой, которого они неделю держали в тазу на Красноармейской улице: он плавал там, все медленнее шевеля плавниками, все чаще заваливаясь на бочок, а потом и вовсе всплыл в теплой мутной воде кверху пузом. Наверно, он тоже недоумевал: что это такое со мной делают?

На другое утро Андрею было стыдно смотреть маме Люде в глаза. А она, не зная, как его задобрить, с наигранным простодушием сказала:

— И правда, деточки, скучно живем. Давайте по кинотеатрам ходить. Что мы, на самом деле, чего боимся? В гостинице наших больше нет, никто не докажет. В кинотеатре «Метро», я слышала, какой-то жуткий фильм идет. Пошли, посмотрим для начала? Андрюша будет нашим переводчиком.

Лицо у нее при этом было жалкое, заискивающее, виноватое. Настасья запрыгала на постели, захлопала в ладоши. Андрей молчал.

— А папа? — спросила сестренка. — Когда же он будет к лекциям готовиться?

— А папу мы с собой не возьмем. А то он очень уж осторожный. По голосу мамы Люды можно было понять, что этот вопрос с отцом уже, обговорен и что мама просто лукавит.

И в тот же вечер они впервые оказались в местном кино. Зал кинотеатра «Метро» был не хуже, чем в щербатовском «Лебеде»: просторные ряды, мягкие кресла, толстый голубой ковер под ногами. Пока горел свет, играла тихая музыка, на экране менялись неумело нарисованные бледные диапозитивы, прославлявшие национальные вооруженные силы и рекламировавшие средства борьбы с тараканами. Эти рисунки похожи на увеличенные этикетки со спичечных коробок. Настя решила, что это и есть кино, и начала ругаться, даже укусила маму Люду со злости. Еле удалось ее уговорить.

Между рядами ходили разносчики в белых курточках, они продавали кока-колу,

сигареты, жевательную резинку. То и дело слышались их требовательные, хоть и негромкие возгласы, как будто они искали приятеля: «Коля! Коля!»

Впереди расположилась группа местных подростков, ровесников Андрея. Один, курчавый, с металлическими зубами и с темными от вьевшихся опилок и масел руками слесаря угощал своих приятелей кока-колой. Наверно, и в кино их пригласил на свои средства. Приятели молча потягивали через тростинки напиток, а он заглядывал им в лица, беспричинно смеялся, передразнивал, как они пьют, подталкивал их локтями — и, видимо, втайне досадовал на себя за затраты. Ему хотелось, чтобы приятели были счастливы и довольны, а главное — чтобы они, преисполненные благодарности, шумно восхищались его щедростью.

Суетливое веселье подростка заразило Людмилу Павловну: ее состояние было похожим, она тоже страстно хотела, чтобы ее деточкам было весело и хорошо. Поманив разносчика, Людмила взяла у него бутылочку кока-колы для Насти и жвачку для Андрея. Кока-кола была ледяная, и у Насти ее пришлось отобрать, а жвачка оказалась местного производства, она плохо жевалась и отдавала мылом. Что же касается цены, то, по-видимому, здесь, в лучшем кинотеатре города, была установлена жестокая надбавка, да еще плут-разносчик накинул вдвое, и, когда Андрей сообщил маме Люде, сколько эта мелочь стоит, она смутилась и едва наскребла в своем кошельке нужную сумму.

Вдруг свет погас, слайды на экране пропали, появилось яркое изображение развевающегося национального флага и солдата в каске, стоящего на часах. Грянул гимн, все вокруг поспешно поднялись... это напомнило Андрею проезд броневиков мимо «Эльдорадо». Он покосился на подростков, которые, выпятив кадыки, стояли навтыжку, в глазах их вдохновенно отражался киноэкран, — и тут кто-то как будто шепнул ему на ухо: «Смотри в оба». Мальчик обернулся: по проходу, пригнувшись, семенил служитель «Метро» с фонариком в руке, за ним в светлом «сафари» с погончиками вышагивал во весь рост Виктор Маркович, его пышная седина парила в полумраке, как шаровая молния, и электрически сухо потрескивала. Следом, темнолицая от загара, выступала мадам, а позади в белых брюках и белой маечке шла Кареглазка. Андрей стоял возле прохода, и от нее пахнуло такой свежестью и океанской солоноватой чистотой, что Андрей покраснел от радости. Странно краснеть в темноте, когда тебя никто не видит: если бы он и в самом деле начал светиться, как чугунная чушка, то Кареглазка, проходя мимо, наверняка бы его заметила.

Букреевы расположились тремя рядами ближе к экрану, и это обещало осложнения на выходе: если мать увидит советника, она, чего доброго, упадет в обморок. Вроде бы запрета на посещения местных кинотеатров не было, если не брать в расчет предупреждений Валентины Аникановой... но у Валентины за все высылают. Сама, в бытность начальницей, страшила людей — и себя же вконец застрашила. Подумав так, Андрей покосился на маму Люду, но она ничего не заметила: церемония предьявления флага захватила ее воображение.

Минут, наверно, сорок показывали рекламные ролики предстоящих фильмов: красивая брюнетка, щеголявшая в кожаном комбинезоне на молнии, лихо ездил на спортивном авто, отчаянно стреляла и дралась с мужиками, а в промежутках расстегивала молнию намного ниже пупка, обнажая сверкающее голое тело. Мама Люда стыдливо поглядывала на Андрея, потом в воспитательных целях прошептала:

— Тьфу, дрянь какая, бесстыдство!

Андрей, естественно, так не считал. Ему, конечно, хотелось бы, чтобы мать воздержалась от комментариев, но он не стал ее одергивать. Мальчика занимало новое и

довольно странное чувство: ему доставляла удовольствие мысль, что Женечка Букреева тоже смотрит на эту деваху. Так ей и надо, пускай не заносится. Пусть знает, что не одна она на свете, вот так.

Фильм, на который они пришли, назывался «Бесстрашные убийцы вампиров» и требовал куда более квалифицированных переводческих услуг, чем те, которые мог предложить Андрей. Жуткий замок мертвецов, которые притворяются живыми людьми и лишь в нужный момент обнажают свои длинные зубы, от укуса живой человек неизбежно превращается в вампира, профессор-вампириолог и его молодой спутник попадают в этот замок и, освободив молодую девушку, увозят ее на санях, а вампиры преследуют их по снегу в самодвижущихся гробах. Наконец погоня осталась далеко позади, профессор на облучке, молодой человек, держа в объятиях возлюбленную, дремлет под меховой полостью, и вдруг красotka медленно открывает глаза, тихо, медово улыбается и, приподняв верхнюю губку, обнажает два страшных голубых клыка...

Как ни странно, Настю все эти ужасы совершенно не напугали. Пару раз она, правда, с любопытством спросила:

— А зубки кажет зачем? Кусать будет, да? А это больно?

И где-то в середине фильма, когда начались самые страсти, она перелезла на колени к своему «Бате», положила голову ему на грудь и блаженно заснула. Зато мама охала, ужасалась, переживала и изводила Андрея вопросами:

— Чего это он говорит? А зеркало тут при чем? Ай, ну тебя, ничего ты не знаешь!

Зеркало было как раз очень даже при чем: вампиры не умели в нем отражаться — и этим кардинально отличались от настоящих людей. Самая жуткая сцена в фильме связана была именно с зеркалами. В разгар танцевального вечера в замке герой, не подозревающий, что угодил в самое гнездилище кровопивцев, смотрит на зеркальные стены зала — и вместо пестрой толпы танцующих видит себя одного...

Когда зажегся свет, Андрей занял маму Люду поисками Настасьиной сандалиии (которую заблаговременно стащил у нее с ножки и задвинул подальше под кресло) и, только когда Букреевы прошли мимо, дал команду подниматься. Мама Люда, потрясенная фильмом, молчала, Андрей нес Настасью на руках, откуда у него берется лишний вес, — и изредка поглядывал на идущую впереди, в пяти шагах от него, Кареглазку. Золотистая шерстка, спускавшаяся у нее от затылка вдоль позвоночника и между лопатками, о существовании которой он до сих пор не подозревал, делала рыжую девушку похожей на инопланетное существо. Вдруг, почувствовав взгляд, Кареглазка обернулась — и приветливо махнула ему рукой. Андрей энергично замотал головой: приложить палец к губам он не мог, поскольку обе руки его были заняты. Женечка удивленно подняла брови, он показал взглядом на голубую спину ее отца, и она усмехнулась, довольная, видимо, тем, что папочка имеет такую власть и что специалисты его боятся. Андрей как раз не боялся, но маму Люду лучше было не волновать.

У подъезда Букреевы уселись в свою белую «короллу» с голубыми стеклами и укатили, а Тюрины побрели через весь город пешком. Мама Люда все переживала:

— Ну, как же можно такое показывать? Я прямо со страху чуть не умерла! А эта девка непотребная в кожаном, она потом куда подевалась?

Андрей снисходительно растолковал ей, что непотребная девка совсем из другого фильма. Он думал о том, что с кошмаром Валентины Аникановой покончено: теперь уж если кто явится к нему во сне, так это кинобандитка в кожаном комбинезоне. А это намного

упрощает жизнь: вряд ли она когда-нибудь предстанет перед ним вживе.

На другой день Тамара стала ревниво допытываться, где это они пропадали вчера. Привязанность ее, крепчая день ото дня, начинала приобретать самовластные формы, и Андрей не переставал удивляться, отчего маму Люду это не тяготит. С детским простодушием мама Люда стала пересказывать Тамаре вчерашний фильм о вампирах. Но Тамару все эти страсти мало тревожили, ее возмутило другое:

— Как, и вы с Дюймовочкой шли туда и обратно пешком? Через весь город? Какое варварство! А я? А «субару»? А мой телефон? Неужели так трудно было поднять трубку и сказать: «Отвези нас в кино?» Ладно, «субару» недостаточно для вас хороша. Кто запрещает вам купить здесь машину? Подержанную, в рассрочку. Деньги тратить, как видите, некуда. Хотите, я вам устрою? И права тоже можно купить.

— Права есть у Вани, — растерянно сказала Людмила. — Он все документы с собой притащил, даже билет в читальню.

— Ну, тогда какие проблемы? — обрадовалась Тамара. — Завтра же подыщу вам дешевенький «пежо».

Андрей смутился: зря он называл ее международной идиоткой.

— Мама, давай! — сказал он, покраснев. — Давай купим, а, мам?

— Не знаю, — задумчиво ответила мама Люда. — Конечно, хотелось бы по-людски. Вон, гэдээровцы все на машинах, болгары тоже, а уж капиталисты — само собой разумеется. Но у наших-то нету ни у кого. Может быть, нам не положено?

— Что значит «не положено»? — рассердилась Тамара. — Не за казенные деньги, а за свои. Глупости какие ты говоришь, Люся! Я понимаю, моей машиной вы пользоваться брезгуете...

— Да нет, да что ты, голубушка! — смущенно залепетала Людмила. Просто не хочется тебя обременять. Но все-таки непривычно как-то... надо будет у начальства спросить.

Право, не в добрый час подсказала Тамара эту идею.

— Ну, хорошо, — кротко сказал отец, — я спрошу. Только смотрите...

Было это вечером на киноплощадке офиса, ждали из культурцентра фильм с пророческим названием «Берегись автомобиля». Все специалисты, человек полтора, явились с женами и детьми: посещение киносеансов считалось здесь обязательным. Звягинцы толпились на своем традиционном месте — под фонарями у стенда «Лучшие среди нас».

— Ну, Ваня, ты даешь! — изображая крайнюю степень удивления, даже отступив на два шага, чтобы лучше этого чудака рассмотреть, громко сказал Григорий Николаевич. — А я-то держал тебя за разумного, обстоятельного мужика! Удивляюсь я этим щербатовским... Это что же, мы, дураки сиволапы, будем бродить по городу пешком, а ты мимо нас будешь ездить на своем студебеккере?

Убедившись, что Иван Петрович достаточно пристыжен, Звягин вывел его на самый свет и, поправив ему узел галстука, проникновенным голосом заговорил:

— Кстати, Иван, есть просьба у меня к тебе. Точнее, не просьба, а предложение кое о чем подумать...

От слова «кстати» Андрей не ждал ничего хорошего. Притертое это слово и было той самой стеклянной пробочкой от флакона, полного серной кислоты. «Сейчас, — сказал себе Андрей, — сейчас...» — и инстинктивно отвернулся, оберегая свое лицо.

— Не первый раз видят тебя в городе с одной... назовем ее старой задрывой. Куртизанка, понимаешь ли, мелкая предпринимательница... Социальная база реакции.

Ребята жалуются: Тюрин выгоды ищет, а с подозрением смотреть будут на всех нас. И я каким-то дураком начинаю выглядеть: представь, кто-нибудь сбегает к советнику, советник вызовет меня, и что я буду ему лопотать? Давай договоримся: не-на-до. Не надо телодвижений. Ты меня понял? И актив группы тебя очень просит: не бросай на нас тень. Мы не хотим.

По мере того, как он говорил, лицо Ивана Петровича становилось все прозрачнее и одновременно темнее, пока не приобрело цвет промасленной бумаги. И когда Звягин, потрепав его по плечу, отошел, Иван Петрович дрожащей рукой снял очки и устремил невидящий взгляд на сына. Маленькие серенькие глаза его были как будто обведены огненными кругами...

Предупреждение Звягина, как гром среди ясного неба, застало Тюриных врасплох, и сразу обнаружилось, что никакого плана действий на такой случай У них не имеется. Отказать Тамаре от дома они не решились: ну, как захлопнуть дверь перед носом человека, который не сделал тебе ничего, хорошего? А объяснить ей реальное состояние дел тоже невозможно, получается разглашение наших внутренних секретов.

— Так что же делать, Ванюшка? — шептала ночью Людмила. — Утром она наверняка явится. Обещала машину нам показать.

— Машину... — бормотал Иван Петрович. — А ведь я предупреждал тебя, Милочка: будет у нас еще хлопот с этой заявкой. Предупреждал или нет?

— Ну, предупреждал, предупреждал, не молись, — сердилась Людмила. Речь не о том, какой ты у нас мудрый и предусмотрительный. Я спрашиваю тебя, что завтра делать.

— Ну, что значит «что»? — возмущенно начинал Иван Петрович, и по каким-то обертонам в его голосе чувствовалось, что он не в состоянии ответить на этот вопрос. — Любим мы создавать сложности на пустом, понимаете, месте...

Молчание.

— Ладно, — вновь начинала шептать Людмила. — Я знаю, что делать. Не открывать ей дверь — и все. Пусть стучится. Постоит — и уйдет. Может, нас дома нет. Может, мы по делам в городе.

— А ключ внизу, у мистера Дени? — напоминал отец. — Раз ключа у него нет — значит, вы в номере.

— Ну и что? — возражала после паузы мать. — Дело какое.

— Да он же скажет, что вы дома.

— Пусть говорит. А мы все равно не откроем.

— Нет, Милочка, так нельзя, — со вздохом говорил Иван Петрович. Нельзя безнаказанно унижать человека, и ты это знаешь.

Людмила знала. Но она прекрасно знала и то, что у них нет другого выхода: еще одно свидание с Тамарой — и все полетит кувырком. Ей было жалко Тамару, которая ни задрыгой, ни куртизанкой вовсе не была, и она хотела, чтобы тяжесть решения легла на плечи мужа... однако Иван Петрович был не настолько глуп, чтобы брать на себя эту ответственность.

Утром, уходя на работу, Иван Петрович конфузливо сказал Людмиле:

— Ты умная женщина, Милочка. Как надумаешь — так и поступай. Я на тебя полагаюсь.

— Ванюшка, не беспокойся, — кротко ответила она.

Андрей уже не спал, он лежал и думал. Предупреждение Звягина представлялось ему резонным: наши люди за рубежом — не то, что, скажем, голландцы или даже поляки, их оберегают от чуждых влияний, в определенном смысле их держат под колпаком, поскольку они — носители высшей морали, эта мораль имеет чистоту почти лабораторную и потому уязвима. А в нашем случае — уязвимость двойная. Тех, кто не слишком достоин, — особенно берегут. «Да, но почему, собственно говоря? подумалось Андрею. — Что мы, особая ценность для государства? Самородные друзья? Редкоземельные элементы? Чего над нами так трястись? Какой с нас прок, если мы порченный товар?» Найти ответ на этот вопрос

Андрею было не под силу.

— А, проснулся, — буднично сказала, входя в клетушку, мама Люда. — Ну и хорошо. Вставай, умывайся, я приготовлю завтрак. Будем менять режим.

— Что, переходим на осадное положение? — усмехаясь, как взрослый, спросил Андрей.

— Что делать, сынок, приходится, — со вздохом ответила мама Люда. Приходится прятаться от доброго человека.

— Мама, но если все про нее так говорят?.. Может, она себя чем-нибудь запятнала?

— Да ничего она не запятнала, — сердито сказала мама Люда. — Я ее вижу насквозь, как стеклянную. А говорят потому, что мы народ мнительный. Ты ведь мне тоже доказывал, что она — агент трех разведок.

Андрей почувствовал себя задетым.

— Мало ли что я доказывал...

— Нет, не мало, — сказала мама Люда.

И сказала так, что Андрей не стал ни о чем больше спрашивать. Мама Люда была не так проста, как он привык считать.

Тем не менее, когда мама Люда, одевая Настасью, сообщила, что они идут к Аникановым, Андрей взбунтовался.

— Ну, нет! В этот сумасшедший дом я не пойду. Сиди там, выпучив язык... Он хотел сказать «выпучив глаза», но уж так получилось. Даже лучше, яснее. Настолько ясно, что ни мама Люда, ни Настасья не заметили оговорки.

— Мамочка, мама, — залепетала Настя, — я не хочу к Иришке, пойдем еще куда-нибудь! Ну, пожалуйста!

— Господи, дурные какие-то! — обозлилась мама Люда. — Да куда же нам идти? Некуда.

— Вот что, мать, — подумав, сказал Андрей, он отлично знал, что суровый мужской тон, столь редкий в их доме, производит на маму Люду впечатление. — Вот что, мать, пойдем-ка мы лучше на стадион. Там садик есть, можно гулять хоть до вечера.

— Ну и хорошо, ну и ладно, — согласилась мама Люда, — я водички с собой возьму лимонненькой, покушать чего-нибудь, книжки, игрушки...

Так и началась их жизнь на свежем воздухе, которую мама Люда называла цыганской. Каждой утро после ухода отца они быстренько собирались и, нагруженные сумками со снедью и снаряжением, отправлялись в садик при стадионе, где цвели олеандры, магнолии и другие растения, названия которых Андрей не знал. Там имелась даже беседка, в которой можно было укрыться от ливней. В этой беседке Андрей и оставлял своих женщин, а сам уходил в школу. При известном усилии воображения садик мог сойти за лагерь в джунглях, а под школой можно было понимать неприятельские казармы, где Эндрю Флейм в одиночку выполнял рискованное задание. Впрочем, в школу он ходил скорее по привычке, чем по обязанностям, так как Элина Дмитриевна потеряла интерес к совместной работе: сперва стала предупреждать накануне, что, может быть, завтра не придет, потом пропустила несколько дней без предупреждения и не потрудилась даже объяснить свое отсутствие, а после и вовсе перестала являться, предоставив Андрею право поступать, как ему заблагорассудится.

Когда он возвращался, в лагере шла мирная партизанская жизнь. Мама Люда вязала либо читала Настасье вслух. Помня о предупреждении доктора Славы, копошиться на земле мать сестренке не разрешала, вообще не давала слезать со скамьи, и Настасья с нетерпением

ждала возвращения «Бати». Андрей выводил ее на прогулку в сад, и Настасья расспрашивала его про цветы и кишевших вокруг жуков и букашек. Над цветущими кустарниками порхали огромные бабочки, в зарослях то и дело взлетывали толстоносые пестрые птицы. Все бы ничего, но среди садовых букашек оказались мелкие, почти микроскопические, похожие на летучих муравьев, они больно кусались, предпочитая нежную Настасьину кожу, и на месте укусов появлялись круглые язвочки, которые мама Люда щедро замазывала зеленкой.

Первое время Тамара приезжала в «Эльдорадо» ежедневно: вместе с ключом мистер Дени, глядя в сторону и всем своим видом показывая, что дела гостей его не касаются, вручал Людмиле записку. В очень трогательных выражениях Тамара сообщала, что была, не застала и завтра обязательно заскочит. «Целую всех, больших и маленьких, есть приятные для вас новости». Позднее поцелуи из записок исчезли, а на второй неделе пропали и сами записки. Людмила привыкла их получать и даже зачем-то хранила, и когда первый раз Дени выдал ключ, она расстроилась: поднявшись в номер, долго сидела на кровати и глядела в маленькое окошко, в которое почти не попадал предвечерний свет.

— А на что же ты рассчитывала? — грубо сказал ей Андрей, единственно для того, чтобы привести ее в чувство.

И мама Люда встрепенулась и поспешила к плите. Вообще-то мистер Дени не должен был ухмыляться, тут он явно превыше свои полномочия. Как-то раз мама Люда решила его задобрить и пошла нему вниз с тремя баночками консервов, но вернулась сконфуженная: мистер Дени этот запоздалый знак доброй воли с большим негодованием отверг и вдобавок Андрей сурово отчитал бедную женщину.

В «Эльдорадо» было много иностранных специалистов: многие исправно питались в ресторане за казенный счет (а от квартир, которые им предлагались, отпихивались под разными предлогами), иные, занимавшие роскошные трехкомнатные «люксы» с видом на набережную, не утруждали себя даже тем, чтобы спускаться к столу на второй этаж, обеды им подавались прямо в номера, а некоторые в интересах здоровья стряпали у себя в предбанничках, никого не стесняясь и ни у кого не спрашиваясь. Со всеми этими клиентами мистер Дени был равно почтителен и никаких ухмылок себе не позволял. Но к Тюриным счет у него был особый. Видимо, гордый толстяк никак не мог им простить того, что принял их с поклонами, как гостей доблестных вооруженных сил. Всякий раз, когда Тюрины появлялись в вестибюле, мистер Дени с отвращением отворачивался, и приходилось долго стоять у конторки в ожидании, пока он соизволит выдать им ключ.

С ключом наловчились поступать очень хитро: уходя по утрам на стадион, отдавали его, естественно, мистеру Дени, возвращаясь забирали, но было уже время вечернее, толстяк удалялся в ресторан, и, пользуясь его отсутствием, Андрей спускался, вручал ключ меланхоличному младшему клерку, выходил на улицу и минут через пять возвращался, уже не спрашивая ключа. Получалось, что ключ все время в ячейке, и, кто бы ни приходил к Тюриным, администратор, оглянувшись на шкафчик, отвечал: «Их нет дома».

Каждодневные хождения на стадион стали Андрею надоедать, и в скором времени он заметил, что перестал удивляться бабочкам и цветам: все вокруг для него стало черно-белым. Развлечений на стадионе не было никаких, по футбольному полю целыми днями маршировали солдаты-новобранцы. Провинившихся в полном обмундировании выставляли на солнцепек, и они должны были стоять навтыжку, пока не падали от изнеможения на колени... Но смотреть на то, что происходит на футбольном поле, было опасно: за такое любопытство могли выставить из садика, а то и отвести в жандармерию.

В глубине сада была натянута высокая сетка, сплошь увитая зеленью, время от времени она содрогалась от ударов теннисных мячей. В сетку была вделана железная калитка, всегда приоткрытая, но Андрей не рисковал в нее входить. Прохаживаясь с сестренкой вдоль ограды корта, он размышлял о том, что теннис — это, должно быть, игра молчунов. Играющие давали о себе знать лишь топотом и шарканьем ног да шумными вздохами. Редко кто-нибудь из невидимых игроков вскрикивал «Найс!», отмечая хороший удар, либо «Сорри!», извиняясь перед партнером за какую-то оплошность.

Настя этой ограды опасалась: для нее густая шуба зелени поднималась до самого неба, и все время ей, покусанной насекомыми, казалось, что там что-то «шубуршит». Но Андрея тянуло к калитке, ему представлялось, что там, за зеленой стеной, царит какая-то другая жизнь, чистая и здоровая, упорядоченная и осмысленная, свободная от обмана, стыда и страха, и что его место, наверное, все-таки там.

И вот однажды в черную сырую землю у самых его ног глухо ударился ярко-зеленый теннисный мячик, подскочил пару раз и покатился по дорожке. Настасья выпустила братнину руку, побежала за мячиком, схватила его и тут же бросила.

— Ой, мохнатый, — сказала она испуганно.

Мяч и в самом деле как будто оброс пушистой шерсткой. Андрей поднял его, постоял, склонив голову к плечу и поглядывая на верхнюю кромку зеленой стены, потом размахнулся, и в этот момент из калитки вышла Кареглазка. Она была в белом платье, невероятно коротком, в белых теннисных туфлях и голубых носочках, ее пушистые волосы были схвачены, как обручем, вязаной голубой лентой. В руке у нее была сверкающая ракетка с металлическим хромированным ободом. На фоне пышной зеленой стены Кареглазка казалась неправдоподобно прекрасной. Как серебряный голавлик на сырой зеленой траве. В первую минуту Женечка не узнала Андрея, она бегло посмотрела на него, потом перевела взгляд на Настасью, и на загорелом тугощеком лице ее появилась гримаска брезгливости. Видно было, что Кареглазка колеблется: не махнуть ли на мячик рукой? Рассудительность, однако, победила. Вновь взглянув на Андрея, она вскинула на Андрея голову и что-то повелительно сказала ему по-английски.

Андрей стоял в оцепенении. Потом встрепенулся, сделал шаг к Кареглазке и протянул ей мяч.

— А, это ты, — сказала она с безразличной усмешечкой, впившейся в его сердце, как кривой осколок тонкого, почти невидимого лабораторного стекла. — Гуляешь?

Взяла мяч, умудрившись при этом не коснуться руки Андрея даже кончиками пальцев, повернулась и, выставив вперед плечо, стала бочком вдвигаться в полуоткрытую калитку.

Сделалось тихо и пусто вокруг, даже свет померк, Андрей почувствовал себя стоящим на дне глубокого замшелого колодца, и все вокруг него, как в заброшенном колодце, пахло сыростью и чернилами.

Но тут Кареглазка, словно зацепившись платьем за проволоку, приостановилась, помедлила в неловкой позе и, извернувшись, вновь оказалась лицом к лицу с Андреем.

«Как мы ее... выдернули!» — машинально подумал Андрей.

Какие еще нужны доказательства? Достаточно было ему подумать: «Не уйдешь» — и Кареглазка затрепыхалась на крючке его взгляда. Он был уверен, что мысленно произнес «Не уйдешь», и разубедить его было некому.

— Ты здесь один? — упираясь ракеткой в землю, как фехтовальщица рапирой, спросила она.

Андрей покосился на сестренку, которая умильно (чем очень напоминала сейчас маму Люду) глядела снизу вверх на ослепительную повелительницу мохнатых мячей, потом зачем-то обернулся и, чувствуя себя дураком, пожал плечами.

— Да нет, ты меня не понял, — сердито сказала Кареглазка. — Экая бестолочь. Я имела в виду: ты должен отвести ее домой или можешь на кого-нибудь здесь оставить?

«Отвести ее домой» было произнесено так выразительно, что Андрей догадался: перепачканная зеленкой Анастасия Женечку раздражает. Кареглазке было неприятно даже то, что эта маленькая девочка, запрокинув разукрашенное лицо, просто на нее смотрит.

— Мы с мамой, — глядя в сторону, буркнул Андрей.

Ему уже и самому хотелось избавиться от некрасивой сестренки, и он, устыдившись этого желания, злился на Кареглазку и на себя. Выдумка не только жила своей жизнью, но и навязывала ему поведение.

— Видишь ли, — усмехаясь, сказала Женечка, — я в интересном положении. Папончик обещал забрать меня в десять, но вот уже двенадцатый час, все мои партнеры разъехались, а я, как мазохистка, одна на корте играю сама с собой.

Уставившись на ее ноги в белой обуви и голубых носках, Андрей молчал. Ему пришла в голову нелепая мысль, что его приглашают сделаться... как это у них называется? спарринг-партнером. Ну, это уж дудки. Андрей никогда не брался при людях за то, чего не умел: даже на велосипеде он учился кататься вечерами по дну оврага, где его никто не мог увидеть. А теннисных кортов в Щербатове вообще не было... то есть, может, они и были — на закрытых базах отдыха по ту сторону озера.

— Во-первых, мне не разрешают ходить одной по городу, — продолжала Кареглазка с небрежностью в голосе, позволявшей судить, что это обстоятельство ей нравится, — а во-вторых, я не взяла с собой ничего переодеться. В такой спецодежде...

Она переступила с ноги на ногу и коротко, очень по-взрослому, даже бесстыдно произнесла:

— Ха-ха.

Андрей невольно взглянул на ее загорелые крепкие бедра, на левом был круглый темный синяк, и это повергло его в смятение. А Женечка очень понимающе и даже сочувственно переждала этот приступ конфуза и непререкаемым тоном сказала:

— В общем, так. Отведи ребенка к маме и возвращайся, проводишь меня домой. Понял? Жду. И поскорее, пожалуйста, мне тут надоело.

Мама Люда была очень взволнована таким поворотом дел. Отложив в сторону вязанье, она попросила Андрея повторить все сначала и выслушала его так внимательно, как будто он зачитывал заявление ТАСС.

— Ну, что ж, сынок, — сказала она неуместно торжественным тоном, и носик ее покраснел от подступающих слез, — ты уже взрослый мальчик, иди. Нельзя бросать девушку в таком виде. Это, как говорится, святая мужская обязанность.

Она помолчала и совсем уже некстати прибавила:

— Ведите себя прилично.

...Кареглазка, нетерпеливо переступая с ноги на ногу, стояла у зеленой калитки, на ремне у нее через плечо висела желтая сумка с ракеткой. Приближаясь, Андрей чувствовал, что она внимательно и оценивающе, в точности как мама Люда минуту назад, оглядывает его одежду. По-видимому, отметка была выставлена удовлетворительная, потому что, когда он подошел, Женечка капризно и в то же время по-свойски сказала:

— У, как долго.

Этой репликой, словно касанием руки, Кареглазка сняла с него напряжение. Сделала она это, скорее всего, бессознательно, так ей было проще самой.

Они протиснулись сквозь прижавевшую к косяку калитку, прошли вдоль кортов (одну из площадок протирал широкой шваброй седой служитель, он прекратил свою работу и отвесил Кареглазке низкий поклон, она небрежно помахала ему рукой), пересекли лужайку с живописно расставленными столиками и пестрыми зонтами, был там еще голубой бассейн, словом — все как на рекламной картинке, призывающей жить просто так.

Вышли на людную улицу, ведущую в Верхний город. Кареглазка шагала легко, словно золотоногая лань, не глядя на Андрея и не говоря ему ни единого слова. Голубую вязаную ленту, которая ее очень красила, она сняла и надела синюю заливчатскую кепку с крупными белыми буквами «Джей-Би», означавшими то ли «Джейн Букреева», то ли «Джеймс Бонд». Для прогулок по городу платишко ее было и в самом деле коротковато, из-под него выглядывали трусики. Завсегдатаи кофеен как по команде опускали свои газеты на столики, провожали Кареглазку восхищенными взглядами, качали головами и цокали языком, следом бежали мальчишки, для них это было бесплатное развлечение, живой ролик из фильма, и они старались выжать из ситуации все, что только возможно.

— Кисс ми, пусси! — крикнул один, самый дерзкий, забегая вперед и заглядывая Кареглазке в лицо.

Заслоняя свою спутницу, Андрей плечом вперед пошел на обидчика. Кареглазка испуганно схватила телохранителя за рукав.

— Только без драки, — быстро проговорила она. — В жандармерию захотел? Мимо, бряцая амуницией, проходил военный патруль: три темнокожих тиранозавра, побрякивающих пластинами панцирей, глаза их свирепо блестели из-за надвинутых касок. По многозначительным взглядам, которыми обменялись солдаты, можно было догадаться, что, если бы представился случай задержать Кареглазку, они бы не заставили себя просить.

— Сумку, между прочим, и ты бы мог понести, — мило улыбаясь патрульным, сказала Кареглазка. — Тоже мне, кавалер из Моршанска.

Андрей взял у нее сумку, повесил себе на плечо.

— Я не из Моршанска, а из Щербатова, — ответил он.

— Это одно и то же, — сказала Кареглазка.

Андрей не стал с нею спорить: он видел, что Женечка трусит, и понимал, что у нее есть основание остерегаться военных патрулей. По местным понятиям она была зрелая девица, и как ребенка ее здесь никто не воспринимал. А как солдаты, когда им никто не мешает, поступают с девицами, Андрею было известно. Кареглазке, видимо, тоже.

Чтобы отвязаться от мальчишек, выжидавших в отдалении, пока пройдет патруль, они перебежали на другую сторону улицы, свернули в переулок, потом еще раз свернули. Здесь было глухо и пустынно, сплошные ограды особняков, совершенное безлюдье, у тротуара стояли легковые машины, и на запыленные тусклые крыши их, глухо тюкая черенками, падали желтые фикусовые листья.

— Ну, ситуация! — облегченно смеясь, проговорила Кареглазка. Совершенный тащ.

— Что значит «тащ»? — спросил Андрей.

— «Тащ» — значит «отпад», — объяснила Кареглазка.

Вдруг она умолкла, шагая, и Андрей почувствовал, как на щеке его играет золотистый отблеск ее пытливого взгляда.

— Слушай, — сказала Кареглазка, с легкостью заводя разговор на единственную тему, которая у них могла быть названа общей, — Элинка что, тебя подтягивает?

— В каком это смысле? — удивился Андрей.

— А зачем ты в школу ходишь?

— Стенгазеты рисую, стенды в порядок привожу.

— С какой стати?

— А делать все равно нечего. Кареглазка помолчала.

— То-то я и гляжу, — проговорила она, — вид у тебя не дебильный, значит, что-то здесь не так...

— А в чем, собственно, дело? — Андрей остановился. — Выражайся ясней.

Кареглазка, вскинув голову, весело глядела на него из-под лихого козырька.

— Значит, ты не отстающий? — спросила она.

Школьными успехами в Щербатове хвастаться было не принято, и Андрей лишь пожал плечами. Это произвело на Женечку должное впечатление.

— Понятненько, — сказала она. — Благодарность посольства выколачиваешь. Ну-ну. Рисуй дальше. Только знай, хороший мой, что не те времена, на наглядности теперь далеко не уедешь. Естественный отбор.

— Если естественный — тогда за меня можешь не волноваться, — ответил Андрей.

— Я? За тебя? Волноваться? — Кареглазка засмеялась. — Да кто ты вообще такой?

Они стояли у широких решетчатых ворот, за которыми виднелся сад с подстриженным газоном. Посреди газона в качалке сидел темнокожий человек в расстегнутом офицерском мундире и с большим интересом глядел на спорящих.

— Я бы ответил тебе, кто я такой, — медленно проговорил Андрей, и лунная кровь в его сердце тяжело колыхнулась, — да боюсь, что ты испугаешься. Пойдем, на нас смотрят.

Вскоре путаница переулков кончилась, перед ними открылась широкая площадь. Дети вышли на самую ее середину, на горбатое открытое пространство — и, как это здесь часто случалось, налетел ветер, поднялась ржавая пыль, в небесах заворочалась невесть откуда взявшаяся толстая сине-белая туча, и хлынул плотный ливень. Пока бежали до ближайшего козырька над каким-то административным подъездом — промокли насквозь.

— Черт его знает, где он мотается, — проговорила Женечка, утирая ладонью залитое дождем лицо. — Выбрал дыру, могли бы в Дании жить...

Сейчас она была похожа не на дочку советника, а на простую щербатовскую девку, застигнутую дождем: так же ругалась, не заботясь о подборе слов, так же отфыркивалась и обжимала платье, потемневшее в тех местах, где оно прилипло к телу. Стало видно, что под платьем, кроме ничтожных трусиков, на ней ничего нет.

Вдруг она повернулась к Андрею, взглянула ему в лицо. Золотистые глаза ее блестели, как будто тоже были забрызганы дождем. Волосы промокли, и оттого головенка ее стала маленькая и темная, как, как у рыжего сеттера.

— А ты что губы распустил? — спросила она. — Есть, да не про вашу честь. Достань полотенце.

Андрей исполнил приказание и отвернулся, чтобы не видеть, как она, сунув полотенце за ворот, обтирает плечи и грудь.

— Все равно как голая, все облипло, — приговаривала Кареглазка. — Ну, куда он пропал? Может быть, за Гонконгом поехал?

— Может, и за Гонконгом, — чтобы только ее успокоить, сказал Андрей.

Но, должно быть, это прозвучало недостаточно убедительно, потому что Женечка вдруг перестала обтираться и обошла Андрея кругом, глядя на него, как на чудо света.

— Ой, какой дикий! — нараспев произнесла она. — Ой, какой крутой! Совсем пепа. Ты не знаешь, что такое Гонконг?

— Почему не знаю? — возразил Андрей. — Гонконг — это выписка.

— Правильно, выписка, — сказала Кареглазка. — Вообще-то я Гонконг не очень люблю, ширпотреб, дешевка, лучше выписывать напрямую из фирмы. В фирмах сидят такие лапочки! Представляешь: забыла размер указать... ну, там одного дела. Присылают — как влитое, и приписочка: «Просим нас извинить, но нам кажется, что эта вещь вам будет впору. Примите ее без включения в инвойс как скромный знак нашей благодарности». Хитрецы! Вычислили меня на своих компьютерах. Кстати, «Неккерман» свой летний каталог прислал, скоро будем заказывать. Если хочешь, я тебя подключу. «Неккерман» — это моя любимая выписка, я и приехала к летнему каталогу. Многие у нас так и живут — от выписки до выписки. Ну, так что насчет «Неккермана»?

— Нет, спасибо, — пробормотал Андрей.

Объяснение Женечки не прояснило картину, он так ничего и не понял. Ясно было только одно: это — совсем другая жизнь. Совсем другая. Вникать в нее — позабыть обо всем остальном. Все равно что учить язык суахили.

— А ты тоже от выписки до выписки? — спросил Андрей.

— Конечно, ответила Кареглазка. — Я же выездная. Как говорит папончик, на чью-то беду.

— В Москве, наверно, из «Березки» не вылезает? — усмехаясь поинтересовался Андрей.

Сам он в столичную «Березку» не заходил: ждал маму Люду у выхода. Ему запомнились окна, затянутые пустой холстиной (ну, хоть бы написали на ней для виду: «Храните деньги в сберегательной кассе»), и девочки, снующие взад и вперед, все милovidные, неуловимо похожие, с тупенькими носиками и остренькими глазками, раскрашенные, как жужелицы: тронь взлетит и с фырчанием унесется.

— Ну, прямо, — пренебрежительно сказала Кареглазка. — Вся торговля одета из

«Березки». «Березка» — это для таких, как ты.

Она усмехнулась и добавила:

— Извини.

Ох, как легко ей давалось это «извини».

— Ну, хорошо, — сказал Андрей, — это пока твой отец выезжает. А как на пенсию уйдет?

— Папончик у меня еще молодец, — беспечно ответила Женечка.

— Но рано или поздно...

— Рано или поздно — выйду замуж за фирмача. Лучше за новозеландца.

Кареглазка сказала это так спокойно, что Андрей отшатнулся. Как будто она окаменела у него на глазах, обратилась в соляной столб.

— А что? — засмеялась Кареглазка, приближая к нему лицо и открывая ровные голубоватые зубки. — Не за тебя же, убогого! Альый шелк — рыбий смех — новый почин.

Андрей ошеломленно молчал. Ливень между тем настолько усилился, что все вокруг стало мутно-белым, у самых их ног заплескался поток желтопенной воды, в котором, кружась, уносились к океану мириады голубых цветов.

— Не понимаю, — проговорил Андрей, — почему за новозеландца лучше. Круглый год ходить вниз головой...

— Ну, раз уж ты такой патриот своего полушария, — сказала Кареглазка, — то отвези меня домой. Я замерзла.

Губы у нее и в самом деле стали сиреневыми.

Андрей огляделся. На площади не было ни души, только у соседнего здания жались к стене несколько женщин с плетеными сумками, да из переулка на Площадь Единства медленно выплывал большой темно-синий автомобиль с широким бампером: именно выплывал, подымая коричневые волны воды. Номер у него был белый, дипломатический. «Бог простит» — сказал себе Андрей и, выскочив из-под навеса на мостовую, бросился наперерез, выставляя большой палец правой руки, как это делал Ростислав Ильич.

К его удивлению, автомобиль остановился. Водитель, наклонившись, протянул руку и открыл переднюю дверцу. Это был африканец, круглолицый, улыбчивый, в ярко-синем, под цвет своего «вольво», костюме с пурпурным галстуком.

— Мэй ю гив ас э лифт? — произнес Андрей заранее заготовленную фразу и указал рукой на стоявшую под козырьком Кареглазку.

— Шуар! — улыбаясь, ответил африканец.

— Ну, ты даешь, — сказала Кареглазка Андрею, усаживаясь. — В Моршанске все так умеют?

В машине было мягко, сухо и тепло, мерно работали «дворники», разгонявшие по зеленоватым стеклам широкие потоки воды. Африканец оказался очень разговорчивый. Он посетовал на непредсказуемую погоду, похвалил английский язык юной леди и справился, откуда молодые люди прибыли. Женечка ответила, что из Финляндии. Потолковали о суровой северной зиме, о катании на лыжах и на коньках. Вопрос о том, какие фрукты растут в Финляндии, Кареглазку не смутил. Она ответила в том смысле, что фрукты-то есть, однако их названия не переводятся на английский. Африканец сочувственно покачал головой: надо же, это ж надо.

Андрей в разговоре не участвовал. Ему было горько, как будто его обобрали — да еще надсмеялись.

Тут африканец бросил на него веселый взгляд через плечо и спросил:

— Брат и сестра?

Кареглазка ответила отрицательно: признавать мальчика из Щербатова своим братом она не хотела.

Когда миновали многоэтажный центр и въехали в район дипломатических миссий и вилл, дождь уже кончился, и за кромкой уходящей тучи влажно поблескивало солнце. К самому офису Кареглазка подъезжать не захотела, попросила высадить их на углу.

— Спа-си-бо, — произнес Андрей, когда они стали вылезать из машины. Кареглазка метнула на него гневный взгляд, но он сделал вид, что ничего не заметил.

— Спа-си-бо, ха-ра-шо! — радостно проговорил африканец. И добавил по-английски:

— Как прекрасны эти скандинавские языки! Когда он уехал, Кареглазка холодно осведомилась:

— Ты нарочно? Или все-таки умственно отсталый?

— Не вижу причины стесняться, что я из Союза, — ответил ей Андрей. Ты в Новую Зеландию, а мне — домой.

Но Кареглазка его уже не слушала. Раздувая ноздри (в точности как советник), она глядела куда-то поверх его плеча, и глаза ее мстительно щурились. Андрей обернулся: белая «королла» Виктора Марковича как ни в чем не бывало стояла возле офисных ворот.

— Ах, так! — свирепо сказала Кареглазка. — Ну, он у меня сейчас получит.

— Ладно, я пошел, — буркнул Андрей. — Отсюда тебя уже не украдут.

— Ну, нет! — взвилась Кареглазка. — Пусть знают, что я притащилась пешком.

— А я-то тут при чем? — удивился Андрей.

— Ты — вещественное доказательство.

Калитка запахнулась прежде, чем Женечка успела коснуться черной кнопки, и дети ступили на желто-красную дорожку, толсто пропитанную дождевой водой. На фоне темно-синей уплывающей тучи, в цветах и сверкающих каплях дождя дом Кареглазки казался прекрасным, словно дворец принцессы Шиповничек... и в то же время было в нем что-то отчаянное, что-то от заваленного свежими венками могильного холма. Так казалось сейчас Андрею, потому что Кареглазка для него навсегда умерла...

Когда приблизились к зеркальному окну, за которым, изумленно глядя на них, сидел тот самый переводчик с почти бесцветными усами под розовым накладным носом, Андрей замедлил шаги.

— Все, дальше не пойду.

— Ай, перестань кобениться! — с досадой проговорила Кареглазка и, схватив его за руку, втащила в приемную. — Ты мне нужен.

Во внутренних коридорах офиса стены были отделаны темным деревом, тихо гудели кондиционеры. Наверх вела деревянная лестница с резными перилами и скользкими ступенями.

— Иди на цыпочках, — шепотом сказала Кареглазка. — Вообще-то мы приемную не ходим, но я хочу застать их врасплох. Чем они там без меня занимаются? Склоку, наверно, опять развели. Катька давно уехала, а им неймется.

Она остановилась, поглядела Андрею в лицо и сварливо добавила:

— Да брось ты прикидываться. Все в колонии знают.

Лестница привела их в просторный зал устланный мягким фиолетовым паласом. Если бы не этот палас, можно было подумать, что Кареглазка завела его в какое-то складское

помещение: в центре зала в три яруса громоздились большие картонные ящики, по полу были разбросаны обрывки желтых упаковочных лент и фигурные прокладки.

— Ха-ха! Гонконг пришел! — радостно воскликнула Женечка. — А я тебе что говорила?

Действительно, все ящики и коробки были покрыты крупными сини надписями: «Хонг-Конг-Монхэйм».

— Дженни? — послышался издали голос советницы. — Кто это с тобой?

Все еще держа Андрея за руку, Женечка обошла картонную баррикаду.

— Ах, вот они где! — сказала она злорадно. — Без меня делить начали! А я отстающего привела.

Советница в широком балахоне с зелеными попугаями на розовом фоне похожая на королеву-мачеху, сидела за журнальным столиком, на котором, в футлярах и без, были разложены подвески, цепочки, кольца и броши, все усыпанные мелкими красными камнями. Рядом и в то же время на некотором отдалении расположились две дамы: пожилая Ляля, неотрывно и замороженно, как первобытный человек на костер, глядевшая на кровавые сокровища, и Элина Дмитриевна, которая, увидев Андрея, зарделась, словно девочка, в своем всегдашнем белом вицмундире с рюшами и оборочками, и видно было, что у нее покраснели даже шея и грудь.

«Влюбилась она в меня, что ли?» — в замешательстве подумал Андрей.

— Зачем ты лишнее говоришь? — вполголоса сказал он Кареглазке. Какой я отстающий?

— А кто же ты? — лукаво спросила Женечка. — Кто же ты, если Элина Дмитриевна с тобой дополнительно занимается? В отпуск, бедная, не едет, и все из-за тебя. Вот — Гонконга дождалась. Может, теперь...

Андрей побледнел. Да, это была подлость, первый раз в жизни его так предавали. «Мастеровитый...» И никаких оснований сомневаться в словах.

Кареглазки у него не было. Лицо Элины залилось свекольным румянцем, таким густым, что даже глаза ее сделались белыми. Удовлетворившись содеянным, Женечка сменила тему.

— А почему за мной никто не приехал? — капризно спросила она. — Я что, должна ходить по городу пешком? Под дождем да еще в таком непотребном виде? Если бы не Андрей, меня бы два раза уже изнасиловали.

— Ну-ну, расшалилась, — проговорила Надежда Федоровна, она повернула к Андрею свое туго накаченное загорелое лицо со светлыми мохнатыми бровями и посмотрела на него зорким медицинским взглядом — в точности как доктор Слава.

В это время заскрипели ступени, и на винтовой лестнице, ведущей на третий этаж, появился советник. Он был в желтом махровом халате, с мокрыми прилизанными волосами и совершенно не похож на себя. Только когда он заговорил, Андрей его узнал.

— А, ты уже здесь, — сказал советник дочке. — Прости, мумзик, не смог: задержался со всей этой дрянью в таможне. Хотел послать за тобой дежурную машину.

— Долго хотел, — ответила ему Кареглазка. — Я сама пришла.

— Ты, кажется, делаешь мне выговор? — спросил Букреев.

— Нет, я выношу тебе благодарность.

Тут советник заметил Андрея, и ноздри его зашевелились.

— Позвольте, — сказал он тонким голосом, — а этот парень как здесь оказался?

— Он меня проводил, — ответила Кареглазка.

— Это хорошо, — помедлив, обронил советник и повернулся с намерением уйти наверх.

Ноги у него были голые и босые, что-то барское и в то же время низменное придавала его фигуре эта деталь. Когда Андрей сообразил, что советник вышел к людям босой, он вдруг страшно смутился и с отчаянием почувствовал, как горячая кровь медленно и неотвратимо начинает стучаться в его щеки, глаза и уши, как будто это он оказался в исподнем перед посторонними, неприязненно глядящими людьми.

— Папончик, отвези его домой, — требовательным тоном балованной дочери сказала Кареглазка.

Советник остановился на полпути. По тому, как медленно он повернул голову, видно было, что просьба Женечки ему неприятна. Но отказать любимому «мумзику» он, должно быть, не мог.

— Внизу дежурная машина, — сказал советник, глядя через плечо. «Ж» и «Ш» он произносил как «Ф», выставляя нижнюю губу ложечкой, как это делают дети. — Пусть скажет Ляле и едет.

И, шлепая босыми ногами, он удалился.

— Нечего их приваживать, — сказала мадам Букреева. — Дай ему что-нибудь — и пускай идет пешком. Дождь уже кончился.

— Мамончик, ты гений! — облегченно проговорила Кареглазка и, наклонившись над одной из коробок, достала из нее что-то похожее на ярко начищенный медный, с большими колесами самовар. — Вот сувенир от фирмы. Бери, пока я добрая!

Она протянула эту странную вещь Андрею, он отступил на шаг и спрятал за спину руки.

— Не надо, не хочу, некогда! — умоляюще пробормотал он.

Вся беда в том, что, когда он краснел, он терял способность к осмысленному сопротивлению: или уж «не надо», или «не хочу», а «некогда» обесценивало и то, и другое. Так отец сопротивлялся выездному варианту. И Женечка Букреева будто об этом знала.

— Да ты посмотри, что за прелесть! — сказала Кареглазка, уговаривая его, точно ребенка.

Она присела на корточки и поставила прелесть на пол. Это был паровоз с двумя трубами и несоразмерно большою, с хороший будильник величиной, желтой стеклянной фарой. Все в этой игрушке, и тендер, и колеса, и шатуны-кривошипы, и медные трубы, было сделано из добротного металла и добротно прилажено. А на том месте, где полагалось находиться кабине, установлена была четырехгранная бутылка того же желтого стекла с широкой медной пробкой.

— Ну, смотри же сюда! — глядя на Андрея снизу вверх и сердито смеясь, говорила Кареглазка.

— Бесстыдница, встань с колен! — быстро сказала ей мать. — Сколько надо повторять, чтоб не забывалась?

Вот откуда шел новозеландский фирмач, вот чьи неутоленные желания угнездились в Кареглазке, как в румяном яблочке поселяется приползший извне червячок, для фирмача мадам советница ревниво берегла те сокровища, которые Кареглазка сейчас с наивным бесстыдством выставила напоказ. До этого соображения Андрей, естественно, не дорос, он только уловил в голосе Надежды Федоровны дикую, биологическую ревность, — и спину ему окатило мурашками такого же животного страха.

— Я кому говорю? — Надежда Федоровна повысила голос.

Но Кареглазка ее не слушала.

— Ну, пожалуйста! — упрашивала она Андрея. — Смотри сюда!

И Андрей сдался. Он присел рядом с Женечкой, покатал паровоз по полу. Шатуны и кривошипы исправно двигались.

— А теперь подними бутылку! — радостно сказала Кареглазка.

Андрей приподнял штоф — послышалась тихая музыка, меланхолично вызвавшая: «Гим-на-зист-ки румяные, от мороза чуть пьяные, грациозно сбивают рыхлый снег с каблучка».

— Ну, что? — заглядывая Андрею в лицо, спросила Кареглазка. — Правда, прелесть? Нравится тебе? Скажи, нравится?

Игрушка была нелепая, громоздкая, но поди скажи что человеку, который так тебя уламывает. Получится, что претендуешь на что-то иное.

— Очень модная штучка, — обиженным голосом поставленного в угол ребенка проговорила издалека Элина Дмитриевна. — У нас дома уже есть такая, только в виде автомобиля. И играет другое. Как же это...

И, мучительно похрустев пальцами, Элина Дмитриевна фальшиво и жалобно запела:

— «Слушай, Ленинград, я тебе пою...»

Это было уже слишком. Все окна оскалились на Андрея и заржали, хватая железные решетки золотыми от солнца зубами...

И, бормоча несусазицу, Андрей схватил паровоз, поднялся и побежал по лестнице вниз.

Вот уж кто порадовался подарку Женечки Букреевой, так это мама Люда. Натура у нее была сорочья, и она питала пристрастие к блестящим, ярко начищенным металлическим вещам. То и дело она подходила к паровозу, установленному на единственной свободной поверхности в номере — на холодильник «Смоленск», и, склоняя голову то к правому, то к левому плечу, умиленно любовалась игрушкой.

— Какая красота! — тихо приговаривала она. — Нет, как сделано, подумать только! Какая красота!

Андрей угрюмо на нее косился. Он, разумеется, не мог рассказать маме Люде обо всех обстоятельствах, при которых ему навязан был паровозик, и потому приходилось терпеть. Мама Люда настойчиво и пристрастно расспрашивала его о том, где был вручен ему этот ценный подарок, какими словами сопровождалось вручение, кто при этом присутствовал и даже какие были у свидетелей выражения лиц. Волнующий рассказ о паровозике она готова была слушать бесконечно и очень огорчалась, что Андрей так неохотно рассказывает.

— Какой ты у меня бурчей! — жалобно говорила она. — Пару слов клещами не вытащить...

Выводы из происшедшего мама Люда сделала решительные и для Андрея совершенно неожиданные: если так — не нужно больше прятаться от Тамары, зачем обижать человека, который сделал нам столько добра?

— Нет за нами никакого следа, — внушала она отцу, — иначе советница вовек бы такого не допустила. Звягин пикнуть теперь не посмеет, поверь, я людей знаю. Что такого мы сделали? Никого не обманываем, никаких правил не переступаем, работаем на совесть — и на тяготы не жалуемся. Мы — честные, порядочные люди, страна оказала нам доверие, и аппарат тоже должен нам доверять. Не может быть у нас с тобой порочащих связей! погоди, я еще пойду к Букрееву и скажу ему: «До каких пор Звягин будет клеветать на хорошую бабу, кто ему дал право отпугивать от нее людей? Она такая же советская гражданка, как и мы все!»

— Храбрая ты зайчиха, — с сомнением говорил ей Иван Петрович, — а смысл какой? Какая цель?

— Пускай хоть разрешат ей приходить на кинофильмы в офис, это для начала. Потом мальчишечку в школу пристроит. Она, Ванюшка, в долгу не останется.

Намерения эти были прекрасны, но нужно было еще, чтобы о них узнала Тамара, а Тамара перестала заходить в «Эльдорадо» и, видимо, махнула на Тюриных рукой.

Город, однако, был невелик, и однажды вечером, возвращаясь после фильма из офиса, Тюрины повстречали «субару». Первым ее заметил Андрей и если не обрадовался, то, во всяком случае, почувствовал облегчение: постыдные прятки его тоже тяготили.

— Вот твоя, — нарочно грубо сказал он матери, — лягушонка в коробчонке...

— Где, где? — мама Люда завертела головой.

Пока она оглядывалась, Тамара проехала в двух шагах от нее, глядя прямо перед собой со скорбной улыбкой. Мама Люда запрыгала и замахала руками. «Субару», горбясь, доползла до угла, притормозила, помедлила, словно оглядываясь, — и вдруг, вспыхнув, как от счастья, яркими белыми огнями, дала задний ход.

— Где жеты пропала, голубушка? — спросила мама Люда после первых объятий,

поцелуев и слез.

Тамара с упреком посмотрела на мать и ничего не ответила. Она крепко, по-мужски потряхнула руку Андрея и наклонилась к Насте.

— Кто тебя так разукрасил, золотая моя? — спросила она.

— Мама, — ответила Настя. — Меня мурашки покусали, а мама замазала.

— Мурашки? Где же ты на них набрела?

— А в садике, где мы от вас прятались. Мама Люда застрекотала:

— Не слушай ты ее, Тамарочка, не слушай! Болтает невесть что, дуреха нелепая!

— А почему ж вы от меня прятались? — не слушая ее, спросила Тамара Настю. — Разве я такая страшная?

— Нет, вы не страшная, вы хорошая, — простодушно отвечала Настя. — Только Звягин не разрешает с вами водиться. Говорит, у вас плохой репутет.

— Репутет? — смеясь и плача, проговорила Тамара.

— Да глупости она говорит! — Мама Люда так и плясала вокруг Тамары. В садик мы гулять ходили, нельзя же все время сидеть в номере.

— Я все понимаю, Люсенька, — со вздохом сказала Тамара и поднялась. Все понимаю. А девочку надо на пляж вывозить. Окунется пару раз в соленую водичку — и все ее болячки пройдут, лучше всякой зеленки. Вы ж на «Сэнди-бич» еще ни разу не были?

— Да какое там! — жалобно сказала мама Люда. — Возле самого моря живем, а только глазами его и едим, это море.

— Я могла бы вас каждое воскресенье туда возить, это двадцать километров от города. Ваши там бывают, но на культурном участке, где шезлонги и зонтики. А мы выберем дикое место, шашлыки будем жарить, хотите?

— Ой, мамочка, мама! — Настя запрыгала, заплескала руками. — Ну, пожалуйста!

Иван Петрович отнесся к этой идее с большим сомнением:

— Авантюристка ты, Мила! Ну, подумай сама: мне же у Звягина нужно отпрашиваться — или у самого Букреева. А они спросят, на каком транспорте мы туда собираемся.

— А если не отпрашиваться?

— Ну и вышлют в двадцать четыре часа.

— Ты же сам говорил, что за пустяки не высылают.

— А это не пустяки. Милочка. Это нарушение режима.

Настасья слушала этот разговор, сидя на родительской постели и переводя сосредоточенный взгляд с отца на мать и обратно. В номере стояла влажная духота, лицо девочки, отекшее и болезненно лоснящееся, казалось старообразным и вызывало тревожное представление об иконах и церковных свечах.

— Неправда это все, — вдруг тихо, но очень убежденно сказала она.

— Что неправда, дочка моя? — повернулась к ней мама Люда.

— И не дочка я тебе, и не Дюймовочка, — отвечала Настасья. — Я Бельмовочка, вот кто я. И Дерьмовочка, я знаю.

— Слушай, мать, — вмешался Андрей, — она сейчас непечатно выражаться начнет.

— И начну! — сказала Настасья.

И начала. Право, жутко было слушать, как иконописный ребенок изрыгает богохульства и мерзости, которые в семье Тюриных не произносились никем и никогда: общение с Иришкой Аникановой принесло обильные плоды. Ужас и оцепенение родителей, видимо, напугали девочку, потому что она вдруг умолкла, уткнулась в колени матери и безутешно

зарыдала. Успокаивать ее пришлось почти до утра...

И вопрос о выезде на море был решен.

В первое же воскресенье в семь часов утра выехали. «Субару» могла вместить хоть десять человек. В кабине рядом с Тамарой ехали мама Люда и Настя, сзади, под тентом, на мягких, пускай драных диванчиках сидели мужчины: Иван Петрович, Андрей и Руди.

Дорога на «Санд-бич» была хорошая, асфальтированная, под эвкалиптами, среди цветущих олеандров. Синь морской воды весело проглядывала за деревьями, то был еще не океан, а узкий пролив между материком и островами. Но вот распахнулась оливковая в белых шапках валов пустыня открытого океана, и даже небо над ним было не голубое, а светло-зеленое.

Свернули с шоссе, поставили машину в тени под кустами, чтоб не перегрелась для обратной дороги. Выгрузили мангал, связку шампуров, бидон с замаринованным мясом, мешок легкого и звонкого древесного угля. Еще в неисчерпаемой «субару» оказались складные стулья и складной же алюминиевый стол, все старенькое, использованное, но добротное.

— Раньше мы с Жорой каждую неделю сюда приезжали, — сказала Тамара. И Линдочку брали с ее молодежной компанией. На трех машинах, с кассетчиком...

Тамара говорила по-русски очень чисто, но некоторые слова, усвоенные ею уже на чужбине, никак ей не давались. Кассетный магнитофон она называла «кассет», а когда ее поправили — стала говорить «кассетчик». Слово «кассетник» она почему-то произнести не могла.

Пока взрослые разбивали лагерь, Андрей повел Настю к воде. Руди двинулся было за ними, но передумал и с неестественным азартом принялся гонять по песку Настин мяч.

«Ну и черт с тобой» — подумал Андрей, оглянувшись.

Он посадил сестренку на плечи и осторожно, бочком к прибою, стал заходить в воду. Когда ему было по под мышки и худые Настины ноги уже бултыхались в воде, океанские валы вдруг перестали быть опасны, они гремели за спиной, ближе к берегу, а здесь колыхалось корыто тихо и ласково вогнутой воды, но зато песок под ногами стал вкрадчиво жидким и поплыл в разные стороны. Встревожившись, Андрей развернулся спиной к океану, но тут меж лопаток ему звонко ударила волна, Настю подшлепнуло так, что она чуть не перелетела через его голову, а вода, внезапно поднявшись, оказалась у Андрея выше бровей. И в это время все вокруг отхлынуло, мощно потянуло прочь от берега, и Андрей, отфыркавшись и с удивлением обнаружив себя стоящим всего лишь по пояс в воде, почувствовал, что он то ли пятится, то ли падает навзничь — с Настасьей на загорбке. В голове у него пронеслась мысль, что если это случится, то Настасья разожмет руки, и ее унесет в открытый океан. Преодолевая сопротивление воды, Андрей наклонился вперед. Тут новый вал подтолкнул его в спину, и он, с трудом переступая ногами в плывущем навстречу донном песке, пошел по грудь в кипящей белой пене.

Все это продолжалось не более чем полминуты, и Настя, не успевшая даже понять, какой опасности они подвергались, облегченно засмеялась: она впервые в жизни окунулась в соленую воду. Тут Андрей услышал отдаленный крик:

— А-аа-а!

Руди, носившийся по пустынному пляжу с красно-желтым мячом, сейчас оставил свое занятие и бежал к ним издалека, бодая воздух головой и яростно двигая локтями, как будто пытался разорвать опутавшие его силки. Судя по его раскрытому рту, кричал именно он,

хотя этот вопль не принадлежал никому, он просто плыл над пляжем, как газовый оранжевый платок.

Взрослые тоже бросили свою возню с мангалом, они стояли у полосы голубой жесткой травы и смотрели на Андрея и Настасью.

— С ума сходил, да? — запыхавшись, Руди подбежал к Андрею и крепко схватил его за локоть своей шершавой, как наждак, перепачканной в песке рукой. — Смотри туда! Быстрее смотри, видишь?

Андрей, спустив Настасью с плеч, обернулся к океану. Вначале он ничего не увидел, кроме взлетающей белой пены и стеклянной толщи пропитанной солнечным светом зеленой воды. Блеск и плеск, ничего больше. Но потом, проморгавшись, вдалеке, за пенистыми валами, где покачивалась спокойная вода, он увидел толстый темный предмет, косо торчавший из воды, как рубка атомной подводной лодки. Меньше всего это походило на рыбий плавник в нашем понимании слова, но это был рыбий плавник, он двигался живо и туго, и вода, отколыхиваясь, то и дело открывала скат темной блестящей спины. Рыбина сделала круг и вновь со стремительной быстротой проплыла вдоль берега, совсем недалеко, за грядой прибоя. Потом плавник исчез под водой, вновь появился, опять исчез, и так, ныряя, стал удаляться, пока не пропал среди волн.

— Видел, да? Видел? — настойчиво повторял Руди.

— Ну, и что? — неуверенно проговорил Андрей, чувствуя, как к горлу подкатывает тошнота. — Дельфин, я думаю.

Руди, презрительно захохотав, повалился навзничь и перекувыркнулся через голову.

— Ха! Долфин, долфин! Прыгает! Ам-ам! Кушать хочет!

Руди как будто нарочно коверкал отдельные слова, другие же у него получались очень чисто, с естественными модуляциями: «Ку-у-шить хоч-т!» Должно быть, те, которые Тамара повторяла особенно часто.

Отсмеявшись, он поднялся, приблизил к Андрею свое странно асимметричное лицо с неправильно, как бы на разной высоте, расставленными глазами, и страшным шепотом сказал:

— Это шарк, понимаешь? Как это будет — шарк? Очень опасно!

Андрей представил себе, как рядом в зеленой воде взбухает белесая холодная туша, обдирает ему бок своей чешуей, и бедная Настасья, не пикнув, оказывается со своими ручками и ножками в скорбной и мерзкой рыбьей пасти. — и у него похолодели кишки. Как дальше жить тогда? Вот это горе так горе. А то, что кто-то уезжает в Новую Зеландию, — разве это беда? Царство небесное!

— Акула? Да не может она так близко к берегу, — неуверенно сказал он. — Ей, чтобы схватить, надо еще пузом вверх перевернуться.

— Пузом вверх? — глядя на него своими слепыми эмалевыми глазами, переспросил Руди. — Это как?

Андрей объяснил. Руди залопотал, как безумный, то и дело гортанно вскрикивая, размахивая перед носом Андрея руками и повторяя по-русски:

— Понимайшь? Понимайшь?

Он втолковывал, что акуле совсем не обязательно переворачиваться плавником вниз, достаточно слегка завалиться набок.

— Испугалась? — спросил Андрей, наклоняясь к Настасье.

— Не-а, — простодушно ответила девочка. — Ты бы меня защитил. Шашлыки на

Жориных шампурах, хоть и свиные, получились на славу.

Дети были накормлены первыми и, осоловев, разлеглись на подстилке. Взрослые отнесли столик в тень и неторопливо разговаривали за едой.

— Не надобно нам роскошу и приправ чужестранных, — благодушествуя, сказал Иван Петрович, — дабы придать вкус доброте мяс и рыб...

Узкие плечи его, ноги и цыплячья грудь стали ярко-розовыми, на лицо он надвинул свой белый полотняный картуз.

— А мой, — ни с того ни с сего проговорила Тамара, — с утра накурился, сидит остекленелый... глядит перед собой и молчит.

Вислогрудая и узкобедрая, в черном глухом купальнике, Тамара стеснялась своей худобы, она похожа была на маленькую терракотовую фигурку первобытной женщины, и круглые очки, закрывавшие половину ее обезьяньего лица, этому впечатлению не противоречили. Рядом с Тамарой мама Люда выглядела даже упитанной. Впрочем, купальник ее ярко-красный «бикини», по мнению Андрея, мог бы быть и поскромней: мать семейства, не девочка.

— Ребята, — сказал Иван Петрович, — пошли бы вы, погуляли по бережку. Но дети настолько разомлели от еды и солнца, что никто не тронулся с места.

— Я б никогда не вышла за иностранца, — понизив голос, сказала мама Люда, — ты уж меня, Тamarочка, извини. Человек в других условиях сформировался, все объяснить ему — жизни не хватит. В лес за грибами пойдешь — он тебе такого насобирает! Ужас подумать!

— Мама, ну что за глупости ты говоришь! — лениво подал голос Андрей. — При чем здесь грибы?

— Нет, Андрюша, не глупости, — сказала Тамара. — В том-то и дело, что не глупости...

Лицо ее еще больше сморщилось, она сняла очки и полезла в сумку за платком. Руди, приподняв голову, за нею наблюдал.

— А у Андрюши что мать ни скажет — все глупости, — обиженно промолвила мама Люда.

— Не сердись на него, — сморкаясь и вытирая слезы, сказала Тамара. Если бы ты слышала, как дочка со мной говорит! «Всю печенку ты мне проела со своей Россией! Не знаю я твою Россию — и знать не хочу. Было бы там хорошо — ты бы оттуда не убегала...»

— А ты бы ей сказала: «Поезжай, посмотри».

— Не хочет. Боится, я думаю.

— Чего боится?

— А что наденут на нее ватник и заставят, как в кино, рельсы укладывать.

— Ребята, — вновь подал голос Иван Петрович, — ступайте, побегайте у воды. Раскиснете лежа на солнце.

Руди, как будто и ждал второго призыва, вскочил и, схватив Андрея за руку, стал его поднимать.

— Пойдем, пойдем! — бормотал он при этом. — Фламинго покажу, много фламингов, кр-ра-сивые!

— Только далеко не заходите! — крикнула вдогонку детям Людмила.

Оглядываясь на оливковую даль океана, по которой неправдоподобно белый на солнце плыл сухогруз, Андрей и Настя шли по глубокому песку вслед за неутомимым Руди. По недомыслию пустились в путь босиком, и приходилось все время смотреть под ноги, потому

что песок был усеян острыми ракушками, клешнями, обломками панцирей, ореховой скорлупой. Андрей вначале подбирал ракушки, самые крупные валялись у кромки воды, где песок был мокрый и плотный, как асфальт: конические, губастые, разлапистые и гладкие, похожие на больших пестрых жуков... это было целом богатство, но Руди, оборачиваясь, подгонял:

— Не надо, брось! Там лучше! Много-много!

И Андрей с сожалением положил все собранное на песок — потому что Настя наколола себе пятку, и ее пришлось посадить на плечи.

Ладно, в следующий раз, беззаботно подумал он, не зная еще, что следующего раза не будет.

Вдруг Андрей почувствовал где-то рядом опасность и, замедлив шаги, огляделся. Невдалеке, у самых кустов, стояли широкие и приземистые, ниже человеческого роста, деревянные зонты, крытые сухим пальмовым листом, вначале Андрей принял их за хижины рыбаков. Под этими зонтами расставлены были полосатые шезлонги, раскиданы по песку пестрые полотенца. Там расположилась большая компания европейцев: кто лежал в полном изнеможении, кто сидел развалясь и надвинув на глаза кепи с длинным козырьком. На детей, проходивших мимо, эти люди не обращали внимания. Приглядевшись, Андрей увидел среди них могучего здоровяка с пышной черно-голубой шевелюрой и застыл на месте, как будто ноги его завязли в песке. Он узнал советника. Подставив солнцу мускулистую грудь, обильно поросшую седым волосом, Букреев держал в руке зеленую жестяную банку и разговаривал с шефом «Сельхозтехники», молодежавым дядечкой с наголо выбритой безукоризненно круглой головой. Скаля белые зубы, сельхозник подобострастно слушал советника, и время от времени, подергивая кожей головы, тихонько ржал. Рядом, держа спину в позе божка, сидела плоскогрудая Ляля, ее лицо было жирно смазано чем-то, тщательно взбитая и даже, кажется, опрысканная лаком прическа на фоне буйного непричесанного пейзажа казалась атмосферным образованием. А в отдалении, накрыв лицо большой белой шляпой с мохнатыми краями, лежала, судя по дряблости подернутых жирком загорелых ног, сама мадам Букреева. Рядом с нею, опершись на руку, сидела фаянсовой красоты девушка в голубом купальнике бикини и в круглых радужных очках. По этим очкам Андрей ее и узнал да еще по круглому синяку на бедре. Кареглазка единственная из всех смотрела на бредущих по берегу детей и, заметив, что Андрей остановился, подняла руку ладонью вперед и часто и мелко замахала из стороны в сторону, то ли приветствуя, то ли предостерегая: «Уходите, уходите немедленно!»

Андрей растерянно оглянулся: они зашли далеко, родительский лагерь остался за лесистым мысочком.

Но в это время Руди, нетерпеливо переминавшийся с ноги на ногу впереди, громко крикнул по-русски:

— Почему стоишь? Пойдем быстрее!

У скверного мальчишки был такой пронзительный голос, что его все слышали. Виктор Маркович медленно повернулся, мадам советница приподняла шляпу и повернулась на бок. Вот и расплата, чувствуя холодное жужжание в животе, подумал Андрей.

Виктор Маркович перевел взгляд с Руди на Андрея и Настю, взгляделся, поставив зеленую банку на песок, и поманил мальчика к себе. Андрей спустил Настю с плеч, взял ее за руку и подошел. «А что такого? говорил он себе. — Они-то здесь, а мы разве хуже?» Но страхи, впитанные с молоком матери, вскипели в его крови, как пузырьки азота...

Все смотрели на него со странным интересом.

— Это что такое? — тонким и даже веселым голосом спросил Виктор Маркович. —

Почему ты здесь?

Глядя на его босые ноги, Андрей понуро молчал.

— Родители где? — осведомился Букреев.

— Там, — Андрей неопределенно мотнул головой в сторону мысочка.

— Что значит «там»? — Виктор Маркович гневно зашевелил ноздрями своего маленького носика. — На берегу? Или там, в городе?

Нужно было, конечно, ответить «В городе», и Андрей понимал это, но лгать не умел.

— Здесь, на берегу, — глядя под ноги, сказал он.

— И на чем же вы добирались? — спросил Букреев. — На лифте? Он как будто подсказывал ответ.

— Да с этими они, как всегда, — лениво проговорила мадам Букреева, с эмигрантами. Я давно говорила. Утекут они у тебя.

Могильным холодом пахнуло от этих слов.

Виктор Маркович помолчал, бросил взгляд на Руди, который подбоченясь стоял поодаль. Вытянул губы и сморщил их, как бы в задумчивости.

— Значит, так, — сказал он Андрею. — Передай отцу, чтобы завтра в восемь утра он был у меня в офисе. Ровно в восемь, понятно?

Андрей кивнул и отвернулся.

«Небо с овчинку...» Нужно было признать, что в этих словах заключен точный и грозный смысл. Все окружающее, и волнистый песок, и ясное небо, вдруг заворсилось, закудрявилось, завихрилось, как в картинах Ван Гога, съежилось в овчинную рукавицу и вывернулось наизнанку, так что Андрей и Настя оказались стоящими как бы на дне струящейся песчаной воронки, из-за верхней кромки которой на них глядели Виктор Маркович, мадам Букреева, Ляля, Женечка и моложавый сельхозник с круглой, как бильярдный шар, головой. Голова скалилась от солнца. А по линии горизонта, как по металлическому монорельсу, катился паровозик с бронзовыми колесами Я ярко начищенной трубой.

— Все, ступай, — бросил Виктор Маркович и потянулся к своей зеленой банке, из которой курился беловатый дымок.

Андрей медленно повернулся и, с трудом переступая по сыпучему песку, повел Настасью назад, к мысочку, к своим. «Не слушались, не слушались, не слушались...» — шептал он себе по дороге. Это слово само шуршало, словно мелкий и жгучий песок. Жгучий, как толченное стекло, как стеклянная пыль.

— И зачем мы пошли? — глядя на него снизу вверх, проговорила Настя. Давай не скажем!..

Андрей ничего не ответил. Скажем, не скажем — ничего не изменишь, все летит кувырком, все порушено. Ни на минуту он не сомневался в том, что лунный брат его по крови абсолютно и безоговорочно прав. С блатниками по-иному нельзя. С ними только так и надо. Только так. Только так.

Руди догнал их бегом и запыхавшись спросил:

— Ваши?

— Наши, — как можно более равнодушно ответил Андрей.

— Нельзя, да? Нельзя? — забегаая вперед и заглядывая ему в лицо, допытывался Руди. —

Они можно, а вы нельзя? Почему?

— Потому, — буркнул Андрей.

Руди замолчал, некоторое время он шел рядом и сосредоточенно о чем-то думал, потом сказал:

— Э! Не надо.

И, гикнув, побежал к воде, подпрыгивая и размахивая по-павианьи руками. Взрослые отдыхали, ни о чем, разумеется, не подозревая. Женщины благоразумно пересели под хвойные кусты, в глубокую тень: Тамара совсем почернела от солнца, мама Люда тоже подрумянилась, как пампушка, хотя ее кожа была смуглая от природы, как будто она провела на пляже всю свою жизнь. Один лишь отец упрямо сидел на солнцепеке, он поставил целью выбрать за сегодняшний день весь океанский загар. Видимо, отец подремывал, прикрыв лицо козырьком, потому что в ответ на мамину просьбу перебраться в тенечек из-под кепки донеслось невнятное:

— Ничего, так пройдет.

— А вот и деточки наши пришли, — сказала мама Люда. — Ну, как, хорошо погуляли? А Рудик где?

— Вон он там, у воды, — ответил Андрей.

Тамаре его тон, наверное, не понравился. Она пытливо посмотрела на Андрея, потом поднялась и, прищурясь, стала вглядываться в кромку прибоя, где по-прежнему шумно катились валы.

— Господи, — сказала она, — вот сумасшедший! И побежала к воде.

Тюрины поднялись. Руди стоял по грудь в кипящей пене довольно далеко от берега, и голова его то и дело пропадала среди высоких волн. Хитрый мальчишка нарочно приманивал к себе Тамару — естественно, для того, чтобы рассказать ей обо всем.

— Папа, — сказал, не глядя на отца, Андрей, — тебе завтра в восемь... надо быть у советника.

Иван Петрович снял кепку и медленно опустился на свой складной стул.

— Как? — резко, словно чайка, вскрикнула мама Люда. — Откуда ты знаешь? Ты его видел?

Андрей кивнул.

— Где? — шепотом спросила мама Люда и оглянулась. — Здесь?

И Андрей рассказал все как было, опустив лишь слово «эмигранты», произнесенное мадам Букреевой.

— Ванюшка, — запинаясь, проговорила мама Люда, — но ведь ты завтра не можешь? У тебя тесты.

— Какие там тесты, — тускло отозвался отец и, морщась, передернул плечами. — Кончилось все.

Добавить к этому было нечего. Все понуро умолкли. Отец поднялся, отошел в тень, надел рубаху с длинными рукавами, застегнул все пуговицы. На щеке у него вновь появилось и стало багроветь странное овальное пятно.

— Надо собираться, — глухо и невнятно проговорил он. — Собираться надо. Все как по команде повернулись в сторону океана. Тамара уже выгнала Руди из воды, он стоял рядом с нею и, жестикулируя, что-то рассказывал. Ясное дело, что. Тонкая мальчишеская фигурка его казалась на зеленом фоне океана ярко-красной, ветер трепал короткие седые волосы его матери.

— Ай, к черту, — вдруг обозлившись, сказала мама Люда. — Вечно мы, как кролики, бегаем. Люди с нами, как с людьми, а что хорошего они от нас видят?

Никто ей не ответил: пустой это был разговор.

Тамара вернулась спокойная и серьезная, она ни о чем не стала спрашивать, предоставив Тюриным самим решать, как им поступать дальше. А Руди так и не подошел: сел на песок в центре пляжа, на самом солнце, и, не глядя в сторону Тюриных, принялся сосредоточенно пересыпать из руки в руку песок.

Посидели, поговорили о незначительных вещах. Настроение было скверное. Оставшиеся шашлыки казались мертвыми, на них не хотелось даже смотреть. Тюрины никак не могли решиться...

— Ну, что ж, — сказала Тамара, — пора собираться, не так ли?

— Да, пора, — торопливо ответила мама Люда.

В полном молчании компания свернула свой пляжный скарб. Руди не двигался с места.

— Что ж ты, мужчина мой? — сказала ему Тамара. — Иди, помогай.

Руди молча встал, взгляд его блуждал, губы подергивались. Потом он гневно фыркнул, произнес какую-то фразу и, резко отвернувшись, принялся копать ногой песок.

— Что он сказал? — спросила мама Люда.

— Так, глупости, — сердито ответила Тамара. — Он у мамы дурачок.

Но Андрей уже немного понимал жаргон своего приятеля. Смысл того, что сказал Руди, заключался в следующем: «Ты со мной по-русски больше не говори».

Беда никогда не приходит одна. Вернувшись в «Эльдорадо», Тюрины нашли на холодильнике две официальных бумажки. На красочном фирменном листе (еще колониальной печати, с отдельным написанием «Эль До-радо») перечислялись правила для постояльцев, зеленым фломастером было заключено в рамку то место, где говорилось, что пользование электроприборами, как то электронагревателями, кипятилниками, утюгами, плитками и холодильниками, категорически воспрещается, равно как и приготовление в номерах пищи, поскольку в сеть можно включать только электробритвы, радиоприемники и фены. На другой цидулке, напечатанной на машинке, администрация гостиницы уведомляла, что при повторном использовании электроприборов, отмеченных в правилах, эти приборы будут конфискованы и копия акта о конфискации будет передана в консульский отдел соответствующего посольства. «Настоящее предупреждение является окончательным и последним, необходимые меры будут приняты незамедлительно».

Некоторое время все четверо молча сидели рядом на одной постели. Сразу навалилась духота, стало неприятно. Андрей чувствовал, как сердце колотится в самом горле, чуть ниже языка.

— А теперь мы поедem домой, в Щербатов, — полуутвердительно кивая себе, как будто беседуя с куклой, проговорила Настасья.

— Да что ж они, взбесились все, что ли? — жалобно произнесла мама Люда.

— Изжить нас решили совсем?

— Ну-ка, открой дверь холодильника, — невнятным голосом проговорил отец.

Эти слова прозвучали так странно, издалека, как будто он подал голос из погреба. Мама Люда на него поглядела.

— Ванюшка, ты что? — спросила она с беспокойством. — Плохо себя чувствуешь?

— Так, не особенно как-то... — пробормотал отец. — Перегрелся, должно быть, пройдет. Ну, открой холодильник, не бойся.

Андрей распахнул дверцу — внутри их доброго «Смоленска» была темнота.

— Все понятно, они силовую линию у нас вырубили, — с трудом проговорил отец. — Вон, на полу лужа натекла.

— Господи, — мама всплеснула руками и поднялась, — мясо к утру пропадет! Она подошла к холодильнику, пошарила в морозильной камере, выпрямилась.

— Все разморозилось, — сказала она упавшим голосом. — Просто беда. Иван, возьми себя в руки. Иди к администратору. Да бутылку водки с собой захвати!

— Понедельник сегодня, — глухо сказал отец, потирая ладонью левый висок. Он имел в виду воскресенье, но никто его не поправил: и так было ясно — до завтра придется потерпеть.

— Так ведь жара! — ужаснулась мама Люда. — Все пропадет! Ну, вставай же! Беги, ищи электрика, он поможет. И Андже́ла сегодня как назло выходная. Ну, что ты такой раскислый! Мужик ты или не мужик?

— Голова как-то... — пожаловался Иван Петрович, не поднимаясь. — Как обручем схватило, и в глазах темно.

— Ах, не вовремя ты это затеял... — простонала мама Люда.

Наступила тишина.

— Ну, и что? — грубо сказал Андрей. — Похороны у нас, что ли? Все живы-здоровы. Черт с ней, с половиной зарплаты. Будем ходить в ресторан и питаться всем назло этой, как ее, ставридой.

— Скумбрией, — неожиданно деловитым и спокойным голосом промолвила мать. — Скумбрией с рисом. Ладно, пусть будет так, не умирать же мы сюда приехали. Но сперва надо продукты пристроить. Ты, Ванюшка, лежи, отдыхай, что-то ты мне и правда не нравишься... Ох, не надо было ездить на этот проклятый океан, чуяло мое сердце.

Ничегошеньки ее сердце не чуяло, но спорить с нею Андрей не стал. Он принялся разгружать холодильник, время от времени поглядывая на отца. А отец, как только услышал от матери «Ложись», тут же, как собака, лег, не раздеваясь, даже не сбросив сандалии, и странно свернулся калачиком.

Продуктов оказалось три огромных сумки: тут были и мясо, и масло, и колбаса, и сыр, и те консервы, которые, по мнению мамы Люды, не могли выдержать жары.

— Как же мы все это попрем? — озабоченно спросил Андрей.

— Вопрос не «как», а «куда», — резонно ответила мама. — Сперва к Аникановым, потом к Ростиславу Ильичу, а дальше видно будет.

— Матвеева забыла, — угрюмо подсказал Андрей.

— А ты не остри, — обрезала его мама Люда. — Нашел время остричь. Надо будет — и к Матвееву пойдем на поклон. Какой-никакой, а все свой.

На это Андрей ничего не ответил.

И, взяв по сумке в руку, а третью, самую тяжелую, — за обе ручки, вместе, мама Люда и Андрей вышли из номера и стали медленно, с передышками, спускаться по лестнице. Андрей настойчиво внушал, чтобы мистера Дени не оказалось на месте, чтобы этот человек не мог упиться своим торжеством. И он почти добился успеха: за стойкой был другой служитель в желтом, он с интересом проследил за тем, как мать и сын, оставляя дорожку кровавых мясных капель, тащат через вестибюль тяжелую поклажу, и вежливо спросил, из какого они номера. Андрей ответил. Но тут распахнулась глухая черная дверь «дженерал-менеджера», и оттуда с суровым озабоченным лицом вышел мистер Дени, уже не в униформе, а в солидном черном костюме, белой сорочке и при галстукке. Он мельком взглянул на «гостей», и в глазах его блеснуло торжество. По тому, как угодливо согнулся в поклоне служитель за конторкой, Андрей понял, что произошло непоправимое: в «Эльдорадо» сменилась власть...

Они вышли на улицу, опустили кошельки на землю и остановились перевести дух. Солнце гудело, как разверстый над их головой ярко начищенный бронзовый колокол, тротуар и мостовые казались раскаленными до белизны, и лишь черно-синяя раскатанная колесами полоса асфальта вызывала зрительное ощущение прохлады, которое тут же пропадало, когда ноздрей достигал курящийся над нею смрад размягченного гудрона. От океана совсем не веяло: он лежал за застывшими в оцепенении пальмами, как бледно подсиненная разглаженная горячим утюгом простыня.

— Надо бы подождать до вечера... — проговорила мама Люда.

Щеки ее покрылись ярко-красными пятнами, по ним струями катился пот.

Андрей с беспокойством взглянул на нее — и, как прозрение, в голове его вспыхнула и погасла картина: он тащит толстую, безобразно рыдающую Настю сквозь какие-то мокрые кусты с большими зелеными листьями, тащит домой — и знает, что дома никого нет, никаких стариков, и никогда больше не будет... Он тряхнул головой и прогнал эту картину,

как бред, но на губах остался вкус лиственного клея и дождевой воды...

— Не понесем обратно, — сказал он. — Погоди...

Он вышел на край тротуара, на самый солнцепек, и окинул взглядом широкую цветастую улицу. Машин было мало: выходной день, кто на пляже, кто сидит дома. Час сиесты. Но вот вдалеке послышалась шкворчание шин, и из-за поворота стремительно вылетела белая легковая машина. Андрей выставил большой палец, сделал стойку... Машина поровнялась с ним — это была белая «королла» с голубыми стеклами. На переднем сиденье рядом с Виктором Марковичем расположилась мадам. Она скользнула взглядом по лицу Андрея и отвернулась. Должно быть, что-то мадам все же сказала, потому что, когда машина промчалась мимо, в заднем стекле Андрей увидел личико Кареглазки. «Королла» взвыла на подъеме и покатила по виадуку в сторону от набережной.

— Напрасно стараешься, Андрюша, — сказала, стоя под козырьком вестибюля, мама Люда. — Пойдем потихоньку, от тенечка к тенечку...

Так они и пошли...

В пансионе «Диди» Андрей долго давил кнопку звонка, за дверью стояла тишина.

— Надо было сперва по телефону, — посоветовала мама Люда, лицо ее было воспалено от жары и натуги, глаза чуть не выкатывались из орбит. Наверно, в город ушли.

Но тут дверь бесшумно приоткрылась, и на площадку выглянуло круглое лицо с круглым глупым носом.

— Валечка! — жалобно вскрикнула мама Люда. — Никак разбудили?

— Ну, что вы, — запахивая длинный великосветский халат, Аниканова перешагнула через порог. — Я днем не сплю, в эти часы я всегда за инструментом. В музыкальной комнате у меня звонков не слышно, потом, думаю, не выйти ли посмотреть, вроде звонили...

От Валентины явственно пахло спиртным, и халат был накинута наспех, на голое тело. Вряд ли она сидела за пианино нагишом, хотя — кто ее знает. Андрей был рад убедиться в том, что он может теперь смотреть на Валентину без стеснения: та, в кожаном комбинезоне на молнии, полностью ее перебила.

— А вас-то что носит по жаре? — с напускным грубоватым добродушием спросила музыкантша. — Да еще с поклажей. Опять квартиру меняете?

По дикому блеску, прмелькнувшему в ее светлых глазах, Андрей понял, что она уже все знает. Значит, Виктор Маркович позвонил Звягину, и, пока они тащились через весь город, сработала система оповещения.

В квартиру их покамест не приглашали, и Людмиле пришлось тут же, на площадке, излагать суть своей просьбы: пристроить на время продовольственные припасы. Валентина слушала молча, не перебивая, в зрачках ее глаз что-то так и крутилось, как в арифмометре.

— Вот так, Валечка, — закончила мама Люда, — таскаемся по жаре с мясом, что тебе хищники...

Андрей почти уверен был, что Валентина не станет связываться с их опальным семейством: она и держалась-то от них, как от заразных, на отдалении.

Однако Аниканова вдруг спокойно сказала:

— А что ж, пристроим. Нужно помогать друг другу в беде.

И, отступив на шаг, распахнула дверь во всю ширь, приглашая их тем самым в квартиру.

— И как вы доперли такую тяжесть! — посочувствовала музыкантша, деловито переписывая консервы (один список себе, другой — маме Люде). Подвез, наверное, кто-нибудь из знакомых? Вы ведь такие бойкие оказались, только приехали — у вас уже весь

город знакомый. Пора бы вами заинтересоваться, ха-ха-ха! Шучу.

— Да нет, на руках пришлось нести, — сказала мама Люда.

— А что же Иван, почему от мужской работы уклоняется? — с любопытством спросила Аниканова. — Или вызвали куда?

— Что ты, в воскресенье? — простодушно удивилась мама Люда. — В гостинице отдыхает.

Андрей смотрел на нее с недоумением: ведь совершенно ясно, что все эти вопросы задаются с недобрым умыслом. Но мама Люда ничего этого не замечала...

— Ах, отдыхает! — насмешливо протянула Валентина. — Какой аристократ! А я своего Васюничка отшлифовала, он у меня тяжести за плечами и в зубах носит. Знает, что мне руки нужно беречь. Ну, ладно, это дело семейное. Давай, дорогая подруга, договоримся: если что — я тебе за продукты местными деньгами отдам. Чеками платить не буду.

Глаза у Валентины сделались совершенно прозрачными и задрожали, как стекло, когда где-то рядом проходит самосвал.

— Как это «если что»? — насторожившись, спросила мама Люда. — Мы ведь на время... может, с квартирой выгорит. Или в гостинице полегчает. А пока будем понемножечку от тебя забирать.

— Да я что? Я ничего, — тетя Валя пожалала плечами. — Просто заранее оговариваюсь. Вы же их с собой в Союз не потащите, и подарки мне такие делать — тоже вам смысла нет.

— Почему в Союз? — побледнев, спросила мама Люда. — Мы месяц как приехали. Шутки ты шутишь.

— Да какие уж шутки, — Аниканова боролась с собой. Ей хотелось бы остаться бескорыстной благодетельницей, выручившей в трудную минуту людей, но остановиться она не могла, как не может пересилить себя кипящий на огне чайник: он должен брякать крышкой, шипеть и плевать до тех пор, пока в нем есть вода. — Все мы под высоким начальством ходим. А тебя, дорогая ты моя подруга, я хочу предупредить... Андрей, сходи на балкон, посмотри, не идут ли из парка мои гулены. Не дала Иришка папе поспать, утащила к собору смотреть, как новобрачные фотографируются. Очень рано начала она брачными делами интересоваться. Поди, мальчик, выгляни...

Нахохлясь, Андрей покосился в сторону балкона, но не двинулся с места.

— Устал он, — оправдывая сына, проговорила Людмила.

— Ох, и бережешь ты его! — Валентина в упор посмотрела на Андрея и тем, что он не прячет глаза, осталась очень недовольна. — Красный какой-то. На море, что ли, ездили?

— Да нет, — сказала Людмила. — Просто шли по жаре.

— Ну, так вот, — Аниканова наклонилась над журнальным столиком, приблизив свой курносый нос вплотную к маминому лицу, и, зачем-то понизив голос, возбужденно заговорила. — Тут на днях я на пульте вместо Ляльки сидела, нужно было подменить, слышу — с Виктором Марковичем Звягин на лестнице разговаривает, и вроде о контракте Сивцова. Я, конечно, одним ухом пристроилась: это ж ваш контракт, я знаю, как не поинтересоваться?

Валентина сделала паузу, наслаждаясь нетерпением мамы Люды.

— Слышу, Гришка говорит: «Недоволен я, Виктор Маркович, заменой Сивцова. Только приехали, а уже деятельность нездоровую развели, контактами ненужными обросли, холодильник приволокли на продажу, сразу доллары откуда-то появились. Похоже, продуктами приторговывают...»

— Неправда! — возмущенно вскинулась мама Люда. — Вот уж неправда! Я такую клевету без ответа не оставлю! Я и до посла, если надо, дойду!

— Подожди, подруга, — остановила ее Аниканова. — Про какую клевету ты говоришь? На кого ссылаться будешь? На меня? А я и знать ничего не знаю. Про посла ты вообще забудь, к нему тебя и на пушечный выстрел не подпустят. До Москвы далеко, до посла высоко, но в Москву самолеты раз в неделю летают. Лучше слушай меня и не горячись. Дыма без огня не бывает. Холодильник есть? Есть. И контакты тоже есть, что греха таить, и в дипшоппе я тебя видела, а откуда доллары — не сразу скажешь, да я и не спрашиваю. Ну, насчет всего остального — никто в твоих объяснениях не нуждается. Так ты будешь меня слушать, чем все дело кончилось?

— Буду, — упавшим голосом сказала мама Люда. — Только ты не кричи так громко, в ушах звенит.

Тетя Валя отодвинулась:

— Погоди, — проговорила она, вся вибрируя от торжества, — еще не так зазвенит! Я, Людочка, сама обмерла. Да что ж, думаю, такое, как это можно с людьми так жестоко поступать? Если совершили ошибки — первый выезд, всякое бывает, дайте им возможность исправиться, укажите, поправьте, пригрозите. С вами ведь никто не беседовал?

— Никто, — прошептала мама Люда.

— Ну, тогда не знаю, что и думать. На моей памяти это первый случай, чтобы так выслали.

— Подожди, — Людмила сделала слабую попытку возразить, — никого еще не выслали. Что советник ему ответил?

— А ничего! — торжественно закричала Аниканова. — В том-то и дело, что ничего. Только и спросил: «А на работе он как?»

— Вот-вот, — оживилась Людмила. — Главное — работа!

— Ну, Гришка ему и отвечает: «Да так, — говорит, — ни рыба, ни мясо, от общественной нагрузки уклоняется, в кино в офисе не ходит, фильмы ужасов предпочитает, и на семинарах еще ни разу не выступал».

— Да неправда же это! — закричала мама Люда. — Не выступал потому, что робкий, деликатный, выхваляться не любит. Ни на каких ужасах он отроду не бывал, а в кино в офисе мы вместо него ходим, он к лекциям готовится. В прошлый раз, например, были, фильм показывали этот... ну, как его? Андрей вспомнит.

Она умоляюще обернулась к Андрею.

— Мама! — грозно сказал Андрей. — Мама, пойдем!

Но она как будто этого не слышала. Вскочила, заметалась по холлу, ломая руки, кудельки ее взмокли, лицо заблестело от пота, нос заострился.

— Ой, ну как же это можно! — повторяла она. — Как же это можно с людьми так поступать? Что ж мы, куклы бесчувственные?

Большое удовольствие она доставляла своим поведением тете Вале: та водила за нею своим круглым носом, и прозрачные глаза ее лучились. Андрей, не выдержав, подошел и взял маму Люду за локоть.

— Мама, Настя кушать захочет, а отец спит...

...Это была находка. Мама Люда перестала метаться, остановилась посреди холла, видно было, что она мысленно повторяет эту фразу в уме: «Настя кушать захочет, а отец спит». Картина вырисовывалась ужасная.

— Да-да-да, — торопливо забормотала она, — засиделись мы, пора нам, спасибо тебе, Валечка, милая, и за помощь, и за совет.

— Что совет? — великодушно сказала Аниканова и тоже поднялась. Совет денег не стоит. Вот если б ты за бараном ко мне пришла — тут уж нет, чего не имеем — того не имеем.

Когда мама Люда с Андреем вышли на улицу, уже повечерело. Небо стало темно-желтое, в нем чернели веера пальм.

— Ну, зачем ты так перед ней тряслась? — пенял матери Андрей. — Врет она все, я по лицу вижу. Врет, чтобы тебя помучить, чтобы ты еще потряслась. И отцу не надо рассказывать ничего, он тоже трясется. Эх вы, трясуны вы несчастные!.. Жили бы по правилам, раз трясуны. Правила для того и написаны, чтобы такие, как вы, не робели. Ты же первая начала жульничать, кто тебя под бок пихал?

Мама Люда шагала быстрыми мелкими шажками, лицо ее, освещаемое рекламами и витринами, то вспыхивало ярко-розовым, то зеленело, и тогда губы становились черными.

— Господи, — говорила она, не слушая Андрея, но постепенно успокаиваясь от монотонного его бубнения, — господи, только бы у них там ничего не случилось. Настя кушать захочет, а отец спит...

Но ничего не случилось: когда они вернулись, отец и Настасья мирно играли в «Пестрые колпачки». Настя выигрывала и торжествовала, а отец, морща лоб и ероша кудлатую голову, изображал, что ужасно огорчен. Изображал он очень неумело, но ребенку и такого обмана было достаточно.

— Мама! Батя! — закричала Настасья. — А папке нашему всю жизнь не везет!

Маму Люду эта идиллия повергла в исступленное умиление.

— Лапушки вы мои, дорогие мои! — со слезами на глазах кинулась она обнимать мужа и дочку. — Играют, деточки мои золотые! Ничего, ничего! Будем держаться вместе, раз такая беда!

И при этом все глядела, все оглядывалась на Андрея, стоя на коленях возле кровати: приманивала, чтобы и он пал рядом с нею на колени, слился в общем семейном экстазе, разделил ее умиление... Но Андрей стоял, как бесчувственный, набычась и глядя на сетчатое окно. Он и думал про себя: «Вот — стою, как бесчувственный»... Как будто он заглядывал в чужое купе или досматривал последние кадры какого-то странного фильма. Камера отплывала: фигуры долговязого мужчины, маленькой женщины и белобрысой девочки уменьшались, становились, словно впаянными в электрическую лампочку, слабо горящую посреди темной клетушки... Вот она была, его мыслимая Вселенная, которой он судья и хранитель.

Утром, ранехонько, путь не близкий, поднялись, напились чаю из термоса и все вчетвером отправились в офис, чтобы успеть к восьми назначенным часам. Иван Петрович хотел нести свой крест в одиночку, но Людмила сперва попросила Андрея пойти с отцом, а потом, поколебавшись, и сама решилась и разбудила Настасью. Расчет у нее был такой, что, может быть, вид дружно кающегося семейства смягчит начальственные сердца.

Настасья идти ножками заленилась. А Андрею до смерти надоело таскать ее на руках, и разнообразия ради он понес сестренку, как Горе-Злосчастье, на закорках. Местные шли по пятам и радостно смеялись, а Настасья оборачивалась и казалась им язык. Родители шагали впереди и разговаривали: все репетировали предстоящий разнос. Говорила, впрочем, больше мать, а отец отзывался глухо, вроде как из-под воды.

— Ну, а если он тебе скажет... Нет, а если он возьмет да спросит!..

— Бу-бу-бу, — отвечал отец.

Очень беспокоили маму Люду десять долларов, о существовании которых Андрей услышал только вчера. Нет, мама Люда не умела жить в ладах с законом: оказывается, она не только взяла у Тамары зелененьких (рассчитавшись с нею местными по черному курсу), но и пошла делать покупки в дипшоп, даже корзиночку успела набрать, однако вынуждена была все бросить и сбежать, поскольку явились торгпредские. Теперь, раз уж и Валентине известно, отпираться в этом вопросе бессмысленно. Мама Люда предлагала списать все на Бородину (мол, оставил лишние и уехал), но Андрей решительно воспротивился, и, подумав хорошенько, мама Люда с ним согласилась. Оставалось одно: говорить правду...

— А мы папу не в тюрьму ли ведем? — наклонив голову к самому уху своего «Бати», громким шепотом спросила вдруг Настасья.

— Нет, к советнику, — ответил Андрей. — Ты сиди, не ерзай, а то на ноги спущу.

— А что советник с ним сделает?

— Поругает и отпустит.

— Куда? В Щербатов?

— Типун тебе на язык.

Так они шли на свою голгофу, и дорога все время была в гору, и тротуарные плитки дыбились под ногами, и солнце над крышами уже охватывало ясным пламенем сухие, как хворост, верхушки садов.

Еще ни разу Андрей не вступал на территорию офиса в такую рань. Сад был окутан розовым туманом, сквозь этот акварельный туман красиво проступали высокие и тонкие, с изогнутыми стволами, пальмы. Зеленая шуба, наброшенная на левый угол особняка, блестела от обильной росы, разновеликие окна, сверху донизу забранные кружевными решетками, казалось, блаженно улыбались спросонок... А внутри мертвым сном спала Кареглазка.

По красно-желтым с серой оторочкой дорожкам у павильона поодиночке, но, словно сговорившись, руки за спину, прогуливались Григорий Николаевич, Матвеев, Игорь Валентинович и Ростислав Ильич. Лица у всех четырех были одинаково холстинные: не то чтоб строгие и пасмурные, но озабоченные неинтересной заботой. Андрей боялся, что никто не пожелает с отцом разговаривать, но его опасения оказались напрасными. Когда отец приблизился к коллегам, Владимир Андреевич первым протянул ему руку и поздоровался приветливо и даже участливо, как ассистент хирурга с доставленным в операционную

больным. Все четверо обступили отца и стали совещаться. Мама Люда с детьми осталась у входа, до них доносились лишь обрывки фраз:

— Нет, об этом не надо... Об этом Володя... А зачем тебе напоминать?.. Тут я все беру на себя... А уж здесь как получится...

Чем-то эти солидные вузовские преподаватели были сейчас похожи на старших школьников, провожающих однокашника в учительскую на разнос. Больше всех горячился Игорь Валентинович. Генеральский зять пришел сегодня без очков, и лицо его казалось босым и озябшим, как у отлепившего накладную бороду актера.

— Уот зи хелл! Какого ляда! — размахивая руками, подступал он к отцу. — Почему ты не пришел ко мне, фэйс ту фэйс? Я тебя в аэропорту принимал, я за тебя, как акушер, отвечаю!..

— Собрались, дакальщики... — стиснув кулачки, сказала мама Люда.

— Мама, ты не понимаешь, — возразил Андрей. — Они защищать нас пришли...

— Ну, прямо, как же... — побледнев, ответила мама Люда. И с натужной веселостью, взвинченно дергаясь, крикнула:

— Ванюшка, мы в дипшоп пойдем, купим тебе бутылочку! Там и ждать тебя будем, слышишь?

В это время за калиткой прошуршали колеса, и от храбрости мамы Люды не осталось и следа. Подскочив, как воробья, она засуетилась и стала подпихивать Андрея в спину: «Скорей! Увидят! Да скорей выходи!»

Однако калитка распахнулась, и Виктор Маркович, высокий, пышноволосый, в небесно-голубом «сафари», мельком бросив на Людмилу взгляд, крупными шагами прошел мимо. Звягин двинулся навстречу ему, но советник остановил его короткой репликой:

— Подождите.

Выходя, Андрей оглянулся: отец, весь желтый, с восковым лицом и совершенно погасшими глазами, смотрел им вслед. Кудрявая шевелюра и красное пятно на одной щеке делали его похожим на недокрашенную глиняную игрушку.

... Дипшоп представлял собой просторное двухэтажное здание, напоминающее кинотеатр, на его фасаде день и ночь мерцала обширная световая реклама, единственная исправная во всем городе. Мимо этого здания Андрей проходил много раз, но черту изобилия перешагнул впервые. Внутри дипшопа был замороженный кондиционером воздух, у входа стояли хромированные, как на таможне в Шереметьеве, каталочки с красными ручками, а дальше, вместо контрольного барьера, — сплошная стена кассовых кабин с табличками «Доллары США», «Фунты стерлингов», «Чековые книжки» и еще какие-то «Трэвел-чеки», видимо, имеющие широкое хождение в этой иной, беззастенчивой жизни.

За электронными кассовыми аппаратами сидели красавицы-мулатки, все, как одна, похожие на Нефертити в высоких своих небесно-голубых клобуках. Они уверенно пересчитывали диковинные алюминиевые, латунные и никелевые монетки, не поднимая при этом глаз на покупателя, затем сверялись с курсом и, давая сдачу, внезапно распахивали свои огромные глаза и ослепительно улыбались. Когда две или три кассирши делали это одновременно, становилось как-то не по себе.

Первый этаж был отведен под гастроном. Хмуро и недоверчиво Андрей глядел на стеллажи, на которых громоздились штабеля ярких банок, фестивально расцвеченных коробок, виселись горы пакетов с овощами, имевшими неправдоподобно глянцево-глянцевый, муляжный вид. Если перчики, которые у нас называют болгарскими, — то совершенно

одинаковые, ровно повернутые в одну сторону румяными боками, если картошка — то нежно-розовая, чистая, как пятки младенца... Этот фестиваль изобилия был страшен в сравнении с той пустотой, которая царила на базарах и в лавках города. Не ведающие об этой голодной пустоте дипломатические женщины, весело переговариваясь на всех языках мира, нагружали свои коляски сказочной снедью. Андрей смотрел на них, как на людоедок: подумать только, эти бабы покупают на валюту жратву! Да еще, наверно, каждый день. Местных покупателей в дипшоппе не было, только темнокожие служители в желто-голубых униформах, они караулили покупательниц при входе и катали за ними колясочки, почтительно останавливаясь всякий раз, когда мисстрис задерживалась возле какого-нибудь стеллажа.

Какое раздолье тут было бы для Эндрю Флейма и его верных ребят! Какой лихой налет они могли бы совершить на этот ледяной дом! Витрины — вдребезги, деньги — в огонь, а пестрые ящики с бесстыдной пищей — на улицу, голодной толпе... Вдруг замерло все, запрокинулись лица: там, наверху, возле огненных букв «Фри-такс» появился ОН — в своем неизменном клетчатом пиджаке, в черном берете, с негустой бородкой на широком бледном лице... И, как трава, над толпой заколыхались вскинутые темные руки. И не стало нигде изобилия.

— Привет, патриот! — раздался вдруг знакомый возглас, и девичья рука довольно крепко хлопнула его по плечу.

Андрей встрепенулся: перед ним стояла дочка советника: то, что она для него умерла, не мешало ей, оказывается, посещать по утрам дипшоп и выбирать для себя что-нибудь сладенькое. Женечка Букреева ничем не отличалась от других буржуазок, она совершенно уже созрела для новозеландских универсамов, и служитель, возивший за нею коляску с детскими лакомствами, терпеливо ждал.

— Ты что, не рад меня видеть? — с коротким смешком спросила Кареглазка и, слегка встряхнув его за плечо, отступила на два шага. Или я сегодня не такая?

Андрей молчал. Нет, она была *такая*: в белой майке с голыми по под мышку руками, в белых брючках, не ведающих, что такое земная грязь, вся олицетворение той самой лабораторной, подколпачной чистоты, девушка из счастливого послезавтра... *Не таким* было сегодня выражение ее лица: в каждой черточке его, в складе губ и прищуре глаз читалось, что Женечка помнит о своем шикарном подарке, гордится своей щедростью, убеждена, что Андрей осчастливлен безумно, и хотела бы получить тому лишнее подтверждение. По законам вежливости в эту минуту, может быть, и в самом деле полагалось сказать что-нибудь дружелюбное («А паровозик-то твой играет!»), но при одной мысли об этом мальчик внутренне содрогнулся.

— Фу, какой бука, — недовольно сказала Женечка. — Заболел?

— Да... неприятности у нас, — неохотно проговорил Андрей.

— А что такое?

— Да ты же знаешь, — с досадой сказал Андрей.

— Понятия не имею.

— Ну, вчера, на пляже... — напомнил Андрей, еще не веря тому, что было уже очевидно.

— А что стряслось вчера на пляже? — удивилась Кареглазка.

— Нам не положено.

— О господи, — сказала Женечка, — бред ов сив кэйбл, бред сивой кобылы. Что значит

«не положено»? Ну, отругает папончик, непечатным словом назовет, от этого никто не умирал. Он же за всех вас отвечает. Вам только волю дай — все расползетесь...

Она еще раз взгляделась в лицо Андрея.

— Нет, май притти уан, — проговорила она, покачивая головой. — Нет, мой миленький, естественного отбора тебе не пройти. Слаборазвитый ты. Ну, да ладно. Куда привезти каталог «Неккермана»?

— В «Эльдорадо»! — подпрыгнув от радости, закричала Настя. — Мы живем в «Эльдорадо», в номере триста пятнадцать!

И, сияя всем своим изукрашенным зеленкою личиком, ни с того, ни с сего прибавила:

— А я, когда вырасту, тоже буду иностранкой.

Женечка Букреева даже не взглянула на Настю, как будто это прострекотал сверчок.

— «Эльдорадо», триста пятнадцать, — повторила она.

И, сделав знак своему катальщику, Женечка величественно удалилась. При этом она рассеянно, как в театре, поглядывала по сторонам — в точности, как мадам советница, даже еще более свысока. Ну, еще бы, благотворительница, глядя ей в спину, подумал Андрей, добровольная разносчица фирменных каталогов по приютам золотушных детей... был он сознательно несправедлив к Кареглазке, нарочно старался измыслить что-нибудь едкое, уничижительное — чтобы прогнать от себя радостную догадку, что Кареглазка заманивает его в какую-то долгосрочную и, несомненно, остросюжетную игру: сегодня, сейчас, когда так плохо с семьей, упиваться этим открытием было бы нечестно. И была еще одна, гаденькая мыслишка: «Теперь-то уж, наверное, все обойдется, Женечка нас защитит...»

Едва только дочка советника скрылась в проходе между стеллажами невесть откуда выскочила мама Люда.

— Ты почему улыбаешься? Что она тебе сказала?

— Сказала, что все это пустяки, — ответил Андрей. — И ничего я не улыбаюсь.

Мама Люда открыла рот и произнесла: «А...» Подумала, поглядела вслед Женечки Букреевой, и на лице ее проступило горькое разочарование.

— Молодая еще... — кивая своим словам, проговорила она. — Все для нее пустяки, горя еще не видела.

Настя тянула маму Люду на второй этаж, где, по ее предположениям, должны были продаваться игрушки, даже в такой печальный день она пыталась что-то, говоря пощербатовски, *вызвять*.

— Вот останусь здесь и умру! — плаксиво говорила она.

— Я тебе умру! — отвечала ей мама Люда. — Только попробуй!

Расплатились, вышли на улицу. День уже разгулялся, в тени под цветущими деревьями было душно и влажно, пахло разопрелыми банными вениками. Здесь и решили ждать отца. Подняв прозрачный пластиковый мешок, Андрей разглядывал содержимое. Мама Люда купила бутылку черного ямайского рома и банку каких-то орешков.

— О, «Красное сердце»! — услышал он за спиной знакомый скрипучий голос и чуть не выронил пакет. — Убойная жидкость — именно то, что нужно сейчас вашему папеньке.

Ну, разумеется, это был Ростислав Ильич — розовокудрый, лучезарно улыбающийся, совсем не похожий на того вершителя судеб, члена тайного совета, которого они видели полтора часа назад.

Мама Люда побледнела.

— А Ваня где? — еле слышно спросила она. — Что с Ваней?

— Да что с ним может быть? — весело отозвался Ростик. — Получил свою дозу и отправился в гостиницу. Вот — прислал меня предупредить, чтоб не ждали.

Наступила тишина, Настя тоже перестала хныкать.

— Ну, и что там у вас было? — спросила, помолчав, мама Люда.

— Ничего особенного, — сказал Ростик. — Обсуждался вопрос о нарушении режима. Неразборчивые контакты, самоизоляция от коллектива... вот, пожалуй, и все. Надо отдать справедливость: держался ваш папочка мужественно. «Ни стона из его груди, лишь бич свистел играя...» Григорий Николаевич побушевал для порядка, я тоже произнес парутройку нелицеприятных слов... Так надо, дорогие друзья. Есть такое великое слово: «Надо»!

Андрей смотрел на него исподлобья: нет, все-таки Ростик чувствовал себя виноватым, он и пришел сюда заглаживать вину, и веселость его была неестественной.

— О чем я там говорил? Пожалуйста, секретов из этого не делаю. «В то время как мы на передних рубежах защищаем честь и достоинство советского человека...» Ну, и так далее. Это, знаете ли, как бесплодная женщина выступает с высокой трибуны: «В то время, как мы, бабы, в муках рожаем детей...» Кто на самом деле рожает детей — тот не кричит об этом с трибуны. Запомни, — Ростик вновь обратился к Андрею, — кто говорит, стуча себя в грудь: «Мы — честные труженики...» — не верь тому человеку.

Мама Люда слушала, страдальчески напрягшись, как будто он говорил на иностранном языке.

— А что Владимир Андреич! — спросила она. — Вот уж кто, наверное, душеньку отвел!..

— Напрасно вы о нем так плохо думаете, — укоризненно сказал Ростик Володя взял всю вину на себя: не проследил, не остерег, не подключил Теперь он будет вашим куратором.

— Ну, и чем же все кончилось? — допытывалась Людмила.

— Кончилось? — юмористически переспросил Ростик. — Ну, если это так важно, то кончилось тем, что т-щ Букреев супруга вашего матом покрыть изволил... в знак прощения, согласно старинному народному обряду. Теперь на собраниях вволюшку поклоняют: «Феномен Тюриных, случай с Тюриными, тюринщина как таковая...» Новичкам вас будут показывать: «Вот, мол, и есть те самые Тюрины». И так года два... пока не забудется.

Должно быть, на лице Андрея отразилось смятение, потому что Ростислав Ильич, мельком взглянув на него, резко себя оборвал.

— Ну-с, друзья мои, прошу прощения, вам домой, а я загляну в сей храм разврата. Жена кольцо с опальчиком заказала, а лучше не одно: на каждый пальчик — свой опальчик. Как славно, что наши женщины не ходят босиком...

— Погодите, Ростислав Ильич! — взмолилась Людмила. — Что-то я вас так и не поняла. На чем все-таки порешили?

— Да ни на чем! — с досадой ответил Ростик. — Что вы, ей-богу... Это ж острастка, театр. Ну, сделали строгое предупреждение, через два года заведутся другие грешки. Желательно, конечно, совершить какой-нибудь подвиг... Советую Ивану спасти утопающего. Роль утопающего могу сыграть я, оплата по договоренности — долларами, разумеется.

— Не понимаю... — пробормотала Людмила. — Так нас... не выселяют в двадцать четыре часа?

— Мама, уймись! — сказал Андрей. — Ну, пожалуйста! А Ростислав Ильич засмеялся.

— В двадцать четыре? Это что же, спецсамолет для вас запрашивать? Ну, уж дудки. Высылка, дети мои, — это слишком большая честь и большая роскошь, вы этого не заслужили. Но впредь оказываться в неполюженном месте с неполюженными людьми — не совету. Соблюдайте достоинство советского человека.

— Да что вы! — истово воскликнула Людмила. — Да мы... Да я... Да никогда больше! Ростислав Ильич посмотрел на нее с печальной улыбкой.

— О господи! — проговорил он.

И, повернувшись на высоких каблуках, пошел прочь — маленький кучерявый несчастный альбинос.

Мама Люда долго глядела ему вслед.

— Ну, Аниканова! — сказала она, сжав кулачки. — Ну, Валентина! Психопатка проклятая...

— Пошли, мама, будет тебе, — сказал Андрей и потянул ее за рукав. — Я ж говорил? Говорил. А ты меня не слушала. Хорошо, что все уладилось.

Но ничего не уладилось: расплата была еще впереди. Поднявшись на третий этаж «Эльдорадо», Тюрины увидели дверь своего номера распахнутой. Иван Петрович лежал на постели, странно подвернув руку.

Ну вот, пожалуйста, спит, как младенец, — нарочито бодрым голосом проговорил Андрей, стоя на пороге предбанника, однако ноги у него, как тогда в самолете, сразу ослабли, и пятки защекотало пустотой раскрывающейся под ним бездны.

— Ванюшка! — вскрикнула мама Люда и, бросившись к постели, схватила мужа за плечи.

Отец не двигался.

— Это папа так играет, — уверенно сказала Настасья. — Лежит, а потом — ам!..

Уткнувшись лицом в обслонявленное покрывало, отец что-то невнятно пробормотал, рот у него был скошен, открывался желтый полустертый клычок, глаз тоже скошен и тускл, как алюминиевый.

— Ты что, выпил? — наклонившись к его лицу, спросила мама Люда.

Но Иван Петрович был трезв. Когда жена и сын с большим трудом перевернули его на спину, увидели искаженное темно-багровое лицо с полузакрытым левым глазом: рот приоткрыт, язык едва шевелится, как будто распухший...

— Ванюшка! — закричала мама Люда.

— Ну, что ты шумишь? — одернул ее Андрей, сам смертельно напуганный.

— Перенервничал человек, спокойствие нужно и тишина.

А кто-то другой, живущий у него в груди, вдруг громко и трезво сказал: «Ну, вот и решилось. Вот и решилось».

Ровно через пять дней, в субботу, Андрей сидел на складном брезентовом стульчике в малом холле квартиры Матвеева и сосредоточенно ощупывал свою голову. Странно было делать это, запуская большие пальцы под надбровные дуги: такой маленький костяной шар, обтянутый мохнатой кожей, — и это все, это — весь ты, остальное лишь фурнитура. Вчерашние горести, сегодняшние хлопоты, завтрашние заботы, все, что известно о тебе лишь тебе, от Эндрю Флейма в черной беретке до ослепительной бандитки в кожаном комбинезоне, от огненно-красной палатки на луговине у Ченцов до пряничного терема спящей вечным сном Кареглазки... вообще все, что тебе известно, включая историю Вселенной от Большого Взрыва до наших дней и географию, экономическую и физическую, Союза и Офира и тех дивных островов, на которых ты никогда не побываешь, — все это заключено в бугристом костяном шарике. Иногда в его темной глубине начинает светать — и ты видишь что-то очень простое, настолько простое, что становится страшно...

Малый холл размещался на черной половине, здесь сейчас были сложены все отошальные тюринские пожитки, и никто сюда, слава богу, не заходил. А в большом горчичном зале гудели голоса, там толпился народ, собралась вся группа Звягина — с женщинами и детьми. Парадная дверь была нараспашку, всяк входил и выходил, когда вздумается, как на свадьбе или на похоронах. Говорили, что должен заехать советник, но уж это кто-то хватил через край: ничего и никому Виктор Маркович не был должен.

А в переднем углу в широком кресле сидел Иван Петрович, руки его неподвижно лежали на толстых валиках, на бледном длинном лице блуждала конфузливая улыбка. Каждый вновь пришедший почтительно приближался к нему, словно к патриарху старинного рода, и говорил что-нибудь доброе и глупое.

— Ничего, ничего, главные трудности уже позади!.. Мы еще встретимся — на новых широтах!..

Иван Петрович сосредоточенно слушал, улыбался и кивал, время от времени отчетливо произнося:

— Да, спасибо, большое спасибо.

Андрей не мог находиться в горчичном зале: ему было больно смотреть на отца. Сердце его покрылось черствой сухой коркой, под которой далеко в глубине кислото дышал теплый мякиш младенческого отчаяния: «Папочка, папа, прости меня, папа!»

Григорий Николаевич, расхаживая по холлу, рассказывал утешительные истории о том, как людей вывозили из жаркого климата чуть ли не ногами вперед, а целительный воздух Союза в три дня поднимал их, и они тут же кидались заполнять новые выездные анкеты.

Валентина Аниканова, неуместно нарядная в своем лиловом балахоне с желтыми бабочками на груди, сокрушалась, что не приютила Тюриных месяц назад у себя в пансионе «Диди»:

— Ведь была у меня такая мысль, ведь была! Надо слушать свою интуицию...

Игорь Валентинович доказывал, что подобные происшествия приравниваются к ранению при выполнении интернационального долга.

— А что, Григорий, — говорил Ростислав Ильич. — Разве группа у нас такая маломощная? Разве не под силу нам составить ходатайство об улучшении жилищных условий? В Щербатове наша бумага должна произвести впечатление...

— Если ее хорошо подписать! — слышал Андрей едкий, высокий, приплюснутый голос Матвеева. — Вот и займитесь, Ростислав Ильич, вы же юрист, вам и карты в руки. Советник наверняка завизирует, а я в посольство, в объединенный местком предложу, в качестве приложения к характеристике. Что скажешь, Григорий Николаевич?

— Ну, что ж, — глубоким сочным баритоном отвечал Звягин, — дельное предложение, надо обмозговать.

Все добры были к ним, разоблаченным блатникам, выдворянам.

С «Эльдорадо» распрощались три дня назад. Горничная Анджела плакала, мистер Дени самолично проводил Ивана Петровича до университетского фургона, поддерживая его под руку, и на прощание выразил уверенность, что в «Эльдорадо» господа Тьюринги еще вернутся.

— Двери в нашу гостиницу всегда открыты для вас! — торжественно заявил он, ничем при этом не рискуя. — Равно как и наши сердца.

Красноречие толстяка объяснялось тем, что он был щедро одарен. Мстительная Людмила оставила ему электроплитку, и администратор был сражен тем же оружием, которым он Тюриных допекал: отказаться от фантастически дорогого (для Офира) подарка мистер Дени не смог, хотя и очень боролся с собой, предлагая Людмиле деньги, решительно ею отвергнутые, — и остался, должно быть, в убеждении, что эти русские безумный народ.

Между тем в безумии Людмилы прослеживалась определенная логика. На холодильник «Смоленск» имелось множество претендентов, но достался он не кому-нибудь, а Владимиру Андреевичу — правда, с обязательством расплатиться по возвращении соврублями.

Паровоз из Гонконга стоял сейчас в большом холле на секретере, желтый штоф был наполнен дорогим питьем из дипшопа, подаренным коллегами, и всякого вновь приходящего Людмила приглашала, обворожительно улыбаясь: «Угощайтесь, пожалуйста». Тогда до Андрея доносилось механическое треньканье, впивавшееся в его мозг, как тонкая стальная проволочка, и он, скрипя зубами, еще крепче охватывал пальцами свою маленькую бедную голову и ощупывал ее, как чужую.

«Все пр-ра-шло, все умчалось в бесконечную да-а-аль...» — вызванивал механизм, вкладывая в эту песню всю истовость своей пружинной души.

Как хорошо, как спокойно, наверно, быть вещью. Не просто неодушевленным предметом, а именно вещью, хорошо сделанной и ни в чем не повинной...

— Выпейте, выпейте за нашу счастливую дорожку! — заплаканным голосом повторяла Людмила, наступая на новопришедшего, тесня его к секретеру, настырная, как Екатерина Медичи. И, поскольку нельзя было не восхититься играющей в это время музыкой, назревал естественный вопрос, откуда ж взялась эта дивная вещь.

— От семьи советника, на прощанье, — отвечала Людмила, и наступала благоговейная тишина.

Всего неделю назад Андрей, услышав такое, пришел бы в неистовство. Но сейчас девичья хитрость мамы Люды, шитая белыми нитками, вызывала в его сердце жалость — настолько острую, что хотелось скорчиться и замереть... Все свои душевные силы мама Люда бросила на то, чтобы показать, что Тюриных не прогоняют, не высылают, что они уезжают с достоинством, как люди. Еще один шаг — и они будут уверовать, что с радостью покидают Офир, и сама рано или поздно в это поверит.

«Нынче муха-цокотуха именинница...»

Лишь одного человека Людмила не удостоила причащения к паровозику: доктора Славу.

Весть о том, что Иван Петрович перенес приступ, распространилась по совколонии с непостижимой быстротой. Доктор Слава явился в «Эльдорадо» деловитый и важный, он прямо-таки всплеснул ручками от ужаса, когда увидел, в каких условиях находится больной, и сурово отчитал Людмилу за легкомыслие:

— Вот так вот прячемся от врачей, а потом руками разводим, когда цинковый гроб приходится сопровождать. Контракт продлите — жизнь не продлите!

Доктор Слава поставил диагноз «геморрагический инсульт» и грозно объявил, что будет ставить вопрос об отправке на родину. Сколько Людмила ни уговаривала его повременить — он оставался непреклонен: «феномен Тюрина» был ему как нельзя более на руку, он должен был напомнить руководящим инстанциям, что доктор Слава бдит. Бесперывно повторяемая им по поводу и без повода угроза «Вышлю на родину» впервые в его практике обретала реальный смысл. «Захотел — и выслал, вот какой наш доктор Слава!»

Врачебная деятельность его заключалась в том, что он потребовал срочно перевести Ивана Петровича в более пригодное для жизни помещение, где больше воздуха и есть кондиционер. И Матвеев, будучи куратором, счел за благо забрать опальных Тюриных к себе. Теперь доктор Слава держался как благодетель семейства и спаситель жизни Ивана Петровича. По его поведению можно было предположить, что это он вытащил больного из могилы. Он приезжал в белом халате, осматривал Ивана Петровича, мерил давление, качал головой, интересовался питанием, давал бесчисленные наставления. Маленький, толстенький, мокроротый и ушастый, он упивался своей властью, как упырь.

— Значит, так. Полный покой, строгий постельный режим, свежий воздух, борьба с угрозой отека мозга. Позднее, уже в Союзе, займетесь лечебной гимнастикой, массажистку найдете, да помоложе, хе-хе-хе, и к логопеду обязательно обратитесь.

Людмила слезно просила Звягина вмешаться и прекратить это самоуправство, но Григорий Николаевич лишь разводил руками: «Против медицины наука бессильна».

Настасья была счастлива. Она бродила по нежилым комнатам гигантской матвеевской квартиры, поставив, должно быть, себе целью посетить каждую, и на пороге тихонько говорила:

— Здесь я еще не была. Или уже была?

О тесной клетушке в «Эльдорадо» она вспоминать не могла без страха. А наш номер там уже заняли, — убеждала она себя. — Мы туда не вернемся.

Вдруг в горчичном холле закричали:

— Андрей! Где Андрей? Вы не видели Андрея? Может быть, он на улицу вышел? Андрюша!

«Что там такое? — не двигаясь с места, подумал Андрей. — Кому я понадобился?»

Он не мог сейчас выйти на люди, просто не мог: ему представлялось, что у него голое, безбровое лицо с сожженными ресницами и воспаленными веками...

Он один виноват: вот какая истина открылась Андрею во всем ее безобразии. Он один виноват. Он знал, что отец болен (теперь ему казалось, что он знал об этом всю жизнь), и отмахивался: «Ай, ничего, пустяки». Ну, что, сынок, пустяки? Пятно на левой щеке отца — разве не понятно было, что это знак болезни? А ты, сынок, называл это клоунским румянцем. Вспомни, как сопротивлялся отец этой поездке, а ты приписывал его сопротивление лени, тебе удобнее было так думать. Почему ты не пожелал вникать, во что обошелся отцу выездной вариант? Да потому, что тебе самому сюда было надо. Тебе выгодно было прикинуться, что ты маленький человек. Это ты-то маленький человек? Да

стоило тебе захотеть — и ничего бы этого не было. Ты сам все выдумал, ты один во всем виноват. Сколько раз отец обращался к тебе за поддержкой или хотя бы за сочувствием, сколько раз он давал понять, что ему тяжело, что ему хочется поскорее уехать отсюда! А ты, сынок? А ты страшал его скандалом. Ты настойчиво требовал: «Давай, давай, рвись, добивайся!» И при этом у тебя еще хватало наглости его попрекать: «Зачем вы меня сюда привезли?» Лживая, запущенная душа, ты — двуличный человек. Радуйся теперь: все само собой разрешилось...

— Андрей! — кричали за стеной. — Да Андрей же!

И тут его встряхнуло от макушки до пят: а ведь это приехала Кареглазка. Да, именно так: она не явилась в «Эльдорадо», не завезла, как сулила, свой бессмысленный «Неккерман», и вот теперь, узнав, хочет просто поглядеть как это все у людей бывает. Так девчонки из старших классов бегали посмотреть на учительницу, которая травилась от несчастной любви. «Какой кошмар, нет, какой ужас!..» Жестокое любопытство — и тайная радость, что все это произошло не с тобой...

Он с трудом поднялся (все равно ведь найдут) и, неверно ступая затекшими ногами, вышел в узенький боковой коридор.

Там стояла мама Люда.

— Ступай, Андрюшенька, — шепотом сказала она, — к тебе Рудик пришел.

— Рудик, — машинально повторил Андрей. — Какой Рудик?

Он смотрел на маму Люду так, как будто не видел ее сто лет: низенькая женщина в голубом с декольте, смуглое личико осунулось, синие глаза окружены мелкими темными морщинками, от прически «Николь» ни намек, в темной шапке волос появились седые блески... раньше их не было.

«Тупица, — ругнул он себя, — кто пустил бы сюда дочку советника? Мы — неудачники, мы заразные, нас не избегают только такие, как мы...»

— Ой, как стыдно мне, как неловко, — глядя на Андрея снизу вверх, жалобно проговорила мама Люда. — Нехорошо мы поступили с этими людьми... Не по-человечески. Будь поласковее с ребенком, сыночек. Попрощайся как следует, тете Тамаре привет передай... Я так перед ней виновата...

— Хорошо, мама, я все сделаю, мама, — деревянным голосом сказал Андрей. — Ты не виновата. Это я во всем виноват.

Мама Люда отступила на шаг, поднесла обе руки к губам, синие глаза ее наполнились слезами. Полно, до краев, но не пролилась ни одна слезинка: нельзя.

— Сыночек, — утвердительно, как Настасья, кивая себе, прошептала она. — Родненький. И, повернувшись, мелкими шажками пошла в гостиную...

Руди стоял на площадке. Странное, слегка деформированное лицо его было полно высокомерного безразличия, он прислонился спиной к сетке лифта и насвистывал. То, что Андрей появился не с парадной стороны, а с черной, поразило его и даже напугало: видимо, для местных это имело большое значение.

— Привет, старик, — сказал Андрей, протягивая ему руку. — А мы уезжаем. Сегодня.

— Знаю, я знаю, из Филипп, — ответил Руди шепотом, и шепот его был хриплым. — Потому что нас, да? Потому что нас?

Он пытливо смотрел снизу вверх в лицо высокорослому Андрею, и глаза его эмалево блестели.

— Нет, Руди, не из-за вас, — возразил Андрей, и это была чистая правда, — Папа заболел, климат ему не подходит.

Руди помолчал, скосив глаза, — и поверил.

— Это для тебя, — застенчиво сказал он и ногами, обутыми в невероятно грязные кроссовки, пододвинул к ногам Андрея стоявшую на полу сумку. Сумка тоже, это школьник-сумка, кастом-офис не будет смотри.

«Кастом-офис» по-русски означало «таможня». Взрослые в таких случаях непременно говорят фальшивое «Да зачем? Да не нужно» — и берут, потому что не понесет же человек свой подарок назад. Но мало ли что делают взрослые!

— Спасибо, Руди, — сказал Андрей, наклонился и поднял сумку, это был действительно местный школьный ранец из синего брезента, довольно тяжелый.

— Там некоторый ракуш, — сурово проговорил Руди. — Скажешь «не надо» — значит, не надо совсем.

Андрей оттянул латунную защелку — и увидел сперва какую-то странную мешанину, в глубине ранца что-то поблескивало и, казалось, скрипело. Первой мыслью было, что Руди притащил клубок змей, с него станется. Однако, взглядевшись, Андрей увидел, что ранец наполнен некрупными ракушками, морскими ежами, звездами и коричневыми орехами — это были те самые сокровища, которые он присмотрел на «Санди-бич» и вынужден был оставить.

— Это ты хорошо придумал, — сказал он, запустив руку в ранец. Мудрый старичок.

Мальш остался доволен этой реакцией, и глаза его засияли.

— А это тебе, — сказал Андрей, расстегивая ремешок часов, — это тебе от меня на память.

Руди глянул на него, на приоткрытую дверь квартиры и переспросил:

— Тебе от меня?

— Ну, да, мне от тебя, то есть правильно, тебе от меня.

Руди протянул руку, чтобы взять подарок, потом, выразительно показав своей асимметричной мордочкой на дверь, спрятал руки за спину и шепотом сказал:

— Ваши будут ругать. «А, продай часы — купи ракуш!» Не хочу. Право, этот мальш был не по возрасту смышленным.

— Ну, и что? — сказал Андрей. — Пусть говорят. Мы-то знаем с тобой, что это не так. Бери.

Руди взял часы, попытался пристроить их на своей тонкой лапке, отказался от этого намерения и вдруг, крикнув «Бай-бай», побежал вниз.

С синим ранцем в руках Андрей прошел по горчичному залу, он старался не встречаться взглядом с отцом, но краем глаза все время видел его бледное, слабо улыбающееся лицо, оно светилось в переднем углу и колыхалось на сквозняке, словно длинное пламя свечи... Взрослые, умолкнув, проследили, как мальчик подошел к секретеру и поставил ранец рядом с паровозиком.

— Посылочки, кстати, брать возбраняется, — не выдержав, укоризненно заметил кадыкастый и очкастый Савельев.

— Это подарок, — коротко сказал Андрей.

— От кого? — поинтересовался Василий Семенович.

— От брата, — ответил Андрей. Снова наступило молчание.

— Нет, не могут уехать как люди, — словно про себя со вздохом проговорила

Аниканова.

— От брата? — зычно переспросил Звягин. — Это как же получается? Иван? И ту наследил?

Все разом посмотрели на Ивана Петровича, он беззубо заулыбался сказать ничего не сумел.

«Папочка, папа, прости меня, папа...»

Рядом тренькнул паровозик, и Андрей, как ужаленный, передернулся. Это действовал Горошук. Подобравшись к секретеру, он поднял желтую флягу и запустил механическую музыку. По глазам его, даже сквозь темные очки, новые, теперь уже с солидной роговой оправой, видно было, что «Егор» порядочно захмелел. Наблюдательности он, однако же, не утратил. Заговорщически дернув щекой, «Егор» вполголоса спросил:

— Часики-то — тю-тю? Уот юв гот? Что взамен?

— Раковины, — ответил Андрей, — контрабанда.

— Молодец, — сказал Горошук, — за правду хвалю. Ничего не надо бояться. Он поставил флягу на место, музыка смолкла.

— Уязвимый ты, вот в чем твоя беда, — укоризненно проговорил он, глядя Андрею в лицо. — Настоящий мужчина должен быть невидим и свободен. Понял? Невидим и свободен.

И, внезапно утратив нить разговора, Игорь Валентинович ужасным голосом запел:

— «Царь-пушка кудрявая, тени длинных ресниц!..»

В это время зазвонил телефон. Звягин взял трубку, произнес могучее «аллоу», послушал, несколько раз повторил: «Да, да, да» и нажал пальцем на рычаг.

— Карета подана, — сказал он, обводя свою группу отеческим взглядом. — Напрощались, намиловались, пора и честь знать. Вопрос: кто сопровождает в аэропорт? Игорек, ты в форме?

— Так точно! — бодро отрапортовал Горошук. — Кто их породил — тот и проводил.

— Смотри у меня... — Звягин, как шалуна, погрозил ему пальцем. Задвигалась мебель, зашаркали ноги, зашелестели прощальные голоса:

— Всех благ. Счастливо долететь. Не раскачивайте самолет в воздухе. Не ходите по крыльям...

На все благоглупости Иван Петрович монотонным голосом отвечал:

— Спасибо, счастливо оставаться.

Он репетировал перед зеркалом эту реплику сегодня на рассвете. Получалось не очень хорошо: какое-то «счиловаться».

И — завертелось, как в любительском фильме, пущенном шутки ради в обратную сторону. Гаражный крюк на двери квартиры Матвеева, белый фургончик Филиппа и блекло-красная его куртка, улицы, замусоренные голубыми цветами, круто посоленный солнцем океан, затхлый туннель под гербовой дамбой, камышовые хижины, темнокожие люди у обочины, недостроенный аэропорт... Все пятятся, машут руками — и исчезают среди турникетов, там, где возникли из небытия месяц назад...

На меднотрубную карту мира Андрей успел-таки взглянуть. Никакой в ней мистики не было: в центре меркаторской развертки, там, где мы обычно помещаем благословенную Аравию, здесь был расположен Офир, и оттого материки, потеряв привычные очертания, расползлись по краям Вселенной, как разогнанные лучами солнца облака.

А «некоторый ракуш» на таможне все равно отобрали.

